

Арсений Иванович Рутъко

Пашкины колокола

1. НА ОКРАИНЕ, ЗА МОСКВОЙ-РЕКОЙ

Как шла жизнь Пашки-Арбуза до вчерашнего дня? Да очень просто: без особых забот, озорно и весело.

Друзей у него, пожалуй, и не сосчитать: вся рабочая и мастеровая ребятня с Большой и Малой Серпуховских, с Мытной, Ордынки и Пятницкой, от крутой излучины Москвы-реки до Калужской заставы.

А уж в Арсеньевском переулке, где Пашкин отец снимает под жильё часть полуподвала у купца Ершинова, Пашка в дружине – первый верховод.

Почему мальчишки окрестили своё уличное братство дружиной? Может, просто потому, что здорово брала за сердце народная песня о гибели Ермака: «И пала грозная в боях, не обнажив мечей, дружина»? Лет пять назад они даже мечей деревянных себе наделали, готовясь к битвам с воображаемыми Кучумами. Вскоре, однако, мечи забросили: рогатки в уличных схватках и привычней, и надежней. Да, мечи давно сгнили, а название осталось – дружина.

Конечно, Пашкино верховенству и тем объяснить можно: семью Андреевых хорошо знают в Замоскворечье. Литейщики и молотобойцы, кочегары и машинисты всех близких заводов: Бромлея, Гайтера, «Поставщика». И уж особенно Михельсона – там кузнецы Андреевы издавна гнут хребтину за нелёгкий кусок хлеба. Слава о них идёт по рабочим слободам добрая: владеют мужики ремеслом! Уважают семью и ткачи с Голутвинской мануфактуры, где мать Пашки маётся у станков второй десяток лет.

Само собой, сынки торговцев, чиновничьей да заводской знати, обучающиеся в гимназиях и реальном, вроде ершиновских отпрысков, те сторонятся Пашкиной братвы, у них своя компания. «Как же, белая кость, голубая кровь!» – с усмешкой отзывается о них старший брат Пашки, Андрей. И он прав: наследники богатеев да чинуш разгуливают по городу чистенькие и ухоженные, бахвалятся форменными фуражками и курточками с орластыми пуговицами.

Ну и шут с ними! У них своя жизнь, у Пашки – своя.

Почти все дни он проводит не в сырых стенах полуподвала, а на улицах, где, в траве или в снегу, смотря по времени года, копошится рабочая детвора.

Утром родители вскинутся с первыми гудками, наспех перекусят, приготовят детям еду на день и убегут: как бы не опоздать, не нарваться на штраф. Ведь каждый рубль, каждый пятак в семейном кармане дорог – не прокидаешься!

И нет взрослых дома с темна дотемна; смена – десять, а где и двенадцать часов.

Время-то какое грозное, небывалое – мировая война!

Сидеть дома днём Пашке одному невмоготу – ну что в голых стенах делать? Да и у других ребят то же. У девчонок хоть куклы тряпичные есть, нянькаются с ними, будто с живыми. А мальчишкам такими глупостями разве пристало заниматься?

Вот и остается одно – улица. Зимой, правда, ещё школа. Да и она нешибко в радость: уж очень строг главный учитель, батюшка Серафим. Чуть зазеваешься – хвать за ухо или костяным ногтем тык в лоб: «Почто слову божиу не внемлешь, олух царя небесного?!» Учитель по арифметике, тот за каждую цифру, какая из строчки вылезла, линейкой по пальцам – хрясь, хрясь! И руки с парты убрать не смей!

Однажды после такого урока Пашка заикнулся отцу: «Не пойду больше». Ну да разве с батей поспоришь? Свою линию гнёт: «Всё равно учись, сын! Сказано: ученье – свет!»

Пришлось покориться, ничего не поделаешь!

После школы играют то в бабки-козны, то в городки, то в казаки-разбойники, а как началась война с германцем, всё больше в войну. В военных играх у Пашки тоже соперников в зачинщиках нет – не зря же батя всю японскую провоевал! И даже Саша Киреев, хоть и старше Пашки на два года, а не перечит Арбузу. Их связывает давняя и крепкая дружба: Киреев относится к Пашке словно к братишке, и Арбуз отвечает Саше преданностью и любовью.

Да, как Пашка дружине велит, так и сделают. Вот прикажет: «А ну, братва, нужно жадюге-мяснику вывеску и витрины грязью залять – не дал, жирный гад, полфунта мяса в долг солдатке Мышкиной, а у неё на руках двое малолеток!» И сказано – сделано! Или кого из зазнавашек-гимназистов проучить – всё будет исполнено!

И до того наловчились ребята прятаться от любой погони по закоулкам и пустырям, что никого ещё не излутили торгаши или вооружённые «селёдками», то есть шашками, будочки-городовые. Всё сходит с рук, потому что выручает закон мальчишеского братства: один за всех, все за одного!

Озоруют иногда здорово! Ведь только подумать – у самого зловредного на всё Замоскворечье городового Обмойкина, когда тот задремал у себя в будке, Гдалька с груди свисток срезал!

Вот уж в те дни потрясся от злости Обмойкин! Слышино, здоровую нахлобучку получил от начальства. Ну и поделом! Перед чинушами да богачами в дугу гнётся: «Чего изволите-прикажете, ваше степенство или там, скажем, благородие?» А простому жителю прохода нет – к любой пустяковине прицепится!

Понятное дело, Гдалька тогда здорово рисковал, но уж очень хотелось ему перед дружиной выхвалиться. До происшествия со свистком он вовсе неприкаянным был. Хотя у матери после смерти мужа сохранилась на Пятницкой крохотная портновская мастерская, сыники тех, кто побогаче, отпихивали Гдальку от своей компании.

К рабочей ребятне он тоже не мог прилепиться – вроде другого поля ягода.

Его толкали и шпыняли все кому не лень. Но после случая со свистком Пашка взял Гдальку под свою опеку. И с той поры Гдалька крепко привязался к дружине и старался доказать её вожаку верность и преданность. Поэтому-то заливистый полицейский свисток с куском витого шнура хранится не где-нибудь, а в фанерном сундуке под Пашкиной кроватью вместе с прочими

сокровищами.

Да, кроме Саши Киреева, самые близкие Пашкины друзья – тощенький Г达尔ка, по-уличному – Голыш, долговязый Витька Козликов, сын дяди Егора, стрелочника с Брянского вокзала, и Васята Дунаев, отец тоже у Михельсона работает. Роднит мальчишек одинаковая судьба, трудная жизнь. И семьи у всех так же ютятся по наемным углам и подвалам, голодают и холодают зимой. И денег – даже копейки! – ни у кого из мальчишек никогда нет. Правда, Г达尔ка иногда подрабатывает пятаки у художника Зеркалова. Грунтует холсты для портретов, растирает краски, но все до гроша отдает матери.

Летом, понятное дело, жить ребятам куда вольготней.

В тёплые дни, когда погода обещает хороший клёв, пятёрка отправляется с удочками подальше за заставу, на Москву-реку. Возвращаются – на верёвочных куканах красноперые плотички да серебряные уклейки нанизаны. Целое жарево – вот здорово!

Мать вечером еле доплётётся с Голутвинки домой, а на припечке, глядишь, к ужину на сковородке жареная рыбешка коричневыми спинками поблескивает. И не беда, что поджарена она на ложке подсолнечного масла, – всё равно вкусно.

Пашка сделает вид, будто и не обращает на мать внимания, сядет под окошком, уткнет нос в книжку, шепчет давно заученные пушкинские строки:

Ты не коршуна убил, чародея подстрелил...

Сам исподтишка наблюдает, как мамка вытирает о половничок стоптанные туфлишки, моет у глиняного умывальника руки. Но вот она подойдёт к печке: надо готовить обед и ужин, через час мужики с работы явятся! И увидит сковородку с рыбёшкой – Пашка сам ни одной не съел! – и окликнет тихонько, ласково:

– Пашенька!

– Чего, мам? – спросит он, будто не понимая.

Мать подойдёт, потреплет ладошкой по вихрастой голове:

– Радость ты моя, Пашенька!

Большего ему и не надо, он и этим счастлив.

И отец, тяжёлый, грузный, смывая копоть и сажу, одобрительно глянет из-под насупленных бровей, побелённых ранней сединой.

– Молодец, Пашка!

Только раз, в прошлом году, осенью, крепко рассердился Андреич за принесённое младшим сыном. Вернулись отец с Андреем с завода, а на столе – громадная миска, полная яблок. Красота такая – глаза отвести трудно.

Отец глянул недобро и, скинув прожжённую у кузнечного горна робу, дольше, чем всегда, возился у рукомойника. Ожидая, пока освободится умывальник, Андрей стоял рядом.

Швырнув полотенце, отец подошёл к столу и спросил так, что у Пашки сразу заныло сердце:

– Откуда?!

– В монастырском саду, на Новодевичке... Там, батя, падалицы не сосчитать ско...

Но договорить не успел: отцовская ладонь так шлётнула Пашку по шее, что мальчишка откачнулся к стене. Вторым ударом отец сшиб со стола миску – красно-жёлтой радугой полетели яблоки к порогу.

– Еще раз принесёшь краденое – выпорю так, неделю на животе спать станешь! Понял?!

Растирая по щекам слёзы, Пашка бормотал:

– Ну, батя... Ты же сам сколько говорил... Купцы да заводчики, попы да монахи, они на нашей крови жируют...

– Они – пусть! – перебил отец. – Их такое кровососное дело – красть и грабить! А ты не моги! У рабочего человека и душа, и совесть завсегда чистые быть должны! Заруби на своем курносом! – ворчал отец, усаживаясь за стол.

– Не зря ты, батя, строжишься? – усмехнулся Андрей, подходя к столу. – Можно бы и согласиться с Павлухой: не украд, а своё же, у нас отнятое, взял!

В доме никто не смел перечить отцу: его слово – закон. И сейчас старый кузнец искося, сердито глянул на первенца.

– Помолчи! Придет время, нарожает тебе Анютка твоих собственных, тогда и воспитывай как хочешь! Пока я здесь хозяин, изволь меня слушать! А не то схлопочешь, как этот паршивец! Ишь моду взяли: на Ершиновых да Михельсонов равняться!.. Эй, мать, подавай, что припасено! Поворочать нынче пришлось в лошадиную силу. Снова огромадный военный заказ Михельсоны хапанули.

Андрей на отцовскую брань смолчал, но украдкой пожал под столом Пашкино колено. Мальчишка вскинул глаза, сквозь слезы глянул на старшего. Тот подмигнул: «Не робей, малыш!» И у Пашки посветлело на душе.

Но всё-таки отцовский урок запомнился, что-то было в нём такое, через что Пашка никогда больше не решался переступить.

Правда, мать не выбросила подобранные в монастырском саду яблоки: грешно же губить такое добро! Дождавшись, пока «сам» уснул, собрала и припрятала яблоки в дровянном сарайчике во дворе. И по утрам, перед тем как уйти на работу, совала два-три яблока Пашке под одеяло, шепча на ухо:

– Только гляди, сынка, чтобы отец не прознал: ещё больнее пришибить может. Он у нас в таких делах сурьёзный. – И целовала сына сухими, рано поблекшими губами. – И счастье, и горе ты моё, Пашенька!.. Добрый ты, последнененький мой...

Старший, Андрей, замечал немудреные хитрости матери, но притворялся, будто ничего не видит, лишь усмехался одобрительно. Наверно, не очень-то соглашался с отцом, хотя спорить с ним не заводился.

Вот так она и шла, жизнь... до вчерашнего дня...

2. ПОВЕСТКА АНДРЕЮ АНДРЕЕВУ

А вчера...

Теперь нужно сказать, что совсем недавно с фронта вернулся сын Фрола Никитича Обмойкина, городового, чей пост на самой главной в Замоскворечье Большой Серпуховской.

Явился Николай Обмойкин без правой ноги по колено, на костылях, но с крестом святого Георгия. И крест тот вручен ему самим царём-батюшкой, вот о

чём вся округа который день шумит. Да и как не шуметь? Награда из рук государя-самодержца – шутка ли? Правда, кое-кто перешептывается, что царь-де награды раздавал в госпитале всем подряд. Дескать, несут за ним коробку, он руку назад сунет, возьмёт крестик – и на грудь, не глядя. Но ведь и то верно: раз дали, значит, заслужил!

Сейчас в погожие дни Николай Фролыч с утра до вечера просиживает на скамеечке у своих ворот. Выбранный до синего блеска, поглаживает щегольски закрученные усики, попыхивает папироской «Тары-бары», свысока оглядывает уличную суэту.

Проходя мимо, каждый с почтением снимает шапочку или картуз и кланяется. Как-никак редко кто из рядовых удостоился такой чести: сам император, «Мы, Николай Второй», собственноручно приколол крест к госпитальному халату солдата Обмойкина. Есть чем гордиться – на всё Замоскворечье единственный!

Возгордясь сыном-героем, старший Обмойкин стал последнее время необыкновенно важен – ну, ни дать ни взять оживший памятник стоит на посту возле будки. Следя за порядком на подвластных ему улицах, Обмойкин то и дело поглядывает на молодца-сына. Ему от будки все хорошо видно, ведь их дом – рядом с двухэтажным домом-магазином Ершиновых на углу Арсеньевского переулка и Серпуховки.

С самых дальних улиц, даже из-за Москвы-реки и от заставы, приходят поглазеть на героя поражённые рассказами о его подвигах москвичи. А здешняя ребятня толпится вокруг Николая Фролыча весь день. Конечно, никто не осмеливается присесть на скамейку, где отдыхает герой. Пристраиваются на дощатом тротуаре, а то и прямо на мостовой. И, затаив дыхание, слушают рассказы о войне, о кровавых битвах с нехристями-германцами.

Здесь, понятно, и Пашкина дружина. Позабыты на время удочки, заброшены рогатки, не дребезжат по мостовой битки и железяки, сбивая выстроенные в ряды бабки-козны, изображающие немецкие полки. Даже в самый зной ребята не убегают на реку освежиться, поплавать: вдруг пропустишь что-то интересное из рассказов героя!

Положив рядом костьль, украшенный самодельным бронзовым вензелем «Н-2», что должно обозначать «Мы, Николай Второй», Николай Фролыч неспешно покуривает, пускает аккуратные колечки дыма. Он рассказывает мальчишкам об ужасных «стражениях» на полях Галиции, о горах мёртвых тел высотой с дом. Но чаще всего повествует он о том, как сам храбро бросался на врагов в островерхих касках, крошил их штыком и саблей. Как врывался в германские окопы и захватывал в плен чуть ли не самых важных вражеских генералов. Даром-то Георгия не дадут!

Слушая героя, Пашка с грустью оглядывал дружину. Жалко, что нет здесь Саши Киреева – уже полгода тот то слесарит, то работает подручным в кузнечном цехе. Отца угнали на войну, и жить семье стало трудно, пришлось Саше бросить мальчишеские забавы и впрячься в рабочую лямку.

С того дня улица для Пашки как бы наполовину опустела. Даже по вечерам они с Сашей видятся лишь урывками. Усталость, накопленная за десять часов у

тисков или горна, валит Сашу с ног, опрокидывает в тяжёлый сон...

А жизнь на улицах течёт своим чередом.

Так было и вчера.

Ребята плотным кольцом окружили воина-героя, восторженно глядя в дымящийся папиросным дымом рот, слушая рассказы о битвах.

Но вот на пороге лавки «Москательные и железоскобяные товары. Ершинов и сыновья» показался её хозяин. Наказав что-то приказчику Сереге спустился по каменным ступеням и направился к дому Обмойкиных.

Несмотря на жару – сентябрь выдался на редкость знойный, – одет Ершинов в поддёвку дорогое синего сукна и высокий картуз с лакированным козырьком. Поддёвка распахнута, через грудь играет-переливается золотым блеском толстая цепочка часов. В руке – сложенные пачкой газеты. Тут и обязательные для торговца «Биржевые ведомости», и «Русское слово», и «Голос Москвы», и «Русская речь». Сразу видно: Семён Ершинов – не только образованный человек, но и, безусловно, патриот!

Вышагивает степенно, ему спешить-торопиться некуда: не голь перекатная, в первую гильдию вот-вот подымется!

Испуганной воробыиной стайкой ребята брызнули в стороны, давая дорогу известному на всё Замоскворечье торговцу. Но, само собой, далеко не убежали: интересно же, о чём станут беседовать купец и герой галицийских битв.

Как бы и не приметив мелюзгу, не глядя по сторонам, Ершинов прошёл к скамейке.

– Наше нижайшее, Николай Фролыч! Герою-воину русскому почёт и уважение!

– Ответствую тем же, уважаемый Семён Семёнович! Но прошу простить, поскольку не имею сил встать для ответного приветствия! Ужасные раны, нанесённые врагами Отечества, ни ночью ни днём не дают покоя! Изнываю от несусветной боли, но соблюдаю мужество, как подобает воину и кавалеру. Не подаю малейшего виду!

– Не извольте беспокоиться, Николай Фролыч, сидите спокойненько! Это перед вами каждый подлинный сын России на коленях стоять должен, потому как пострадали и поныне страдаете за веру святую, любимого государя-батюшку и любезное Отечество!

– Весьма и весьма благодарен сочувствию, Семён Семёнович!

Заслушавшись, Пашка и не заметил, что с другого угла приближается их учитель закона божия, величественно-бородатый отец Серафим. Он же священник церкви, куда мать водит своего «последненького» в свободное воскресенье. Ходит помолиться, попросить милости у господа-бога: авось услышит, облегчит жизнь.

– Истину изволили сказать, уважаемый Семён Семёнович! – густым басом подхватил отец Серафим. – Пострадать за веру православную и за царя благодетеля – нет священнее долга у подлинного россиянина!.. Какие-то важные новости, видимо, отпечатаны в газетках? Сам-то я не успел прочесть, вызывали на требу к страждущим. Не разрешите ли присоединиться к беседе?

– Будьте любезны, отец Серафим! – подвинулся на скамейке Ершинов. Вот

тут, промеж мною и обожаемым героем, и присаживайтесь! Новости значительные и, позволю высказать мнение, тревожные.

— Да что вы? — Распахнув полы тёмной рясы, священник уселся, прикоснулся ладонью к пачке газет: — Нуте-с! Нуте-с! Что же наши вороги ещё придумали, какую пакость?

Ершинов неспешно развернул «Утро России», ткнул пальцем в заголовок на первой странице:

— Вот, позвольте обратить внимание, любезные соседушки! Новых пособников ищут кровные недруги.

— О господи! — возмущенно воздел руки отец Серафим. — Да простит мне господь чёрное слово: ну хлюсты! Ну супостаты! Сколько они уже христианской крови пролили, вероотступники! Не зря же под одним знаменем с басурманами-турками соединились! Не внемлют урокам истории, овцы слепые! Неужто мало поколотила тех же турок Россия под Плевной да под Шипкой? И вероятно, Семён Семёныч, той же, не нашей веры Вильгельм и его генералы союзников подыскивают?

— Именно! — подтвердил Ершинов. — С персами-иранцами шашни пытаются завести!

Отец Серафим широко перекрестился, глядя на золотящийся крест недалекой церквишки.

— Спаси и помилуй, господи, воинов наших!.. Завтра же после утрени отслужу молебен о даровании победы воинству российскому!

Пашка слушал с напряжённым интересом, но вдруг увидел, что по ступенькам к двери их квартиры спускается почтальон Кузьмич, держа в руке белую бумагу.

Ни писем, ни газет, ни телеграмм семья Андреевых не получала, и встревоженный Пашка вскочил. Из разговора взрослых знал, что от писем и телеграмм скорее всего горестей ожидать можно.

Он побежал к дому Ершиновых. Замолчав, сидевшие на скамье тоже с любопытством смотрели на почтальона.

А тот, не достучавшись, подергав сослепу висячий замок, уже поднимался по ступеням.

— Вы что, дяденька? — спросил, подбегая, Пашка.

Седоусый Кузьмич пытливо оглядел Пашку.

— Ты не братишко ли Андрею Андрееву?

— Ага!

— Тогда вот держи, парень! Мне с моей подагрой второй раз ковылять сюда не под силу. Тут казённая военная бумага твоему брату. В казармы требуют! Понял, малец? Однако смотри не потеряй, бумага важнейшая!

Пашка протянул руку, но тут над его головой скрипнула дверь в квартиру Ершиновых. Купеческая семья жила над лавкой, занимая весь второй этаж. Туда — особая дверь, рядом со входом в торговое заведение.

Вскинув глаза, Пашка увидел младшего Ершина, длинношеего Стёпку, по-уличному — Три Аршина. Тот, подбоченясь, стоял над Пашкой. На плечах форменная курточка реального училища, совершенно и ненужная по такой

жаре, накинутая ради форса. И для того же – сбитая на затылок фуражка с желтенькой кокардой. Светло-коричневые глаза любопытно щурились за белесыми ресницами.

Сверкнув глазом на купеческого сынка, Пашка повернулся к почтальону:

– Давайте, дядя Кузьмич!

Но, уже протянув Пашке повестку, почтальон нерешительно опустил руку. И, озабоченно сдвинув на лоб фуражку, почесал в затылке.

– Ах ты напасть какая! Тут же распись в разносной книге требуется, шут тебя подери! Придется, видно, вечером ещё раз ковылять, будь вы неладны!

– Так я могу, дядя Кузьмич! – сказал Пашка.

– Чего можешь?

– Ну, расписаться.

– Неужто грамотный?

– Ага.

Недоверчиво покрутив головой, Кузьмич поплевал на палец и принялся листать затрепанную разносную книгу.

– А ну-ка, гляди сюда, малец! Проверим, какой ты грамотный! Держи карандаш. Вот над этой чертой и пиши: Андреев. А чтобы все по правилам, имя свое напиши. Зовут-то как?

– Павел.

– Ну и пиши, стало быть: Андреев Павел!

Пашка взял карандаш и, насупясь, старательно вывел в указанном месте фамилию и имя. И не вытерпел, с торжеством глянул вверх, на Стёпку Три Аршина: «Что, подавился? Не один ты в своём реальномшибко учёный!»

И только тут увидел выше Степкиной головы, в окне второго этажа, обрамленное русыми кудряшками лицо, кокетливо перекинутый через плечо голубой шарфик. Это Танька, единственная дочка Ершинова, его любимица, его «принцесса-наследница», как с гордостью величал девчонку отец, с усмешечкой смотрела вниз.

Когда Пашка случайно сталкивался с Танькой на улице, «принцесса» всегда как-то странно поглядывала на него. Уголки красивых капризных губ непонятно – то ли ласково, то ли насмешливо – улыбались.

Она и сейчас улыбалась, и Пашка, озлясь неведомо на что, резко отвернулся.

– Ну, давайте повестку, дядя Кузьмич! Я же расписался!

– Всё правильно! Молодец! – похвалил почтальон, почмокав морщинистыми губами. – Ну, держи! Однако повторяю: не потеряй смотри! Ежели что – отвечать станешь по всей строгости законов военного времени. Понял?

– Понял, дядя Кузьмич! Отвечу по всей строгости. Мы ведь не набалованы, как другие-некоторые!

Шаркая подошвами стареньких ботинок, почтальон неторопливо побрёл дальше. Но у дома Обмойкиных задержал шаг и поклонился, коснувшись пальцем козырька фуражки.

– Здравия желаю, господа почтенные!

— К вам с тем же, Ларивон Кузьмич! Какие новости квартирантам моим доставили? — полюбопытствовал Ершинов. — Поди-ка, налоги какие в городскую управу не выплачены? А? Так они и мне два месяца за квартиру не платят. Человек я, видит бог, не злой, а скрепя сердце придется выселять! Единственно, отец Серафим, снисходя к положению, пустил. Но сколько же можно по собственной доброте убытку нести?

Сняв фуражку, вытирая платком лоб, Кузьмич со значением покачал лысеющей головой.

— Э, нет, уважаемый Семён Семёныч! Тут не в налогах суть. Старшего сына Андреевых срочно на действительную службу затребовали. Чтобы завтра утром в Хамовнические казармы без промедления, как штык! Вот и вручил мальцу.

Держа повестку в руке, Пашка брел следом за почтальоном. И тоже остановился, когда остановился Кузьмич. Мальчишки окружили Пашку, разглядывая казённую бумагу у него в руке.

Задира и охотник до всяческих драк, мечтающий о боях и войнах, Васятка Дунаев завистливо протянул:

— А что, Арбуз?! Андрей с фронта тоже, может, героем вернется, как Николай Фролыч? А? Вот бы и всем нам, ребята, туда, на войну! Мы бы германцам задали баню, показали, как на русских нападать! Ведь не один Кузьма Крючков...

— Заткнись ты! — оборвал Витька Козликов. — Ишь герой выискался! Понимал бы хоть что пустой башкой! Слушай, Павлуха, что же, прямо завтра ему и идти?

Пашка не успел ответить, и все они, словно по команде, повернулись к скамейке, где сидел герой Обмойкин и его собеседники. Кто-то там радостно, повизгивая, хохотал.

Отстранив Васятку, Пашка выглянул из-за спины Кузьмича. Ему было странно и даже страшно слышать в такую минуту чей-то восторженный, захлебывающийся смех.

Оказывается, это Николай Обмойкин, откинувшись на спинку скамейки, заливался и захлебывался хохотом. Будто сидел в ярмарочном балагане, где на потеху людям кривляются раскрашенные румянами и мелом клоуны и петрушки.

Мальчишки и взрослые смотрели на Обмойкина с удивлением: ну что смешного?

Но, отсмеявшись, вытирая рукавом покрасневшее лицо, Николай Фролыч сам объяснил причину своего веселья:

— Стало быть, глядишь, не одному мне остаток жизни на культиanke ковылять придется, а?! Пусть-ка покормит в окопах вшей кудрявый красавчик кузнец! Завтра обреют-сдерут ему роскошные кударьки, на помойку выкинут! А там — окопы, пули, фронт! Может, и поймёт тогда, каким геройством Николаю Обмойкину его святой Георгий достался?! Может, и сам отличится, а? Да нет, где ему дослужиться до великой милости, чтобы высочайшую, августейшую ручку поцеловать!

Николай Фролыч выпрямился и продолжал, доставая новую папироску:

– Возможно, и другое-прочее случится! Божья воля – и навек в чужой земле кузнец останется! В братские-то могилы там тысячи и тысячи закопаны! Глянь, и ещё один покойничек в них прибавится!

С болезненно-острой, внезапно вспыхнувшей ненавистью Пашка смотрел на чисто выбритое, расплывшееся в улыбке лицо молодого Обмойкина. И, будто толкнули в спину, повернулся и пошел в сторону заводских ворот. И пока не добрел до угла, слышал позади громкий, торжествующий голос:

– Авось и обучат бессовестного кузнецишку кланяться моему святому Георгию! А то идет мимо и картуза никогда не сломит, словно я для него не герой, не заслуженный кавалер, а так – тля, вша, пустопорожнее место! Их, социалистов-то, нонче развелось упаси бог сколько! По всем щелям-углам копошатся!.. На чужой кусок каждый во всю ширь жадный рот растопыривает, в чужую миску каждая голодная свинья норовит поглубже рыло сунуть... Ну, да там его, красавчика, унтеры-фельдфебели да господа офицеры обучат уму-разуму. Там не больно-то расфыркаешься-распузыришься! Чуть что розги, которые в старину по-военному шпицрутенами назывались. А то и сквозь строй привязанного к винтовочке протянут-проволокут, один мешок с костями останется! Военно-полевые суды, они к таким вольнодумцам безо всякой пощады!

Пашка никогда не думал, что можно вот так неожиданно, за одну секунду, и с такой непомерной силой возненавидеть человека! Да ещё героя, на которого всего час назад смотрел, как мать смотрит в церкви на чудотворную икону...

3. ПАШКИНЫ ЗАБОТЫ

На завод Пашку не пустили.

До войны сторожа из проходной запросто разрешали забежать в цех к отцу или брату, перекинуться десятком слов в уборной-курилке.

Но последние годы стало много строже. У ворот круглые сутки дежурят солдаты с винтовками, к дулам которых примкнуты штыки: завод выполняет секретные военные заказы. И на побелённом фанерном щите чёрными буквами:

ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН!!!

А секреты те всему Замоскворечью известны, да и всей Москве: такого шила ни в каком мешке не утаить! Льют на заводе колёса для пулемётов, орудийные лафеты; из снарядного цеха каждые полчаса выкатывают к складам полные тележки. И многое другое, потребное для нужд фронта, изготавливают на заводе Михельсона.

Потоптавшись у ворот, поклянчив без пользы, хотя на повестку и сторожа, и солдаты смотрели с уважением, Пашка побежал на Голутвинскую мануфактуру.

Правда, и Голутвинка теперь в основном работала на «героическую действующую». Открыли два швейных цеха. В них и дневная и ночная смены строчат гимнастерки и бельё. Но строгостей здесь меньше, часовых у ворот нет.

Пыльный цех в здании бывшего склада готовой продукции, длинного неуютного помещения. Мутные, зарешеченные окна, паутина по углам, похожая на рыбачьи сети. Духота – дышать нечем.

Пашкину мать недавно перевели из ткацкого в швейный: у неё-де золотые руки – и на новом месте справится! И вот безостановочно крутятся, блестя никелем, колёса сотен «зингерок», возле них навалено бязевое бельё, гимнастёрки зеленовато-лягушачьего цвета.

Мать сидела лицом к двери. Увидев у входа сынишку, испугалась: не свалилась ли на семью какая беда? Кинулась навстречу.

И без того серое лицо посерело ещё больше. Что же стряслось? Вон, рассказывают, вчера на Бромлее с подпотолочного крюка-крана сорвалась раскаленная болванка, двоих насмерть сожгла-задавила, десятерых покалечила... На Михельсоне такая же работа, разве не может случиться похожее? Да в любой момент, в любую секунду!

– Что, сынонька, что?!

Пашка молча протянул повестку.

Мать так и осталась неграмотной, учиться не довелось. С девчоночных лет, как с Брянщины от безысходной нужды сбежала в город, всю жизнь за кусок хлеба то чьи-то полы мыла-скребла, то ещё что. Потом фабрики: Трёхгорка, Прохоровка, Голутвинка...

– Что, Пашенька?

Но, разглядев чёрного, раскорячившегося в углу бумаги орла со скипетром и державой в когтях, сразу поняла. Прикоснулась пальцами к повестке так, как, наверно, прикасалась бы к ядовитой змее.

– Чего в ней, в бумаге-то, Пашенька?

– Завтра Андрюху... на войну требуют.

Сам Пашка хорошо разбирал печатное слово – ещё до школы выучился читать, просто по вывескам. А потом, когда Андрей, тоже проучившийся три года в церковноприходской, откуда-то принес братишке затрёпанного до дыр «Конька-Горбунка», а позже стал приносить на курево обрывки газет, Пашка полностью одолел грамоту. Ему всё давалось легко.

И какое же это оказалось диво дивное, когда немые буквенные закорючки, словно ожив, вдруг принимались кричать тебе в глаза и уши:

«Со встречей! Трактир Якова Васильева. Завсегда раки!»

Или – на табачной лавчинке:

«Курите, господа хорошие, папиросы «Цыганка Аза» и «Тары-бары»!
Лучше папирис нету!»

Сейчас, пока бежал до фабрики, Пашка два раза останавливался и перечитывал:

«Явиться без опоздания к девяти часам утра в Хамовнические военные казармы. Иметь при себе харч на двое суток. Неявка приравнивается к дезертирству из действующей армии и карается приговором военного суда».

Подпись под орластой печатью и в самом деле похожа на змею с изогнутым хвостом.

Мать пошатнулась, ухватилась рукой за столб, подпиравший потолок. И тотчас раздался зычный голос надзирательницы, сидевшей за высокой конторкой посреди цеха:

– Эй, швея Андреева! Пошто машину бросила? Штрафу давно не нюхала?

Да? Ишь бездель! Я вас тут, лодырицы, порядку враз обучу! У меня муж не кто иной, а унтер-офицер при государевой медали!

Беспомощно глянув на сына, швея вернулась на рабочее место и снова принялась вертеть колесо машинки. Шепнула через плечо:

– Иди, сынонька! Иди, милый! Я уж думала, услышал мои молитвы всевышний. Дескать, все беды пережиты, отмучены. Ах нет, вот она, самая страшная!.. Иди, Пашенька! А то рябая ведьма и впрямь мне штраф выпишет. Когда ему явиться-то?

– Завтра, мам.

– Ой, горюшко! Митю Запорожного и Костю Судакова убили, Клепикова Ваню ядовитым газом отравили! Сколько красавцев парней на всю жизнь изуродовали! И Колю Обмойкина...

– Молчи, мам, про этого гада! – привстав на цыпочки, крикнул Пашка в ухо матери.

Та, продолжая крутить колесо «зингерки», с удивлением оглянулась, спрашивая глазами: «Да что с тобой, сынок?»

Снова привстав, Пашка крикнул, касаясь губами седых волос:

– Он – гад, мам! Рад, что Андрюху на войне покалечить могут, а то и убить! Такой довольный от этой повестки, ржёт на всю улицу, словно жеребец бешеный! Он злой!

– Богатые, если до нутра копнуть, сынка, почти всегда злые! – ответила мать. – Лютеют люди от больших денег. Деньги в них начисто убивают и добродути, и совесть.

– Андреева-швея! Сколько разов повторять? – гаркнула, вставая за конторкой, надзирательница. – С разговорчиками брак гнать начнёшь, да? Гляди, я у тебя каждый шов проверю! А ну, которые посторонние, брысь из цеху! Солдата-стражника на вас, лодырей, вызову!

Пашка побежал к двери: зачем мамке лишние беды? И так хватает! Теперь, поди-ка, сквозь слёзы и нитку-иголку не увидит. Может, зря заранее растревожил?

До вечера оставалось порядочно времени, но Пашка не знал, чем занять себя. Тоска, какой никогда не испытывал раньше, горечь близкой разлуки с братом томили сердце.

Даже от верных дружков, от Витьки, Гдальки и Васятки, пытавшихся завлечь его игрой в козны, отмахнулся, ушёл домой. Никого не хотелось видеть! Стыдно, но готов был заплакать, словно девчонка, завыть, как воют по ночам голодные, бездомные псы.

Но вышло иначе.

Неожиданно Андрей вернулся с завода задолго до конца смены. Кому-то другому, помимо Пашки, удалось передать в цех весть об очередном призывае заводских.

Не дожидаясь гудка, побросав инструменты, Андрей и с ним пятеро ровесников, кому предстояло завтра явиться в казармы, отправились в контору и потребовали расчёта.

В конторе тоже знали о частичной мобилизации призывающего года и не

посмели перечить, подсчитали и выдали заработанное.

Даже сам управляющий, толстый и сытый, похожий на раскормленного кота, пытался сказать будущим воинам напутственное слово. Служите-де, ребятушки, царю-батюшке и Отечеству православному со всем усердием и прилежанием! Бейте, не щадя живота, смертельного врага – германца!

Пересчитывая возле кассы засаленные трешницы и рублёвки, Андрей громко, на всю контору – терять-то нечего! – крикнул с весёлой издёвкой:

– Да затки ты глотку, губошлёт жирный! Тебя бы туда, в окопы, послужить винтовочкой августейшему дармоеду! Это тебе не жареную индюшку серебряной вилочкой в «Славянском базаре» ковырять! То-то поглядел бы я, как после первого боя замаранные портки в ближней луже отмывать станешь! Десятки тысяч вас, таких жирных, на рабочем горбу галопом в рай едут! Пошли, ребята, нечего нам лакейскую бормотню слушать!

Словно оглушённые словами Андрея, боясь смотреть друг на друга, конторщики да и сам кот-управляющий оторопело молчали. Надо же посметь такое про российского самодержца! Нет, нет, они и не слышали ничего! Вперегонки скрипели перья, щелкали костяшки счетов.

О полученных призывниками повестках знали и в проходной и не пытались их задержать. Вместе парни дошагали до Серпуховской и здесь остановились возле бакалейного магазина.

– А что, парни? Не драпануть ли нам вместо царской армии куда-нибудь в тёмный лес, вроде соловьёв-разбойников?! – со смешком предложил Игнат Кузовлёв. – Не все ли равно, где погибать: на немецкой земле или в муромских лесах?!

Но Андрей остановил товарища, положив ему на плечо руку.

– Погоди, Игнат! Шутить у нас нет времени! Не в ту сторону зовёшь, друг! Если всерьёз говорить, у нас и на фронте работа найдется. Ведь и там тоже народ, только в шинели обряженный. Он там и полуслепой, и полуглухой: та же крестьянская и заводская голытьба! И ещё добавлю: сбежать в муромский лес дело нехитрое, но жандармы сразу же наши семьи таскать по допросам примутся: объясните, такие-сякие, где ваши дезертиры скрываются?

Хмурясь, Кузовлёв почесал в затылке.

– Это да!

– А им, Игнат, – продолжал Андрей, – матерям, женам да любовям нашим, им и так невмоготу! Голод, холод, работа непосильная! Да и дом, детишки каким грузом на них висят! Сколько мужиков на фронтах поубивали, газами пожгли-потравили, так нынче власти-то, слышал, даже в угольные шахты, под землю, стали баб на работу гонять. И учти: в первую очередь тех, у кого родные либо в бегах, либо под полицейским подозрением! Не так, что ли?

Ребята молчали.

– Нет, братцы, задача перед нами другая! – снова заговорил Андрей. Хотя и не сильно охота свою карточку под унтерский кулак подставлять, а надо идти в армию, нести туда слово правды! Рвут русский и немецкий рабочий друг другу горло – за что, ради чего? Чтобы немецкие крупны да российские Путиловы и Михельсоны на пушечном литье, на бомбах-снарядах кровавые

капиталы наживали?! Ведь солдат в армии словно за тюремной стеной живёт! Ему, как послушаешь рассказы раненых, почти и неведомо, что в его деревеньке, на его заводе, вообще на родине происходит! В окопах его спереди проволока колючая стережёт, а позади генералы, офицеры да военно-полевые суды литой стеной поставлены. Правители изо всех сил стараются, чтобы правда-матка до солдатских ушей не достигала!

Андрей чуть помолчал.

– Давайте сговоримся так, ребята. Сейчас сложимся, купим чаю настоящего, конфеток сладеньких для девчат, пряников. И вечером собирайтесь ко мне. Приводите, ясное дело, и родных-близких. Поговорим напоследок обо всем всерьёз! А то, возможно, из казарм разбегутся наши дороги по разным полкам-фронтам! Как, согласны?

– Само собой! – хором отозвались товарищи.

Зашли в «Бакалею», купили, что подвернулось, сговорились о времени и разошлись.

Придя в подвал, Андрей застал там заплаканного Пашку. Тот с криком бросился к брату:

– Андрюха! Да чего же теперь будет?

– Что надо, Арбузик, то и будет!

Андрей обнял, прижал к себе мальчишку. Потом, отстранив, ласково потрепал отросшие с весны соломенные вихры.

– Ну, не хнычь! Вспомни-ка пушкинскую сказочку про семерых богатырей да про чудищ, которых одолевали в сказках смелые, сильные люди

– Так то в сказках! – возразил, сморкаясь, Пашка.

– Ну и что? Сказка – ложь, а в ней намёк, добрым молодцам урок! Мать знает?

– Ага. Сбегал на Голутвинку.

– И то добро! Молодец, Арбузик! Меньше слёз ночью прольёт. А уж чему быть, братишка, того не миновать! Вот, гляди, покупка тут для прощения со стариками да ещё с кем надо. Положи на место.

Пашка взял сверток, сунул в шкафчик.

– Вот смотри, – продолжал Андрей, – кладу за икону деньги, последний мой заработок. На жизнь вам. Меня на фронте бравые интенданты как-нибудь прокормят, голодный солдат войску без пользы!..

Обернувшись от иконы, Андрей оглядел Пашку.

– Ну, вытер слёзы? Вот и молодец! Нехорошо! Будто девчонка-соплюшка, стыда нет! Ты учти: с завтрашнего дня ты за меня в помощь мамке остаёшься! Понял? Воды с колонки натаскать, дровишек наколоть да принести. Привыкай!.. А сейчас послушай, Павлушка! Коммерческий институт знаешь?

– На Серпуховке? Как не знать!

– Я записочку напишу. Отнесёшь туда?

– Как велишь, братка! – И вдруг не выдержал, ткнулся лицом в плечо Андрею. – Да как же мы без тебя жить будем, а? Отец – старый. Ежели бы не война, поди-ка давно бы с завода выставили. А мамка... На неё, Андрюха, смотреть и то больно...

Андрей, морщась, потёр кулаком лоб.

— Ладно, малыш! Эта заноза у меня побольней твоего болит. Вот ты и будешь мамке в помошь заместо меня. Понял?.. Что поделаешь, Арбузик? Пока мы народ бесправный, подневольный, не накопили ещё силы бороться с богачами и их властью.

— Накопится ли когда?

— Обязательно, Паша! Революция на пороге! Мы с этими пиявками за все материнские слёзы, за все свои синяки и ссадины рассчитаемся!

— А тебя не убьют? — со страхом спросил Пашка.

Андрей пожал плечами:

— Кто может знать, Арбузик? Пуля — дура, кусок свинца без разума, без понятия! Но сам я навстречу геройской гибели за его кровавое величество не полезу, не бойся! Второй Николка Обмойкин из меня не получится! — Андрей озабоченно почесал в затылке. — Вот жизнь! Даже записку написать не на чем и нечем!

Пашка бросился в свой спальный угол между стеной и печкой, нашупал под подушкой спрятанную книгу.

— Глянь, братка! Тут в самом конце вовсе пустой листочек! Он ненужный, ни одного слова на нем не напечатано.

— Ну-ка, дай! Библиотечная? — удивился Андрей, перелистывая страницы.

— Уж не ты ли, Арбузик, из народной публички книжки на чтение получаешь? Там же денежный залог требуется.

Пашка с гордостью и вызовом вскинул голову.

— Ну, я! Как-то шёл мимо и в окно увидел: во всю стену книжки стоят. Наверно, целые тысячи! Меня будто силой потянуло, зашёл. Книжки там выдаёт тётичка, такая старенькая и добрая — слов нет! Глядела на меня, глядела, а потом пальчик вот так согнула, поманила к себе. Спрашивает, кто, да чей по фамилии, где живу, где батя работает. И что читал, что нравится. Я ей всё по правде рассказал, братка! Она и дала книжку без залога без всякого.

Андрей перекинул несколько страничек, прочитал вслух:

— «Гише! Я Дубровский!» — И засмеялся непонятно чему. — Ты, видать, здорово подрос, Арбузик? Как-то я и просмотрел. — С сожалением потрогал чистый листок в книге, с укором вскинул глаза на Пашку. — Так что же это получается, Павлуха? К тебе, значит, с полным доверием, а ты что?! Не по совести, браток, нет! Ежели мы с тобой с книгой так поступим, то и тётичка старенькая, и сам Пушкин на нас обидятся! Да и книжку разве не жалко? Она с тобой, словно живой человек, по-доброму разговаривала, а ты у неё кусок мяса отрывать?! Эх, ты! Не ожидал от тебя, Павлуха, такого, никак не ожидал! Возьми и спрячь её, и будто и разговора такого не было! Понял, голова круглая?!

С чувством непрощаемой вины Пашка взял в руки пушкинский томик. Действительно, и как могла стукнуть в голову такая подлая мысль?..

Андрей в раздумье прошелся по комнате, остановился, хлопнул себя ладонью по лбу:

— Павлуха! А школьные тетрадки с прошлой зимы у тебя не остались? Или

мы с батей все на курево извели?

Спрятав в спальном закуте книгу, Пашка выскочил из-за занавески.

— Которые и остались, мамка в сундук сложила. Берегёт!

— Ну, мне всего лоскуточек надо! Пошарь-ка у нее, в этом греха не будет.

Живо!

Через минуту Андрей сидел за столом и торопливо строчил что-то на вырванной из старой тетради страничке, а Пашка, ожидая, слонялся из угла в угол.

Кончив писать, Андрей сложил записку вчетверо.

— Стало быть, Паша, слетай в Коммерческий институт. Кому отдать — ни фамилии, ни имени не пишу, но ты её найдешь легко. Студентка, из кавказских людей, армянка. В пенсне ходит.

— Пенсне? — переспросил Пашка. — А это чего такое? Платить, что ли?

— Да нет! — улыбнулся Андрей. — Вроде очков особых, прищепкой на носу держатся. — Он на секунду задумался, оценивающе рассматривая братишку. — Тут не в том сложность, как её найти, а как тебе мимо швейцара пробраться. Идол там строгий в дверях сидит, с чёрной бородёнкой распутинской. Карапуль, пока отайдёт куда-нибудь. А то — на тебе мелочишки, по дороге газету купи: мол, брат, студент, просил принести. Или иначе как придумай...

— Постараюсь, братка!

— Постарайся, Арбузик! Очень нужно! — Андрей ласково обнял Пашку, на секунду прижал к себе. — Дальше, значит, так. В институте у студентов, кто с виду попроще, спроси: где бы Шиповника повидать? Это прозвище у неё. Записку только ей самой и отдай. Не ровен час — попадёт в чужие, подлые руки. Хотя тут ничего серьёзного не написано, а всё же не всем положено знать, что студентка-барышня, да ещё из дворян, с заводскими ребятами дружбу водит. Сразу нюхать начнут: не политика ли замешана? Понял? Потом во всю прыть домой, прощальный ужин сварганим. Ребята, что вместе со мной призваны, соберутся. Отцы их, матери, а у кого есть, то и жёны или девчонки...

— Вроде твоей Анютки? — подмигнул Пашка.

— Цыц! Не суй нос, куда не прощено!.. Шпарь бегом, времени у нас с тобой маловато. Запомни: Шиповник!

— Запомнил, братка. Я мигом!

Хлопнув дверью, прыгая через три ступеньки, Пашка помчался к Стремянному переулку.

Хотелось, конечно, прочитать, что Андрюха написал какому-то там Шиповнику, но Пашка забыл спросить: можно ли? Развернуть чужое письмо без разрешения не поднимались руки.

А в записке Андрея и не было ничего особенного, всего несколько строк:

«Колючий, дорогой наш Шиповничек! Вот так и обрывается мирная житуха. Завтра-послезавтра — маршевым эшелоном на фронт. Плохи, видно, там дела, если мастеров с военных заводов берут. Надо бы повидаться. Если же не доведётся, приглядите за моим Павлушкой, стоящий паренёк!»

Останусь жив, наверняка не раз встретимся: дорога-то у нас одна. И напоследок — не сосчитать, сколько Вы для заводских ребят доброго сделали и

делаете! У многих в мозгах посветлее стало. Больше вам спасибо. Будьте здоровы.

Андрей».

4. ШИПОВНИК

Коммерческий институт помещался неподалёку от Серпуховской площади, в Стремянном переулке. Бегом до него для Пашкиных ног от силы десять минут, не больше.

Добежать – дело нехитрое. А вот как проскользнуть мимо строгого, величественного швейцара, бородой и пронзительно-угольными глазами и в самом деле напоминающего знаменитого на всю Россию Григория Распутина, царева любимца?

Андрей как-то сказал, что царь держит при себе и всячески обласкивает деревенского мужика, чтобы показать, как царская семья дружна и близка с простым русским народом. Видно, и в самом деле так задумано. Ух, какие же все они хитрые!

Об этом Распутине много по Москве шло разговоров, правда, громко говорить боялись, все больше шепотком. Не проходило дня, чтобы Пашке не попадало на слух это имя. По вечерам, когда кто-то из михельсоновских заглядывал к Андреевым, только и разговора было что о прямо-таки каторжной работе, о войне да вот о непонятном царевом любмичке. Будто бы из Сибири, малограмотный, чуть не убитый на родине за конокрадство, явился в Питер, проник в самый царский дворец и стал там вроде не то учителя для царевича Алексея, не то вроде лекаря. А теперь, когда царь уехал самолично командовать действующей армией, Григорий при дворе сделался посильнее самых главных министров. Говорят, царица обо всем с ним советуется и слушается беспрекословно, как «старец» Григорий скажет, так и будет!

Обрывки мыслей, воспоминаний мелькали в голове Пашки, пока он опрометью нёсся к Стремянному переулку. Бежал и прикидывал: как бы половчее обмануть бородатого истукана в серебряных позументах. Тот ведь ни одному Пашкиному слову не поверит. Да и как поверить: уж слишком дешёвая на Пашке одежонка. Нет, Арбуз, тут похитрее сработать надо, обойти, облапошить второго Гришку Распутина!

Поэтому Пашка и не добежал до институтского подъезда: совсем ни к чему, чтобы стоявший в дверях швейцар заприметил его. Юркнул в подъезд напротив, притаился, ждал: может, отайдет куда-нибудь, отлучится?

Важно заложив руки за спину, швейцар то уходил на минуту в здание, то снова появлялся, здоровался с проходящими мимо, со студентами, с учителями-профессорами – кажется, их тут так называют.

Но вдруг в институтском дворе, как раз напротив подъезда, где томился в ожидании Пашка, со скрипом распахнулись ворота, и оттуда выехал экипаж с поднятым верхом, подкатил к институтскому подъезду.

Пашку словно осенило: дурачина ты, Арбуз, дурачина! Да есть же в этом казенном здании чёрный ход, через который уборщицы и прочий рабочий народ входит-выходит!

Рванулся, перебежал улицу, шмыгнул во двор. Скосив глаза, видел, как

швейцар услужливо подсаживал в экипаж какого-то упитанного бородача в распахнутой лисьей шубе – поди-ка директора, что ли? Ну и наплевать! Ладно, что Пашку не заметили.

Во дворе он прокрался за мусорными ящиками к открытой двери, возле которой не было никаких сторожей. Поднимаясь по лестнице, где пахло кошками и мышами, столкнулся с уборщицей – несла сверху корзинку рваных бумаг и мятых газет. Подозрительно глянув на Пашку, спросила:

– Ты куда, хлопец?

– Тётка тут одна работает. Повестку её сыну принесли.

– Ах, батюшки! – всполошилась уборщица. – Не иначе Настиному Володе, больше некому!

– Ага! – обрадовался Пашка. – Володьке и есть!

– Настя, милый, на втором этаже убирает. В большом зале, который актовый. Там вчера вечером студенты шибко шумели, намусорили – страсть!

Бормоча то ли молитву, то ли проклятия, уборщица заковыляла по лестнице. С облегчением вздохнув, Пашка взлетел на второй этаж.

Поплутав по узеньким переходам, с опаской вышел в широкий коридор с окнами на одну сторону. Огляделся. По другой стене тянулся ряд высоких, застеклённых поверху дверей. Из-за них доносились приглушённые голоса.

Он понимал, что в коридоре оставаться нельзя, любой институтский чин, если наткнёшься, может прицепиться: кто, откуда, зачем?

На его счастье, поблизости белела полуоткрытая дверь, и за ней вроде бы никого не слышно.

Юркнув в пропахшую папиросным дымом комнату, Пашка догадался: курилка, уборная. Забрался в одну из кабинок и запер на крючок дверь.

Он не представлял себе, как будет искать девушку в очках, которые так странно называются «пенсне», но понимал, что найти её обязательно нужно: записка Андрея будто шевелилась в кармане.

Кто-то два раза заходил в комнату, где он притаился, чиркали спички, остро пахло папиросным дымом, журчала вода, потом снова затихало.

Но вот, наконец, медно прокатился по коридору дребезг звонка. Захлопали двери. Зазвучали изредка женские, а больше мужские голоса. Курилка наполнялась студентами.

Приоткрав дверь, Пашка разглядывал в щёлку лица, тужурки с блестящими пуговицами.

Перебивая друг друга, студенты шелестели газетами, обсуждали тревожные телеграммы с фронта, говорили о каких-то акциях, суливших огромные барыши. Горевали о скоропостижной смерти профессора: надо идти на панихиду, складываться на венок...

Пашка растерянно озирался, не зная, что делать.

На глаза ему попался приткнутый в углу кабинки веник и, схватив его, Пашка выскользнул в курилку. Никто не обратил на него внимания. А он, старательно скребя веником пол, сгребал в кучу окурки, пустые папиросные коробки. Присматривался к студентам, выискивая, к кому обратиться.

Но на большинстве лиц, у иных уже украшенных пушистыми молодыми

усиками, а то и бородками, читалось выражение самодовольства и высокомерия; заговаривать с такими боязно. «На них словно вывеска нацеплена: «Не подходи!» – подумал Пашка.

Его уже начинало охватывать отчаяние, когда в курилку вошёл коренастый крепыш, в котором будто мелькнуло что-то знакомое. Лицо широкооскулое, избитое мелкими рябинками осин, – потому, должно быть, и осталось в памяти.

Пашка старался припомнить: а не этого ли парня видел однажды возле заводских ворот Михельсона? Правда, тогда рябенький был не в студенческой тужурке, а в замыгданном кургузом пиджаке.

Не вмешиваясь в разговоры, коренастый прошёл к окну, достал папироску, закурил.

Через минуту Пашка уже сутился у его ног, тёр веником и без того чистый пол. Улучив минуту, когда за гомоном спорящих голосов его не могли услышать, шепнул коренастому:

– Мне бы Шиповника...

Тот вздрогнул, словно его ударили или толкнули. Нервно загасил о подоконник папироску, щелчком швырнул окурок в урну и подозрительно оглядел Пашку.

– Какого ещё Шиповника? – спросил строго, но тоже тихо, чтобы не услышали другие.

– Не его, – шепнул Пашка. – Её. Которая в пенсне ходит... армяночка...

Что-то смягчилось в лице студента, он внимательно осмотрел Пашку, неспешно достал новую папироску. И лишь тогда спросил:

– Зачем?

– Записка ей. С Михельсона. От Андреева.

– Давай мне!

– Не дам. Брат велел, чтобы самой в руки...

Студент секунду подумал, обвёл взглядом курилку.

– Ладно. Столовку нашу знаешь?

– На Малой Серпуховке, двадцать восемь?

– Да. Шиповник пошла туда. Беги, парень, пока тебя здесь не застукали!

Тут порядки строгие! Через чёрную лестницу, понял?

Пашка улыбнулся, показал щербатый зубок.

– Учить станешь! Не маленький, чать!

– А то – большой? – засмеялся студент.

Кооперативную студенческую столовую Пашка, конечно, хорошо знал.

Сюда не раз по вечерам заглядывал Андрей. Позади большого общего зала имелась комната, прозванная за цвет обоев «красной». Там Андрей о чём-то разговаривал с такими же, как он, парнями с Бромлея и Гайтера, со студентами, с кем-то ещё.

В такие вечера Пашка или кто-либо из его дружков по наказу Андрея «стояли на стрёме», караулили, чтобы нежданно не нагрянула полиция или не отирался бы поблизости шпик.

Повариха тетя Даша, когда Пашка вертелся поблизости, подкармливала его

остатками каши, которую соскребала со стенок котлов.

В столовую заходили запросто: ни швейцара, ни сторожей.

Оглядев с порога наполненный студентами зал, Пашка сразу нашёл ту, кого нужно. Догадался по её нерусскому, чуть горбоносому лицу, по пенсне, напоминающему стрекозиные крылышки – они непонятно как, без всяких оглобелек, держались на тонком красивом лице.

За столиком сидело четверо: трое ребят и она – Шиповник.

Стараясь не привлекать к себе внимания, Пашка пробрался в зал и, прислонившись к стене напротив столика, уставился на девушку таким напряжённым взглядом, что уже через секунду она беспокойно посмотрела на него. Пашка вынул из кармана записку и показал. Шиповник кивнула.

– Извините, – сказала она сидевшим за столиком, вставая, – я на минутку.

Но направилась не прямо к Пашке, а сначала подошла к буфету, задержалась у одного из столиков и лишь потом, будто мимоходом, остановилась возле Пашки.

– Что, мальчик?

Он протянул записку:

– Вам от Андрея, моего брата.

Шиповник прочитала, и её смуглое, по-южному загорелое лицо стало строже и бледнее.

– Спасибо, мальчик! – сказала, легко коснувшись ладонью плеча Пашки. – Передай, что постараюсь увидеться с ним. Хорошо? Но как ты меня нашёл? Ты знаешь, как меня зовут?

В голосе девушки звучали нотки тревоги.

– Имени не знаю. Брат просто сказал: найди Шиповника, – пояснил Пашка.

– Искал в институте и там сказали, где вы.

– Кто?

– Он такой... ну, с дырочками... от осды, что ли...

– Знаю! – с облегчением улыбнулась Шиповник. – Это Алёша. Он хороший. Так скажи брату, что я непременно его повидаю... Иди!

Но Пашка стоял, исподлобья всматриваясь в смуглое, красивое лицо.

– Тебе что-то ещё надо? – спросила, наклонясь, Шиповник. – Может, кушать хочешь?

– Не-е, – покачал Пашка головой. – Только почему вы Шиповник? Шиповник – он зелёный и красный, а у вас чёрные и глаза, и волосы...

– А-а! – засмеялась девушка. – Прозвище такое. Я колючая. А по-настоящему меня зовут – Люсик, Люся.

– Шиповник, Люсик, – повторял, запоминая, Пашка. И, вскинув взгляд, увидел над собой добрые, внимательные глаза. И неожиданно для себя признался: – А у меня тоже есть прозвище.

– Какое, если не секрет? – снова улыбнулась девушка.

– Арбуз.

Черные атласные брови удивлённо вскинулись, на лбу появились морщинки.

– Почему Арбуз? Ты больше похож на такой крепкий камушек с берега

Чёрного моря...

— А знаете, — смущённо разоткровенничался Пашка, — когда весной мамка меня в парикмахерской под нулёвку острижёт, у меня голова совсем круглая. Ну, все на улице и дразнят: «Арбуз, Арбуз!» Не драться же из-за этого! А так я Пашка, Павел.

— Ты знаешь, Павлик, и мне не очень-то нравится, что меня прозвали Шиповником. Но ты прав: что поделаешь? Значит, передай, Павлик, брату, что я обязательно с ним увижуся. Вы ведь в доме Ершинова живёте, внизу, под лавкой, да?

— Ага.

— Ну, беги, Арбузик!.. Хотя постой. У меня пирожок остался.

И как Пашка ни отнекивался, Люсик с силой всунула пирожок ему в руку.

— Беги, милый!

У самой двери он лицом к лицу столкнулся с рябоватым пареньком, с которым разговаривал в институтской курилке. Тот шутливо ткнул Пашку пальцем в бок.

— Отыскал, значит, Шиповника? — И засмеялся, подмигнул: — У, шустрой какой!

— Я такой! — подмигнул и Пашка.

Кто-то из глубины столовой громко и настойчиво звал:

— Эй, Столяров! Алёша! Сюда, к нам!

— Ну, пока прощай, сорванец! Поговорим в другой раз! — Столяров снова и довольно больно ткнул Пашку пальцем в бок. — А может, до свидания? Вдруг свидимся где-нибудь на узкой дорожке, а?

5. ПРОВОДЫ

В тот вечер в квартире Андреевых побывало немало знакомых. Пришли посидеть на прощание друзья Андрея с жёнами и невестами, с родителями, заходили соседи — словом, люди, с кем можно откровенно, по душам, поговорить.

Брали жизнь, охали, вздыхали. Шуточное ли дело — провожать молодых на фронт, может, на верную смерть! Вон сколько детишек осиротила война! Сколько матерей, невест и вдов глаза по убитым выплачали! Сколько искалеченных — безногих, безруких да навечно слепых — клянчат милостыню по улицам и толпичкам!

И хотя газеты взахлеб трубили о героизме доблестного российского воинства, о прорыве и победном наступлении на Юго-Западном фронте генерала Брусилова, калеки-воины рассказывали и совсем другое.

Шепотом передавали, как отказались идти в атаку солдаты 2-го Сибирского корпуса и как за это двадцать четыре рядовых 17-го полка были расстреляны перед строем по приговору военно-полевого суда. С оглядкой рассказывали, что всё чаще, воткнув винтовки штыками в землю, братаются наши и немецкие солдаты.

Вначале, само собой, собравшиеся пожелали уезжающим на фронт вернуться живыми и невредимыми, чтобы не оборвалась слишком рано молодая их жизнь.

Потом старики принялись вспоминать русско-японскую войну – у многих ещё свежа была в памяти, – поминали Порт-Артур, Цусиму, трагическую гибель «Варяга», спели в полный голос: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает!» Что ж, такую можно и в полный: законная, не запрещённая.

Матери, жёны и невесты уходящих на фронт, конечно, плакали, обнимали своих ненаглядных, но парни не позволяли себе распускаться. Поживём, как говорится, увидим: земля-то всё заметнее трясется под ступеньками императорского трона. Авось вот-вот она и грянет, долгожданная революция!

Сидя рядом с Сашей Киреевым, подручным отца, Пашка не сводил глаз с брата, с трудом удерживая слёзы. И лишь изредка вскакивал, чтобы отпереть дверь вновь пришедшему. Хотя к такому прощальному застолью не посмели бы придраться надзирающие за порядком дотошные околоточные и городовые, входную дверь Андреевы всё же держали на крюке: не всяким ушам положено слушать то, что здесь говорено.

А говорено было о многом наболевшем и изранившем душу: о голодае, с каждым месяцем всё сильнее давящем рабочие семьи, о каторжных условиях труда, о несчастном случае на Бромлее, о злобных мастерах, штрафующих за любую провинность, за малейшую оплошность.

Сетовали и на то, что последний год, третий год войны, парней призывающего возраста стали брать в армию и с военных заводов, и в первую очередь тех, кто дерзит и перечит заводскому начальству, кто взят на заметку полицией... Сынков богатеев, чиновников и попов, совершенно бесполезных на заводах, только прячущихся от военной службы, тех не тревожат. Отцы их отлично знают, кому нужно «сунуть в лапу», чтобы сыну не забрили лоб.

Когда ходики над кроватью в углу пробили десять, старики наговорились, а матери и девчата наплакались досыта. Думалось, время позднее, больше уж и не заявится никто, затянувшуюся вечеринку пора кончать. Тем более что завтра трудный, тягостный день. Беда-то, она и в том, что по «временному положению военной поры» никому из работающих на фабриках и заводах невозможно и часа прогулять. Значит, не доведётся проводить сына до вокзала.

Кто-то из кузнецов, дружков Андреича, глянул на часы, поднялся уходить, но в дверь постучали. Переглянувшись с Андреем, отец кивнул Пашке:

– Открой!

Каковы же были радость и удивление Пашки, когда в полутьме подвального коридорчика серебряно блеснули стеклышки пенсне, похожие на стрекозиные крыльышки. Не обманула, пришла!

– Можно? – спросила Люсик.

Из-за плеча девушки выглядывало рябоватое лицо Столярова. Сидевшие за столом молча всматривались в едва различимые тени у порога, но Андрей узнал голос Люсик. Опрокинув табуретку, вскочил, бросился к двери.

– Люсик! Алёша! Всё-таки не позабыли!

– Забывать в горькую минуту друзей не в наших правилах! – отзвалась Люсик, протирая на пороге запотевшее пенсне.

Пашка отступил, пропуская пришедших, и Люсик, надев пенсне, шагнула в

скоро освещённую квартиру.

— Не помешали? — спросила, сдержанно поклонившись.

В последние месяцы старик Андреич не раз, уходя со смены, замечал у проходной тоненькую, стройную фигурку девушки — такая нерусская, «не заводская, не нашенская», она сразу бросалась в глаза.

Перекинувшись десятком слов с ребятами из литьного и кузнечного, с девчатами из формовки, Люсик неприметно исчезала, будто растворялась в заводской толпе. С Андреем она всегда приветливо здоровалась.

На вопросы отца — кто да что? — Андрей нехотя пояснил: студентка из Коммерческого. Дескать, ведёт с рабочей молодёжью разрешённый властями кружок, обучает грамоте, арифметике, рассказывает историю России.

Острым рабочим чутьем Андреич угадывал, что вряд ли о славе трёхсотлетней династии Романовых да татарском иге беседует с заводской молодёжью строгая девушка, — не иначе, здесь политика примешана. Но о своих догадках старый кузнец помалкивал.

И сейчас, обрадованный появлением неожиданных гостей, грузно поднялся, шагнул навстречу.

— В нашем доме, а вернее сказать, в этом ершиновском подвале, пока мы в нём ютимся, добрым людям всегда рады! Милости прошу к убогому шалашу!

— Мы попрощаться с Андрюшей и его товарищами пришли. Агатово-чёрные глаза внимательно щурились за стеклами пенсне.

Мать сутилась у стола, обмахивала фартуком табуретки. Люсик и Столярова она видела впервые, но по радости Андрея, по приветливости мужа понимала, что пришли желанные гости.

— Там у меня сковородка картошечки жареной припасена, — приговаривала она, вытирая стол. — Чайку вскипячу, пусть и военного времени, из морковки сушёной, а всё будто чай...

— Не егози, мать! — остановил ее Андреич. — Чайку, само собой, поставь, а за бедность нашу пролетарскую, кто рабочую жизнь понимает, тот не осудит.

— Да нам и не надо ничего! — засмеялась, снимая снова запотевшее пенсне, Люсик. — Мы сыты! Хотя и в студенческой кооперативной столовке, Андреевич, не слишком-то богато. Сами понимаете, третий год войны!

Без пенсне близорукие глаза девушки смотрели по-детски беззащитно и доверчиво.

— Как не понять! Садись-ка, барышня, сюда, рядышком со мной, — потянул Люсик за руку старый кузнец, придвигая поближе к себе табуретку. — Вот так.

Он пристально, но ласково всматривался в милое, матово-загорелое лицо.

— Картошечкой, однако, не побрезгуйте, чем богаты, тем и рады!.. Что зашли нынче, в горестный день, за то великое вам спасибо! Я ведь вот о чём собирался ещё, об тебе, барышня, с Андреем потолковать, да как-то не успел: уж больно срочно понадобился сынок на защиту царю и православию.

Что-то в голосе Андреича насторожило Люсик и Столярова, они переглянулись. Принимая от хозяйки вилку, Люсик вопросительно улыбнулась:

— Что же могли вы обо мне толковать, Андреевич? — Тёмные глаза девушки блестели любопытством.

Старый кузнец не спешил с ответом. Неторопливо свернул самокрутку, привстал, прикурил от лампы на столе и, пуская в сторону от девушки дым, отгоняя его ладонью, заговорил медленно и серьёзно:

— Вот о чём, дорогая барышня! Хотя ты и не нашей рабочей косточки, но парням и девчатам на заводе вроде пришлась по душе. От многих доброе о тебе слышал. Тебя Люсей звать, что ли?

— Да. Если по-русски, то Люсей.

— Так слушай меня, Люсенька черноглазая! Не приходи ты больше к воротам Михельсона. Поняла?

Опять Люся и Столяров переглянулись. Сведя брови в одну полоску, рассечённую морщинкой, Люся отложила вилку и с обидой посмотрела на Андреича.

— Интересно! Это почему же мне не приходить к вашему заводу?

Не торопясь, затянувшись, кузнец сказал веско и строго:

— Потому, дорогая барышня, что уж больно приметная! И не одни рабочие ребята на тебя глаз кладут, а и другие-прочие. Как раз вчера мастер будто мимоходом справлялся. Видел, как вы с Андреем у ворот балакали. А уж вреднее этого хозяйского прислужника на всём Михельсоне не сыскать. Смотри, подошлют к тебе полицейского хмыря в латаном рабочем пиджачке, и придется ворон из-за тюремной решётки считать... Не попадись ты, милая, по молодости да по неопытности своей на полицейский крючок!..

Люсик и Столяров молча отодвинули тарелки с жареной картошкой — понимали, что хозяйка поставила на стол приготовленное к утру.

Все в подвале молчали.

— Значит, подцепили! — буркнул Столяров, в тревоге глянув на девушку. — Следовало ожидать... Ты, Люсик, и правда, слишком приметная!

— Спасибо, Андреевич! — Люсик обеими руками крепко пожала лежавшую на столе заскорузлую руку. — По правде говоря, я и сама кое-что подмечала. — Она вопросительно посмотрела на сидевшего напротив Андрея.

— Я то же скажу, Люся! Батя прав! — ответил на её немой вопрос Андрей. — Ко мне тоже подкатывались, интересовались: кто такая да откуда взялась? Осторожность, Люся, вам большая нужна. Уж очень вы рабочим ребятам полезны... Вроде свет от вас.

Люсик откинулась к стене и грустно рассмеялась:

— Да не от меня, Андрей! Я всего лишь крохотное зеркальце, отражающее большой свет... Хотя осторожность необходима, в этом вы и Андреевич правы!

Она помолчала, перебирая пальцами кружево на воротничке блузки.

— Но и вы, Андрей и товарищи, берегитесь там! Не дайте ни за что ни про что убить себя где-то в Галиции. Берегите жизнь для светлого будущего, оно, поверьте, не за горами!

Зябко поёжившись, она отодвинулась от кирпичной стены, к которой прислонилась спиной, и с неприязнью оглянулась на неё.

— Холодная какая, б-рр! Сыро, как в погребе! — Медленным и грустным взглядом обвела жилище Андреевых.

Пятна и подтёки плесени на стенах, обвалившаяся местами штукатурка,

дешевые занавесочки, на двух окнах почти у потолка, чёрный, но с позолоченным нимбом квадратик иконы в углу напротив скрытой пологом кровати.

— Боже мой! Как вы бедно живёте, Андреевич! Вы же специалист высокого класса! И даже пол холодный, кирпичный.

Кузнец передёрнул плечами, как бы говоря: а что делать? И повернулся к жене:

— Мать! А ну, подкинь половичок под ноги дорогой гостье.
— Да что вы, Андреевич! — запротестовала Люсик. — Я не такая уж неженка.

Я...

— Ты слушайся меня, старика! — строго перебил кузнец.

И когда жена принесла половичок от стоящей за пологом широкой кровати и постелила к ногам Люсик, продолжал с горечью:

— Другие и того хуже живут, Люся! Вон в «спальнях» Голутвинской и Даниловской мануфактур или, скажем, в бараках миллионщиков Брокара, Бромлея и прочих! Зайди-ка, глянь! Нары в три яруса. Внизу семейные, ситцевыми, а то и рогожными занавесками разделённые, на втором этаже детвора копошится! На верхотуре, на полатях, — на одной стороне девчата, на другой парни-холостёжь спят. А посередине между нарами зыбки с титешными. Мать спать ложится — зыбку к ноге шнурком привязывает, чтобы ночью не каждый раз вскакивать. Заорет младенец, мать спросонья ногой дергает. Бывает и так: один ребёночек орёт, а пятеро матерей ногами дрыгают! Во тьме-то не сразу разберёшь, твой орёт аль соседский... То-то и оно!

Послюнив палец, Андреич загасил окурок и спрятал в карман. И продолжал:

— Что делать, черноглазенькая, куда бежать? Возвращаться в деревню, что ли, откуда большинство не от сладкой же доли сбежали? Так в деревне-то, Люсенька, у нашей голи перекатной и крохотного клочка земли ни у кого нету! Всю её, кормилицу, давно под себя богатеи сгребли. Только что на кладбищах по три аршина на бедняцкую душу и осталось! Ты с моей старухой потолкуй. Она расскажет, как со своей родной Брянчины сбежала! — Андреич с бережной ласковостью тронул ладонью плечо сидевшей неподалеку жены. — Расскажет, как маялась тут, пока на Трёхгорку подметалкой не устроилась. Ну, что делать? Снова в деревню, на кулачье батрачить? Ничем не лучше, чем на Голутвиных аль на Михельсона! Одна стать! Эх, Люсенька, Люсенька, не видела ты, должно быть, подлинной нищеты!

Люсик порывисто повернулась к кузнецу.

— Видела, Андреевич! Видела, поверьте мне! Иначе не сидела бы сейчас у вас!

Помолчав, с грустью продолжала:

— Ну, хорошо! До сих пор, пока Андрюша работал, было у вас три заработка. А теперь?

Андреич усмехнулся с какой-то горькой удалью. Поманил к себе младшего сына и, когда Пашка подошёл, обнял его, с силой прижал к груди.

— Вот она, смена нашему Андрюхе! Завтра поведу в контору и, хотя идёт

ему тринадцатый годик, скажу: все шестнадцать! Думаете, Люся, не возьмут? Да не возьмут, а схватят! Столько взрослых с завода на фронты угнали, так нынче хозяйские надсмотрщики и ребятишкам рады! Благо платить им можно поменьше, хотя спрос с них тот же!

— Значит, Павлик на завод? — огорчилась Люсик, всматриваясь в лицо Пашки, прижавшегося к плечу отца. — Но ему учиться дальше надо! Он такой смышлённый...

— Он у нас и сейчас вполне грамотный! — с гордостью сказал Андреич. — Не то там вывеску на бакалею-булочной, а и царев манифест запросто, бегом прочитать может. Верно, Павлуха? Да что манифест! Ну-ка, сынок, валяй на память из Пушкина, про Руслана храброго!

Пашка не успел ответить, хотя именно перед Люсик ему хотелось бы покрасоваться, прочитать наизусть любимые строки. Помешал громкий стук в дверь.

Все с тревогой переглянулись — полиция нагрянула, что ли? Но Андреич, нахмурясь, пояснил:

— По стуку слышу, сам владелец дома, купец второй гильдии Ершинов, слизойти изволили! То ли о квартирном долге напомнить, то ли на новобранцев полюбоваться... Однако, думаю, не след его степенству тебя у нас видеть. Мать, спрячь-ка Люсю! — Кузнец кивнул на ситцевые занавески, отгораживавшие угол между стеной и печкой, где стояли кровати Андрея и Пашки. — Иди-ка, Люся, иди, нечего зря на рожон лезть. Мы его жирное степенство быстро спровадим!

Люсик прошла за раздвинутые перед ней занавески, присела на край Пашкиной койки.

— Открой непрошеным, Павел! — приказал отец.

Пашка неохотно пошел к двери, а Андрей, подмигнув ребятам, повернулся спиной к двери, откинулся спиной к стене и запел:

Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает...

Другие новобранцы и Алеша Столяров подхватили:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает...

В просвет между занавесками Люсик наблюдала, как следом за посторонившимся Пашкой, грузно переваливаясь, вошёл Ершинов в новой поддёвке и высоком картузе. За ним важно вышагивал городовой при неизменной «селёдке». Шествие замыкал солдат на костылях и с Георгием на груди.

Не обращая внимания на вошедших, молодёжь продолжала петь:

Пощады никто не желает...

Подозрительно, но и с одобрением покосившись на них, Ершинов прошёл к столу и торжественно поставил на край большую бутыль водки — бережно нёс её, держа ладонью под донышко. Поставив, снял картуз и, найдя глазами икону в переднем углу, широко перекрестился.

— Хлеб и соль, господа любезные! Как, значит, истинные патриоты

расейские, мы с Фрол Никитичем Обмойкиным и его геройским сыном, прослышиав о проводах некрутов в армию, решили поздравить уходящих на святое служение. И, значит, преподнести!.. С пожеланием геройства и победы!

Ершинов погладил блестевшие от масла волосы и раза три щёлкнул ногтем по бутылке.

— Просим, стало быть, Андрей Андреев, совместно с друзьями, как вы теперь есть бравые солдатушки, принять наш привет и возгласить с нами здравицу за царя-батюшку, за Русь православную и за будущее ваше геройство!

Перестав петь, Андрей встал. Глаза у него играли злым, озорным огоньком. Тряхнув своими латунными кудряшками, он с показной, деланной приветливостью поклонился.

— Ваше степенство! Уж не знаю, как благодарить вас за столь великую честь к нам, жителям вашего подвала?! Просто и слов не могу найти. Но ведь ваше благостное подношение, как бы это сказать... Мы, конечно, сердечно вам благодарны, но напоминаю: в начале войны царёв указ был, чтобы до победы над заклятым врагом ни один патриот ни капельки зелья сего не потреблял, ни-ни! Стало быть, вы не только сами царский наказ нарушить желаете, а и нас, воинов его величества, на злостное нарушение толкаете.

С некоторым смущением Ершинов развёл руками.

— Так ведь, Андрей Андреев, случай-то какой! На святую службу идёшь. И уж ежели я угощаю, значит, я и в ответе.

Андрей язвительно расхохотался:

— Выходит, вам можно указы царские нарушать, а простому человеку, другим-прочим, никак, да? Ну-ка, дайте, я на неё гляну.

Подмигнув отцу, Андрей потянулся через стол, хотел ухватить бутылку за горлышко, но, словно не удержав равновесия, оступился. Рука скользнула по бутылке, она опрокинулась и полетела на пол. Зазвенело стекло, брызнули во все стороны осколки.

Ершинов поспешно отступил, с подозрением всматриваясь в Андрея.

— Эх ты, руки-крюки! — Он с осуждением покачал головой. — Я же к вам с чистой душой шёл, поздравить и проводить. И о геройстве слово сказать мне было желательно...

Стоявший позади Ершина Николай Обмойкин стукнул костылем о кирпичи пола, шагнул вперед.

— Дозвольте мне, уважаемый Семён Семёныч, как я к этому делу, к геройству то есть, прямое отношение имею... Конечно, это не на пасхальный праздничек, не к любезной тёще на блины ехать. Там не одно геройство, а может, и сама смертушка ждёт!

— Ну-ну, валяй, герой! — усмехнулся Андрей.

— Тут, Андрей Андреев, смешки вовсе даже и не к месту! — нравоучительно продолжал молодой Обмойкин. — Скажу так: о геройстве любому охламону какое-никакое понятие иметь надобно. Война и геройство — это тебе, Андрей Андреев, не прогулка с дамочкой по Тверской-Ямской или там по бульвару. Это — навстречу смертельной опасности шагать, как вот я шагал! И ежели ты, Андрей Андреев, с фронта с Георгием на груди воротишься, мы с папаней тебе

навстречу не бутыль, тобой разбитую, а цельную бочку выкатим. Потому как геройство ценить и уважать положено! Понял?.. А сейчас, полагаю, Семён Семёныч и папаша, ввиду прискорбного случая с разбитием, требуется возместить, чем ваша щедрость позволит!

Ершинов долго и молча в упор смотрел на Андрея, потом достал из кармана поддевки толстый засаленный бумажник и, послюнив палец, отсчитал несколько рублёвок. Отвернулся от Андрея и протянул деньги Андреичу. Но тот, возмущенно выпятив седеющую бороду, отступил к стене.

— А уж это, Семён Семёныч, как бы и лишнее! Даже обидно! Мы к подаяниям не привычны, не на паперти стоим. Нас пока вот эти, — он рывком выбросил вперед тугу сжатые кулаки, — кормят! Так что извините, милостыню не принимаем!

Из темного закутка Люсик с любопытством наблюдала за происходящим.

Ершинов стоял неподвижно, протянув Андреичу пятерню с кредитками, и смотрел на старого кузнеца сначала с недоумением, словно не понимая сказанного. Лицо его медленно багровело.

— Какая же милостыня, Андреич?! От полной, сказать, доброй души!

— Погоди, батя, — вмешался в разговор Андрей. — Дай мне сказать. Он снова будто бы и приветливо улыбнулся Ершинову. — Ваше степенство! Но ведь эти рублёвочки-то полагаются, когда я, на вашу радость, без ноги, аль без глаз с фронта вернусь! Да? Вот тогда?.. Если мне, вон как Коле Помойкину... то бишь Обмойкину, крест на грудь его императорское величество собственной золотой ручкой, самолично... Тогда и награда!..

Андрей смотрел на домохозяина с такой напряженной ненавистью, что Ершинов не выдержал. Скрипнул сапогами, переступил с ноги на ногу, отвёл взгляд.

— А вдруг, глядишь, я аванса-то не оправдаю, ваше степенство? — продолжал Андрей. — Мы ведь Михельсонами как приучены? Отковал, скажем, ваше степенство, какую-никакую военную железяку, которой жизнь немецкому или австрийскому кузнецу изуродовать можно, — за неё и получи кровные или, вернее сказать, кровавые пятаки... А?!

Мать с беспокойством переводила глаза с отца на сына, но оба и не замечали её.

— Стало быть, не желаете? — насупясь, спросил Ершинов, опустив руку с зажатыми в ней кредитками. — Ну, как говорится, была бы честь...

Неторопливо достал бумажник и аккуратно сложил деньги туда.

— Па-а-нятно, господа любезные!.. В таком разе вот чего... — Он на мгновение обернулся к стоявшим позади Обмойкиным и снова, решительно выпрямившись, повернулся к квартирантам. — Ну-к что ж, ладно! Пушай по-вашему... Вот бог, а вот и порог? Этак? Однако за тобой, Андреев, движок немалый по квартире значится, а? Ежели завтра не принесёшь сполна, я в присутствии Фрола Никитича, как он есть власть...

Кузнец перебил, широко разведя руками:

— Так ведь, Семён Семёныч! Выселить мою семью вы нынче по царёву указу никакого права не имеете! Как у меня сын в действующей, защищает и

царя-батюшку, и вас тоже от немца-антихриста! Вышел, говорят, такой царский указ, а? Может, сынок-то мой, этот самый Андрюха, даже не одного Георгия на убитых немецких кузнецах да слесарях заработает и в офицерских погонах с фронта воротится? Тогда как?! А?

С непривычно бьющимся сердцем Пашка переводил взгляд с отца на старшего брата, на багрового от ярости Ершинова. Ему, Пашке, хотелось броситься на шею и отцу, и брату: эх, здорово, вот как надо!

Застегнув поддевку, низко напялив на лоб картуз, Ершинов повернулся уходить.

По тут вперед шагнул, побрякивая о сапог неизменной «селёдкой», старший Обмойкин. Подошёл вплотную к столу и, злобно глядя в пронзительно блестевшие глаза Андрея, грозно рявкнул:

– Эй, ты, голь перекатная! Как ты посмел мою заслуженную геройскую фамилию позорно калечить? Какой я тебе Помойкин, а? Да ты знаешь, гнида, что я с тобой...

В ответ Андрей расхохотался и издевательски протянул:

– С получением этой повесточки, ваше селёдочное благородие, твоя полицейская власть надо мной кончилась! – Он достал из кармана повестку и помахал ею перед носом городового. – Теперь и доносы твои, и рапорты по начальству – грош для меня ломаный! С нынешнего дня я есть не обормот штатский, а воин его императорского величества! Не укусишь, твоё помойное благородие!.. Поэтому просил бы вас, господин будочник, оставить на последний вечер меня, царева воина, в покое! Дать мне пролить слезу горючую на родном плече папушки да мамушки. – И вдруг лицо Андрея исказило бешенство. – Во-он! Вон сию же минуту, холуй царский! А не то пришибу по рекрутскому делу и отвечать за твою битую морду не стану! Кому сказано: во-он?!

Обмойкин отшатнулся от стола, через который перегнулся побледневший Андрей.

– Да ты что? Очумел, парень? – испуганно бормотал городовой. Попятился и, поскользнувшись в луже разлитой на полу водки, чуть не упал.

Злобно оглядывая Андреевых, Ершинов подхватил Обмойкина под руку, повёл к двери.

– Пойдём отсюда, Фрол Никитич! Разве они люди, разве могут благородное обхождение понимать?! К ним с открытой душой, а они вон чего вытворяют! О благородстве человеческом, поди-ка, и не слыхали никогда. Одно слово: тыфу! Пойдём, сердешный ты мой человек! И давай-ка вперёд нашего дорогого героя пропустим, за всех нас пострадавшего... Идите, Николай Фролыч, честь вам и первое место всегда! Этим-то голодранцам кишки бы на фронте на колючую проволоку намотать! От таких вся смута!

Никогда Пашке не забыть, до самой его смерти, последнего взгляда молодого Обмойкина – столько в нём было ненависти! Жестокой, ничего не прощающей, страшной.

6. ПРАВДА О ВОЙНЕ

Дождавшись, когда за непрошеными гостями захлопнулась дверь, старый

кузнец устало сел, приказал сынишке:

— А ну, накинь крюк, Пашка! И возьми-ка одеяла, завесь построже окошки. По их подлой повадке они непременно подглядывать-подслушивать сунутся! — И, обернувшись в сторону занавески, за которой пряталась Люсик, крикнул: — Потерпи ещё чуть, черноглазая!

Через минуту оба окна в полу подвал были плотно завешены — при всём желании с улицы ничего не увидеть.

— Теперь выходи, Люся!

Придерживая пенсне, Люсик выбралась из темного уголка.

— Ну и молодец же вы, Андрюша! — сказала она, смеясь. — Вот уж не предполагала в вас таких артистических талантов! Славно вы с незваными гостями и их водкой расправились! Пять с плюсом!

— Молодец! — похвалил сына и старый Андреев. — Не пристало нам купецкие да полицейские подношения принимать! Садись, Люся.

Люсик снова села рядом с Андреичем, изучающе, будто увидела впервые, вглядываясь в лица парней. И все молча смотрели на неё, ожидая.

— Так вот... — нерешительно заговорила Люсик, теребя кружевной воротничок блузки. — Я хотела сказать...

Она повернулась к старику Андрееву, словно спрашивая разрешения. Он кивнул:

— Валяй, Люсенька, всё, что из души просится!

Люсик продолжала:

— Я хотела сказать... Ведь я довольно близко соприкасалась с теми страданиями, которые несёт народу эта неправедная и преступная война. Знаете, у себя на родине, в Тифлисе, окончив гимназию и школу народных учительниц, я поступила на курсы сестёр милосердия и около года работала в госпиталях. Да, да, не удивляйтесь, Андреевич! Нет, меня никто не заставлял, я сама... Просто хотелось вплотную соприкоснуться, увидеть своими глазами, услышать рассказы о войне рядовых солдат... И вот тогда я и поняла по-настоящему, что такое война...

Внимательным взглядом девушка обвела грустные лица женщин, девушек и парней. И, смущённая всеобщим вниманием, сняла и долго протирала пенсне. И опять глаза её, не защищенные стёклами, показались Пашке удивительно добрыми и беспомощными. «Такие только у мамки и есть», — подумал он.

— В госпитале я многое-многое и перечувствовала, и передумала. Раненые поступали в тифлисские госпитали с Закавказского фронта — там шли жёстокие бои с турками. Но среди раненых были не только кавказцы: армяне, грузины, курды. Привозили и русских, и украинцев. Искалеченные, голодные, страшные... Многие без рук, без ног, с признаками гангрены... ампутированные наспех, прямо на передовой...

Внезапно мать Игната Кузовлёва всхлипнула и, бормоча что-то, обхватила руками шею сына. Тот растерянно поглаживал ладонью дрожащую голову матери.

Глядя на корявые, измученные работой руки женщины, Люсик подумала, что она, наверно, говорит то, чего этим несчастным не стоило бы говорить.

— Нет, нет! — Она встала. — Я вовсе не хотела вас пугать, дорогие! Я просто хочу предостеречь ребят, предупредить, чтобы не лезли напрасно под пули и снаряды. Поверьте, у всех, кто переживёт нынешнюю войну, впереди совершенно другая, не похожая на сегодняшнюю жизнь. Потому что Россия вступает в полосу величайших потрясений, потому что близка революция! Революция с большой буквы! — Люсик обвела расстроенные, заплаканные лица женщин внимательным взглядом. — Простите, если я причинила вам боль!

— Да нет, Шиповничек! Всё верно говоришь, всё в порядке! — кивнул Андрей.

Но разговор дальше не складывался, не налаживался, и вскоре гости один за другим разошлись. Люсик и Столяров не спешили, было похоже, что им хочется поговорить с Андреем наедине.

Когда Пашка запер дверь за очередным ушедшими, Люсик просительно тронула ладонью плечо старого кузнеца.

— Мы побудем еще немножко, Андреевич, а? Нам нужно с Андреем...

Кузнец перехватил тоненькую руку девушки, подержал бережно и нежно так держат в ладонях подобранного на улице, выпавшего из гнезда птенца.

— Ты, Люсенька, можешь при мне и моей хозяйке всё без опаски говорить. Мы с ней и жизнь понимаем, и молчать умеем.

Вдруг Андреич нахмурился, на лицо, и без того тёмное, набежала тень.

— Однако, извини... Если твоего доверия к нам нет...

— Да что вы, что вы! — горячо перебила Люсик. — Уж от вас-то, Андреевич, у нас с Алёшой, — она кивнула на Столярова, — не может быть секретов! Поверьте моему честному слову, я не привыкла говорить неправду!

— Э, миленькая ты моя черноглазка! — Старик смотрел на девушку с пристальной нежностью. — Вот тут ты и привираешь чуток! Ну, верно, мне ты не соврёшь, не согрешишь против совести! Это да! Но ежели перед ними-то, перед супостатами, ведь скажешь неправду? Ложь-то бывает и святой, во спасение. Ага, молчишь? Вот то-то оно и есть.

— Вы угадали, Андреевич! — согласилась Люсик.

И вероятно, ей вспомнилось что-то своё, очень печальное. Отгоняя воспоминания, покачала головой.

— Давайте не будем об этом, Андреевич! Верю: и выживем, и победим! Она повернулась к Андрею. — Вы извините, Андрюша! Я не могла подробно говорить при ваших гостях, я не всех знаю...

Андрей кивнул:

— Правильно, Шиповничек! И я не с каждым, кто сейчас здесь сидел, успел пуд соли съесть! Кое с кем меня только нынешний рекрутский жребий и свёл.

— Осторожность твоя законная, Люсенька, — поддержал сына Андреич. Нынче полицейские ищёйки во всякой рабочей одежонке за вашим братом охотятся! Принюхиваются, выискивают, где бы побольнее укусить!

Люсик с облегчением вздохнула.

— Ах, как я рада, что вы меня правильно понимаете, Андреевич! благодарно ответила она. — Я боялась...

Кузнец жестом остановил девушку и встал, тяжело опираясь ладонями о

край стола.

— Всё-таки мне по старицковскому делу на покой пора. Завтра чуть свет загудит Михельсон, потребует к наковальне на двенадцать часов... Так что извиняй, Люсенька, пойду завалюсь в свою берлогу, все кости с устата ломит!.. Да и ты, хозяйка, приберёшь посуду и ложись, не мешай им! Поутру-то Андрюхе мало-мало еды собрать требуется. Как же! Подавай им, кроме сына, «харч на двое суток»! Будь здорова, Люся! И ты, Алёша!

Дело у Люсик и Столярова оказалось простым, но опасным. В подпольных кружках Замоскворечья, узнав о новой мобилизации, напечатали — да и сейчас продолжают печатать! — на шапирографах и стеклографах антивоенные листовки. Их нужно каким-то образом раздать отправляющимся на фронт. Желательно доставить их и дальше, тем, кто мается и голодает в окопах, слушая посвист пуль.

Правда, ещё со времен тифлисских госпиталей Люсик запомнила горьковато-усмешливую солдатскую присказку: «Нет, браток, та, что свистнула, она тебе уже не страшна, не убьёт. Свистнула, считай пощадила, пролетела мимо! А ту, которая скосит да в братскую могилу уложит, её свиста ты, друг, не услышишь, не успеешь!»

Молча выслушав Люсик, Андрей на минуту задумался.

— Вы не посчитайте, Шиповничек, что я чего-то боюсь. Нет! Не в том суть! Но тут вот какая, понимаете, загвоздка. Если, скажем, нам завтра листовки с собой взять, так ведь с нас в казармах перво-наперво гражданскую одежонку-то снимут, на шинели да гимнастёрки поменяют. И пока мы нагишом, простите за слово, перед ними стоять будем, они всё наше тряпью, все сумки переберут, перещупают. Верно? Значит, листовки вы нам попозже должны передать, когда царскими солдатиками оденемся. Так ли?

Люсик согласно склонила голову, а Андрей, помолчав, продолжал:

— И вс1 же интересно прочитать, что большевики солдатушкам, бравым ребятушкам пишут!

— Что ж, это можно, — ответила, чуть помедлив, Люсик.

Пока она, отвернувшись, доставала из-за корсажа платья глубоко запрятанную листовку, Андрей приметил Пашку, примостившегося возле дальнего угла стола.

— А ты чего здесь уши растопырил, Арбузище?! — Он встал. — Брысь сей же час под одеяло, не твоего ума тут дело! Ну, кому сказано?!

Несмотря на просящий взгляд брата, Андрей силой затолкал его в спальный закуток, задёрнул занавеску.

— Чтобы немедля спать! А то провожать завтра не возьму! Понял?!

Пашка обиженно шмыгал носом.

— Так ведь и так и эдак не выходит! Батя же сказал: на завод завтра!

— Денёк-другой обойдутся Михельсоны без твоих рук! Сам батьке скажу. Один пойдёшь провожать за всю семью... Сейчас ложись, спи!

Но было Пашке, конечно, не до сна. Переложив подушку от стены к занавеске, прилёг, напряженно прислушиваясь.

Вернувшись к столу, Андрей подвинул лампу к себе, взял из рук Люсик

серый, шершавый листочек.

— Лучше бумаги не могли найти! — словно извиняясь, шепнула девушка. — Да и напечатано не особенно четко. Стеклографы и шапирографы примитивные, самодельные, да и краска — третий сорт. И потом, вот что хочу добавить, Андрей! Мы это сочиняли не сами, а перепечатали выдержки из питерских листовок, они написаны очень сильно и убедительно.

— Какая разница — кто сочинял? — пожал плечами Андрей. — Была бы правда, чтобы до печёнок доставала!

Он бережно разгладил помятый листок в падавшем от лампы круге желтоватого света, склонил над ним голову.

— Вы, Андрюша, вслух, — через минуту попросила Люсик. — Тихонько, чтобы не помешать вашим... — Она показала глазами на дальний угол, где стояла за пологом кровать стариков. — Ещё раз хочется послушать, как звучит. И читайте, пожалуйста, с самого начала, Андрей.

Пашка вплотную прильнул к занавеске. Так ему было слышно любое, даже произнесенное шёпотом слово.

Покосившись на полог в углу, глухо кашлянув, словно в горле застрял комок, Андрей начал:

— «Товарищи солдаты и матросы! Уже третий год длится мировая война, и всё не видно ей конца. Миллионы людей убиты и искалечены на полях сражений, сотни городов, сел и деревень обращены в руины, цветущие страны превратились в пустыни. Третий год народы Европы, одетые в солдатские шинели и скованные цепями военной дисциплины, посылают в так называемого врага губительный ураган свинца и стали, душат друг друга газами и употребляют десятки других способов взаимного истребления. И все новые и новые массы людей вливаются на место убитых и раненых, выбывших из строя, принося свою жизнь на окровавленный «алтарь Отечества»...»

Уличные шумы за окнами давно стихли — ни людского говора, ни грохота ошинованных железом колёс ломовиков. И в подвале совершенно тихо, только тиканье ходиков да глухой взволнованный голос Андрея, наливающийся силой от фразы к фразе. Андрей сам этого не замечал, как не замечали ни Люсик, ни Алеша Столяров, сидевшие рядом с ним.

Пашка встал и, держась руками за края занавески, слушал, затаив дыхание. Не сводя глаз, смотрел на склоненные над столом головы. На каштановые, отливающие латунью кудряшки брата, на иссиня-чёрную, рассеченную пробором голову Люсик.

Андрей читал дальше:

— «...В то же время в далёком тылу солдатские семьи испытывают не сравнимые ни с чем тяготы нужды, истощают последние силы в борьбе за убогое, нищее существование. Но их усилия тщетны! Голод приближается семимильными шагами, и нечем и некому его остановить. Обнищание и вырождение — вот что несет народу продолжение преступной войны...»

Пашка невольно сделал шаг к столу. Его не видели, не замечали.

— «...Таково положение повсюду, во всех воюющих странах, но у нас оно хуже, чем где бы то ни было! С самого начала войны царское самодержавие

ведёт ожесточенную необъявленную войну против собственного народа. Прикрываясь военным положением, продажные лакеи царской власти принялись за беспощадный разгром тех немногих завоеваний, которые сохранились у трудящихся после революции девятьсот пятого года. Напомним, что около двенадцати лет назад рабочие заплатили за эти завоевания Кровавым воскресеньем и ещё тысячами и тысячами жизней по приговорам палачей типа Ренненкампфа и Меллер-Закомельского!»

Андрей глубоко вздохнул, вытер ладонью испарину, приступившую на лбу. И продолжал:

— «...В некоторых губерниях снова введено крепостное право в буквальном смысле этого слова. Под страхом штрафов, порки и тюрьмы крестьяне, как и в старину, обязаны обрабатывать поместья поля: хлеб, дескать, необходим для армии, для победы! Попробуй откажись! Поборы и притеснения все увеличиваются; растут налоги и подати, последнюю копейку у тружеников выколачивают плетьями стражники и урядники. На фабриках, заводах и рудниках рабство, прикрытое словами о патриотизме, фактически введено давно, с самого начала войны! И если голодные рабочие пытаются бороться за улучшение своей каторжной жизни, тогда вас, солдаты, заставляют быть их палачами! Вспомните: когда народные избранники, депутаты Четвертой Государственной думы, социал-демократы, смело подняли свой голос и заявили, что война преступна, что народу она не нужна, их объявили изменниками родины и немецкими шпионами и, несмотря на так называемую депутатскую неприкословенность, отправили гнить в Сибирь!»

Андрей тяжело дышал. Люсик осторожно тронула его руку.

— Передохните, Андрей...

Но он не слышал. Продолжал читать все громче и громче, позабыв о Пашке, о стариках родителях...

— «...Да, товарищи солдаты, ваши жертвы на фронте бессмысленны и ничем не помогут народу. Вас убивают и калечат не за народное счастье и свободу, а лишь потому, что царь, фабриканты и помещики посыпают вас, как своих рабов, на мировую войну. И за ваши жертвы, за ваши раны и смерть вам не будет ни памятников, ни награды! Правда, продажные писаки громогласно называют вас «героями» и «дорогими защитниками Отечества», а наёмные болтуны-фарисеи произносят перед вами льстивые речи. Но всё это ложь, пустые обманчивые слова! А на деле? На деле в армии процветает мордобой и порка за малейшую провинность и командирская плеть полосует кровавыми рубцами ваши беззащитные спины...»

Пашка слушал, притиснув к груди сжатые кулаки. Каждое слово ударяло в уши, как удар набатного колокола. Чуть не до крови закусив нижнюю губу, Пашка всё ближе подходил к столу. Набатные слова громом били и били в уши:

— «... Вас, солдат, во многих городах непускают в трамвай, словно вы не люди, а собаки. Тысячи ваших товарищей засечены до смерти, расстреляны перед строем или томятся в каторжных тюрьмах за малейшее недовольство или ослушание, за протест против произвола самодуров-офицеров. Жестокой железной дисциплиной стремятся выбить из вас все человеческие чувства,

превратить в бездушные машины для убоя таких же, как вы, рабочих, только говорящих на других языках. И каждая капля пролитой вами и ими крови золотой монетой падает в бездонные карманы самозваных властителей мира...»

В этот момент, когда Пашка стоял уже возле самого стола, за спиной брата, напряженную тишину, нарушающую лишь голосом Андрея, разорвал истерический крик:

– Не да-а-а-ам! Не да-ам! Андрюшенька, золотце моё! Да не пущу я тебя на гибель смертную!

Оборвав на полуслове, Андрей резко, словно его стегнули невидимым хлыстом, оглянулся на крик матери. Люсик вскочила с места, её пенсне, звякнув, упало на стол. Встал и Столяров, дергивая под форменным ремнём рубаху.

Пашка, как и все, смотрел в угол, на кровать стариков, – там можно было различить в полутьме две фигуры. Колыхался над кроватью отдёрнутый полог, и старый кузнец, путаясь в складках этого полога, с трудом удерживал рвущуюся у него из рук жену. Обессилев, будто теряя сознание, она вдруг перестала кричать и лишь бормотала сквозь слезы что-то бессвязное и жалкое.

– Не рви матери сердце, Андрей. Имей совесть! – глухо сказал из угла кузнец.

– Простите! Простите! – повторяла Люсик, ощупью стараясь отыскать на столе пенсне.

Мельком глянув на беспомощно-слепую Люсик, Андрей прошёл в угол, обнял мать. Та прижалась к нему худеньким, истощённым телом, дрожа и тыкаясь в грудь и плечи мокрым лицом.

– Да успокойся ты, мамка! – с необычной для него мягкостью и нежностью заговорил Андрей. – Да неужто ты и впрямь думаешь, что я дам себя убить-искалечить за нашу собачью жизнь? Не будет такого во веки веков! Не дураки мы теперь, не кутята слепые! Ну, выгри слёзы!

– Сынонька, сынонька! Так ведь там, сказывают, смерть, она со всех сторон на солдат глядит: и в лицо спереди, и с каждого боку, и со спины даже! Как ты от неё спасёшься-убережёшься, миленький, первенецкий мой!

– Ты верь мне, мама! Вернусь! Обязательно вернусь! Верь и жди! – твёрдо сказал Андрей, бережно приглаживая растрепавшиеся, тронутые сединой материнские волосы. – Потом то учти, мама, война-то к концу идёт! Революция рядышком! Нет больше у народа терпения муку нести незаслуженную, потому и близок крах подлому изуверству! А пока я тебе каждый день буду письма–поклоны с горячей моей любовью писать... А?

– Так ведь неграмотная я, сынонька миленький...

– А Пашка у нас на что?! – оглянувшись на братишку, засмеялся Андрей. – Он же парень – во! Словно богатырь из сказки растёт! Он и воды притащит с колонки, и дровишек наколет, принесёт. Он же всё умеет, гляди, какой лихой! Ему бы десятый сон глядеть, а он ишь столбом-истуканом на месте застыл, уши расставил... Эй, Арбуз, поди-ка сюда!

Пашка подошёл к матери, обнял её с другой стороны.

Старая деревянная кровать заскрипела под Андреичем. Он сел, упираясь

руками в её край, и хмуро, исподлобья, оглядывал сыновей.

– Довели мать!

– Ну вот видишь, мама, – будто и не слыша упрёков отца, ласково, как ребёнка, уговаривал Андрей. – Вон он, твой Пашенька ненаглядный, и радость, и горе твоё, как сама зовёшь. Не одна остаёшься! Да и я не на век ухожу! Чует сердце: скоро вернусь! И вернусь живой, без единой царапины... Мне же моя силушка для будущей борьбы за революцию понадобится... Сама сейчас, поди, слышала, о чём у русского народа душа болит, кровью исходит? Слышала?

– До единого слова, Андрюшенька!.. Потому и не стерпела, не сдержала боли, миленький...

– А ты стерпи! Мы же все вон какие терпячие! Успокойся и ложись, старенькая наша. Давай-ка помогу. Ишь совсем лёгкая, словно птичье перо, стала...

Приподняв мать, бережно уложил её в постель, накрыл одеялом.

– Спи, мама!

Задёрнул полог и, ни на кого не глядя, вернулся к столу.

Люсик, успевшая сложить и спрятать за корсаж листовку, смотрела сконфуженно и виновато.

– Извините, что так получилось, Андрей. Мы с Алёшой пойдем, пожалуй?

– Тут вашей вины, Шиповничек, нет! – жестом остановил девушку Андрей. – Больше моя. Да ведь и дела-то главного не обговорили. А ежели не нам, то кому его за нас обговаривать и доделывать? Я насчет листовок...

Помолчали. В лампе догорали остатки керосина, она коптила, тёмные полосы затеняли стекло.

– Узнать, с какого вокзала отправлять будут! – с тревогой косясь в угол, шепнула Люсик. – Тогда бы можно что-то...

– Кто их знает! – перебил, пожимая плечами, Андрей. – Это первые годы с громовыми оркестрами да иконами, да с «Боже, царя храни» провожали! А нынче, должно быть, солдатские проводы прячут, тайно устраивают. Может, на Брянском, может, на Николаевском в скотные вагоны грузить станут. Сорок человек иль восемь лошадей!

– Узнать надо, откуда!.. Мы бы туда с листовками и пробрались, заметил Столяров. – Уж как-нибудь исхитрились бы. Но вот когда? Завтра, послезавтра?.. И на какой фронт?

– Н-да! В том и загвоздка, – хмуро отозвался Андрей. – Хитрые они стали. С завязанными глазами нашего брата невесть куда волокут!

И тут из сгущающейся тьмы раздался тихий голос Пашки:

– Мы возле казарм караулить станем, а?! Как вас погонят на вокзал, мы бегом в институт, в столовку! Куда скажете! И листовки мы тоже поможем...

– Да кто «мы»? – так же шёпотом спросила Люсик, наклоняясь к Пашке.

– Дружина! Нас много. Попрячемся и станем караулить возле казарм... И прибежим, куда велите...

С минуту трое взрослых молчали, то переглядываясь, то силясь рассмотреть в полутьме мальчишеское лицо. И первым со вздохом облегчения засмеялся Андрей:

— Я же говорил, Шиповничек, у меня братишка — парень стоящий! Башка!.. Глядишь, попадут листовочки кому надо!..

7. ЗЕЛЁНЫЙ И ЗОЛОТОЙ СВЕТ

Братья долго не могли уснуть.

Прежде чем лечь, Пашка сдёрнул с окошек своё и братнико одеяла, отнёс в закуток. Андрей задул полупотухшую лампу, молча разделся, лёг. Но и сон не шёл, и говорить не хотелось. Пашка сопел, сдерживая слёзы, Андрей думал о своём.

Всю ночь в их спальню каморку поверх занавески проникал смутный красноватый свет уличного керосинового фонаря, недавно установленного перед входом в лавку Ершинова.

Большую часть фонарей на улицах Замоскворечья не зажигали второй год. По режиму военного времени городская управа экономила и газ, и керосин прежде всего на окраинах. В Замоскворечье фонари горели лишь у заводских и фабричных ворот, у полицейских околодков да возле военных Александровских казарм и школы прапорщиков.

Но Семён Ершинов, зная, что ворья в Москве развелось без числа, и боясь, что тёмные людишки пограбят его «железоскобяное и москательное» заведение, содержал фонарь за собственный счёт.

Кроме того, купец платил в месяц трёшку сверх положенного от управы жалованья ночному сторожу, чтобы тот с усердием и неусыпно охранял ершиновское спокойствие и добро. «Ведь народишко-то вконец исподтился, изворовался, не осталось в нем никакой совести!» — искренно сокрушался Ершинов.

Поэтому и здоровущего пса по имени Лопух, посаженного на цепь у конуры во дворе, вечером спускали с привязи до утра.

И в эту ночь деревянная колотушка сторожа монотонно бубнила свою скучную дробь то чуть подальше, то совсем рядом. Надтреснутый колокол пожарной каланчи на Серпуховке отзыванивал часы.

Во дворе надрывался лаем Лопух, бросаясь неведомо на кого. Дрожа за собственное «праведно нажитое», хозяева всегда держали несчастного пса впроголодь. «Чтобы, значит, позлее был! Сытый, какой он будет караульщик?! Дрыхнуть станет — и все дела!» — опять же резонно рассуждал Ершинов.

Обычно, набегавшись за день, Пашка засыпал сразу, как только касался головой подушки. А сегодня сна не было — лежал, ворочался, слушал шорохи ночной жизни.

Лаял Лопух, свиристел за печкой сверчок, скрипела деревянная кровать в углу стариков — тоже, видно, не могли уснуть. Но вот, наконец, послышался могучий, с посвистом храп — отец уснул.

— Эй, братка! — шепотом окликнул Пашка, приподнявшись на локте.

— Ну чего, Арбузик?

— Я... Я всё боюсь: вернёшься ли?

— Обязательно вернусь, Паша! Мне не вернуться никак невозможно. Мать, отец, ты! Да ещё, понимаешь...

Андрей не договорил, но Пашка прекрасно понимал, о ком речь.

Он не раз видел брата вместе с Аньюткой из формовочного цеха соломенные, с рыжеватинкой, лёгкие волосы, выбивающиеся из-под цветастой косынки. Озорные зеленоватые глаза, похожие на крошечные лесные озерца.

Такие зелёные озерца – только в тысячу раз больше! – Пашка видел всего один раз, в лесу на Брянщине, куда ездил с матерью в деревню шесть лет назад... Почему они запомнились на всю жизнь? Вероятно, потому, что оказались такими неожиданными, такими далёкими от Москвы, словно осколочки пушкинских сказок...

– Как считаешь, братка, не победит нас германец?

Андрей ответил не сразу, шуршал в темноте газеткой, свертывал самокрутку.

Вспыхнуло на секунду дрожащее пламя спички, осветило литые, будто каменные, обожжённые у горна скруты, упрямые, резко обрисованные губы, пронзительные даже сейчас глаза. И только жадно и глубоко затянувшись и выдохнув к потолку дым, Андрей заговорил. И говорил он на этот раз с братом не как всегда, а будто с равным, со взрослым. А может, он вовсе и не с Пашкой разговаривал в эти минуты, а с самим собой, перебирал вслух невесёлые тягостные мысли.

– Победит – не победит, кто его знает? Ежели бы русский народ, да и вражеский тоже, скажем немецкий, поняли бы, что война только капиталистам выгодна, тогда ей сразу конец!

Андрей помолчал.

– Война, война!.. Эх, повалить бы нам своих кровососов, тогда народу никто, ни один змей-горыныч не страшен! Народ – он ведь и есть, Арбузик, самая главная пружина, самая главная сила на земле. Но глядит-то он, народ, всего в половину, а то и в четверть глаза, а иные – и это в большинстве! – вовсе слепые! Вот и тиранит его каждый гнус, на ком фуражка с царской кокардой напялена или у кого золотишко в мошне брякает!

Красным угольком огонёк папиросы высвечивал в полутьме туго сжатые губы, острый блеск глаз.

– Главное – чуть кто из рабочих голову вскинет, чуть прозревать начнёт, тут ему царёвы палачи глаза напрочь выкалывают. Не моги, значит, видеть, не моги понимать! Вот где, Арбузик, собака зарыта! Про пятый год, про Кровавое воскресенье рассказы слышал?

– Как не слышать!

Пашка смотрел не отрываясь. Впервые старший брат разговаривал с ним на равных, делился сокровенным, о чём до этого и не заикался никогда.

– Ах, Арбузик, Арбузик, был бы ты чуток постарше! – вздохнул с сожалением Андрей.

– Я, братка, и так всё понимаю! – обиделся Пашка. – Не юродивый Прокошка с паперти!

И снова Андрей вздохнул:

– Да нет, Паша, не в силах ты пока всего понимать! Маленький ты ещё. Оно, понятие жизни, всегда через боль и физическую, и, скажем даже, душевную приходит. Ты слышал ли, что я сегодня читал?

— Всё, братка, до слова!

— Вот, возьми, депутаты наши, большевистские, из Государственной думы: Петровский, Бадаев, Самойлов, Шагов, которых за правду-матку в Сибирь-каторгу этапом угнали. За что, спрашивается? А за то, что против войны, против кредитов на неё, против царя выступали...

Андрей помолчал, попыхивая самокруткой.

— Думаешь, легко было им, каторжанам-то, мужьям да отцам, на такую крест-муку пойти? У каждого из них жёны да детишки, они же без кормильцев на голодную смерть оставлены! Легко, спрашиваю? А они вот решились, бросили! Это какое же сильное, могучее сердце в груди нести надо! Революции будущей себя целиком отдают! В том и сила их, братишко!

Затянувшись в последний раз, Андрей невидимо обо что погасил окурок. Тяжело вздохнув, поворочался на кровати.

— Эх, Арбузик, Арбузик! Разве словами тут все выразишь?.. Однако давай спать, завтра вставать задолго до свету. И чтобы сейчас больше голоса твоего не слышал! Не мешай отдохнуть малость. Понял?

— Ладно, братка!

Пашка покорно улёгся и долго-долго, до рези в глазах, смотрел на красноватую полоску света, отбрасываемую в окно фонарём.

Слушал колотушку сторожа, дребезг колокола на каланче, остервенелый лай Лопуха во дворе.

Андрей уснул раньше. Сказывалась усталость, накопившаяся за многие недели и месяцы работы у пылающего горна. Перед самым сном снова жалел, что не смогла прийти на проводы Анюты: работала в ночной смене. Завод на военном положении — не прогуляешь, от формовочного стола не отойдёшь. Да и оберегая дорогую ему девчушку, Андрей и сам не велел ей рисковать. Но завтра она обязательно исхитрится, пробьётся через любые препоны, кинется на грудь попрощаться...

С такими мыслями Андрей и уснул.

А Пашка не спал.

Дежурный пожарник на невидимой каланче ударил в колокол три раза. Три медные капли со звоном разбились о безлюдные, притихшие улицы Замоскворечья. И, словно отвечая на звон, Лопух зашёлся во дворе истошным лаем.

Пашка давно любил и жалел эту огромную вислоухую дворнягу. Широченные мясистые уши пса похожи на листья лопухов — отсюда и прозвище.

Когда Ершиновы, заперев лавку, всей семьей уходили куда-нибудь, Пашка через ведущую во двор дверь выносил оголодавшему псу то остатки похлебки, то конские или говяжьи кости, то просто кусок хлеба.

Завидев мальчишку, Лопух с радостным визгом изо всех сил крутил и махал лохматым хвостом, похожим на старый веник. И рвался от конуры так, что цепь, железно лязгая, поднимала его на дыбы. Скармливая псу принесённое, Пашка присаживался рядом на корточки, обнимал лохматую шею, чесал за ушами — Лопух это любил.

– Ну что, Лопушок? Худо тебе, пёс? – жалел Пашка. – Ты потерпи малость. Вот грянет революция, тогда мы на эту цепь заместо тебя Семёна Ершинова, жадину-говядину, да его жирных сынков посадим. Ладно? А ежели задержится революция, я и сам скоро вырасту, денег заработка побольше и выкуплю тебя на свободу. У меня ты безо всякой цепи бегать будешь. Ладно?

Будто понимая, Лопух ласково повизгивал и тёрся впалыми боками о плечо мальчишки...

Забылся Пашка под самое утро, забылся с тоской и тревогой: боялся, что непременно навалятся дурные тёмные сны.

Но неожиданно приснилось давнее и, пожалуй, самое радостное в его жизни. То, что светлым родничком всё последние годы переливалось-звенело в памяти, что оставило в душе какой-то странный, тихий, золотой и зелёный свет. То была поездка с матерью на её родину.

…Там, на Брянщине, в нищей деревеньке, в покосившейся, вросшей в землю хатенке под соломенной крышей, доживала век последняя родственница матери, тётка Варвара. Через кого-то из торговцев, разъезжающих по деревням с мелким товаром, передачей из рук в руки прислала Варвара записку на пахнущем ладаном клочке бумаги.

К тому времени Пашка уже вполне осилил грамоту и сам прочитал матери записку, где было всего три слова:

«Приезжай помру скоро».

И, услышав прощальный призыв, мать заплакала скучными, бессильными слезами.

– Кроме вас, сыночка, Варюша – последняя на всём свете для меня родня, остатний кровный мой росточек на хоть и нищей, а милой земле, говорила она, с бережной нежностью касаясь пальцами бумаги. – Дядьки моего покойного младшую дочку. А все прочие давно упокоились на кладбище под берёзами...

– А чем, мам, бумажка-то пахнет, а? Чудно, по-церковному как-то...

– Да, видно, в церкви псаломщиком и писана. В деревне грамотеев, поди-ка, и нет никого. Ишь она и взаправду, сынок, смертью пахнет, ладаном. Должно, и впрямь Варюха померёт скоро...

В довоенные годы на короткое время отпроситься с фабрики было легко, и Андреич, любивший и жалевший свою «хозяйку», сам предложил ей поехать на Брянщину. И он же уговорил взять с собой семилетнего Пашку.

– Пусть отдохнёт несмышлёныш от московской пыли да грохота! А, мать? Пусть полюбуется на зеленую землю, матушку-кормилицу, подивится, как она неведомым чудом выгоняет из чернозёма да суглинка невыразимой красоты цветы и колосья, которыми кормятся и деревни, и города, весь мир. А то он, неслых, считает, поди-ка, что калачи да сайки там прямо на деревьях растут! Дам тебе деньжат на дорогу-чугунку, и купишь ей, последней твоей деревенской сироте, гостинцев. Бубликов с маком, а то пряников печатных, тульских иль вяземских... Согласна, мать?

– Спасибо тебе, Андреич.

С тех пор как Пашка помнил себя, отец называл жену не иначе как «мать» или «хозяйка». А она, переняв это у товарищей мужа по цеху, почтительно

звала его Андреичем, никогда и ни в чём ему не прекословила.

Вот та давняя, врезавшаяся в память на всю жизнь поездка и приснилась под утро Пашке. Да, сны оказались не страшные, не пугающие, как опасался он, засыпая, а на удивление радостные и светлые.

Проснулся словно искупанный в чистейшей, родниковой свежести речке, где вода отливаєт вперемежку то солнечным золотом, то серебром, как будто усыпанная рыбьими чешуйками, отражающими свет. Речка течёт, шепчет-перебирает слова когда-то слышанной или читанной сказки, с ласковой задумчивостью колышет в воде русалочки волосы водорослей...

Что знал Пашка до той поездки о чудесах и красоте земли?

Мальчишка, выросший в фабричных и заводских окраинных трущобах, в бараках и домишках, где выбитые стекла окон заткнуты тряпьём либо забиты кусками фанеры, испятнанной чёрными цифрами да клеймами. Ну, что он мог знать?

Он ел хлеб, с жадностью уписывал посыпаные маком крендели, которые покупали ему в день получки мать и отец, с удовольствием пил молоко, но редко-редко видел живую корову. Радостно напяливал новую рубашонку, которую мать поглаживала с затаённой нежностью. «Она, может, из нашего, брянского льна!»

Вот тогда-то он вырвался на неделю из плена московских окраин, вырвался, даже не подозревая, что рядом с привычным, знакомым ему городским миром существует совершенно иной.

Все приметы давних дней воскресли для Пашки во сне: и море белых, с жёлтыми сердечками ромашек, с деловито жужжащими над ними пчёлами, и убаюкивающий шорох колосьев молодой озимой ржи – из неё-то, оказывается, и пекут чёрный хлеб! – и золотые головки подсолнухов, поворачивающиеся за солнцем, неотрывно следящие за ним, как глаза грудного ребёнка следят за движениями матери. Пашка очень любил грызть подсолнечные семечки, покупая их у старухи салопницы на углу, когда мамка на радостях давала ему пятак... И не знал, не ведал, откуда эти семечки привезены, где и как выросли.

Словно живое, виденное только вчера, воскресло перед спящими Пашкиными глазами никогда и не умиравшее в памяти – и, должно быть, бессмертное в ней – лесное озеро, высоченные сосны на его берегу, сухая смолистая хвоя под ногами.

Сосны казались литыми медными колоннами, подпиравшими небо, а озеро внизу представлялось Пашке отверстием, насквозь проткнутым в земле огромным пальцем сказочного доброго великана. В бездонной глуби воды небо повторялось – эдакий опрокинутый вниз высоченный синий шатер, который держат, не дают упасть-провалиться медные стволы сосен...

Пашка и его тогдашние обретённые в первый же день приезда деревенские дружки Митяй и Ксюта стояли на крутом берегу озера, и Пашка, будто заворожённый, не мог оторвать глаз, не мог сдвинуться с места.

Белоголовые, босоногие, щедро осыпанные веснушками, новые знакомцы смотрели на него с удивлением: ну чего такого нашёл? Озера, что ли, никогда не видел?

Им, деревенским, в лесу и в поле всё было привычно, как Пашке привычны были пыль и уличные мостовые московской окраины. Он не находил в себе сил отвести взгляд от сказочно огромного сине-зеленого зеркала, впаянного в землю под его ногами. Там, как и вверху, над головой, медленно плыли белые пуховые облака...

И звенели-пели – да не в памяти, а в самой сердцевине сердца строки из пушкинских сказок: «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит...»

«Да пойдём же, пойдём! – смеяясь, тянула его за рукав Ксюта. – У тебя, что ли, ноги отнялись, как у бабки Вари? Пойдем, мы тебе перепёлкино гнёздышко покажем, там их целых шесть штук, цыплятушек махоньких. Да ты что бормочешь-то?»

«Ты не коршуна убил, чацдея подстрелил!» – словно во сне, бормотал Пашка...

«Вот чудной-то!» – захлебывалась тихим смехом Ксюта.

Ещё снилось, что он не стоит вместе с деревенскими ребятишками на высоком обрыве над озером, а летит над ним, рядом с невесомыми белыми облаками, летит без усилий, едва пошевеливая раскинутыми руками.

Он часто летал во сне и как-то утром, дожевывая горячую, только что испечённую матерью лепёшку, спросил:

– Ма! А ты летаешь во сне?

Она улыбнулась в ответ с непонятной ему печалью.

– Да нет, Пашенька, радость моя синеглазая, я своё отлетала. Во сне, сынонька, только маленькие, вроде тебя, летают. Значит, растут, к небушку тянутся. А меня годы уже книзу гнут. Не больно-то под такой тяготой полетишь, сыночек...

И эти печальные мамкины слова тоже как-то странно присутствовали в его сне, когда он птицей летел над лесным озером, любуясь отражением облаков в зеленоватой пропасти внизу и своим отражением рядом с ними.

«Неожиданный какой сон», – думал Пашка, проснувшись и глядя в потолок над собой и улыбаясь. И сразу, в одно мгновение, пока раскрывал глаза, ему припомнилось, пролетело мимо всё, что он испытывал в той нищей деревеньке на Брянщине.

Тетку Варвару они застали в постели: вовсе отказали, не слушались ноги. Рядом с кроватью, где она лежала, на потемневшей от времени лавке стоял глиняный кувшин с молоком. На расшитом петухами полотенце блюдечко с земляникой и ломоть хлеба.

Но встретила тётка Варвара Пашку и его мать, будто и не стояла на последнем пороге. Иссечённое глубокими морщинами, загорелое лицо, бледное сквозь загар, посветлело, и глаза тоже налились теплом и светом.

– Слава те господи, приехала сестрёнушка! Теперь и помирать спокойно стану!

Наверно, она совсем не боялась смерти, принимая её как неизбежное и даже, может быть, жданное.

– Да чего плачешь-то, сеструшка? – успокаивала она мать Пашки. –

Земля еси и в землю отыдеши. Помирать мне ничуть не страшно, потому как перед вечным судом я ни в чём не виноватая и совесть у меня чистая и лёгкая, нету на мне непрощенного греха! Ну, утри, утри-ка слёзы-то! Нечего Пашеньку зря пужать... Ты, Пашуха, не сиди тут с нами, со старыми, беги на улицу. Слыши, вон девки на посиделках песню как высоко, до самого неба, вскинули!

Пашка выходил на вечернюю улицу и широко открытыми глазами, как на чудо, смотрел на пылающее закатом небо. Однажды подумал, что похоже, будто за краем земли сидит огромный красный петух и в небе торчат-колышутся, постепенно тускнея, радужно-красные перья его хвоста. И опять вспыхивали в памяти пушкинские строки: «Петушок мой золотой будет верный сторож твой».

В Москве он никогда, ни разу, не видел такого неба, такого заката. Затянутое дымом заводских труб, навечно пропитанное гарью, небо в городе давило, прижимало к земле. А здесь, полыхая диковинным разноцветьем красок, как сказочный сад, манило к себе и звало неведомо куда.

Набегавшись за день по лесам и озерам с Митяем и Ксютой, вечером Пашка любил выходить за связанную из жердей околицу рядом с хатёнкой Варвары. Стоял там, пока небо не гасло и не зажигались, не начинали подмигивать в небе первые звёзды.

Кукарекали в деревне петухи, беззлобно и лениво перелаивались собаки. И каждый вечер, сидя в обнимку на завалинке одной из избёнок, девушки пели ими же сложенные частушки:

Неужели конь вороный
от столба отвяжется?

Неужели мой милёнок
от меня откажется?

Через минуту, наполненную шорохами затихающей жизни, к самому небу поднималась тоскующая песня:

Отвязался, отвязался
конь вороный от столба.

Отказался, отказался
мой милёнок от меня...

Те бесхитростные девичьи припевки, провожая уходящий день, навевали на Пашку странную и почему-то всё-таки радостную, щемящую грусть.

Умерла тётка Варвара тихо и спокойно, как будто уснула, даже с какой-то необъяснимой радостью на лице, хотя до последнего мгновения не теряла сознания. За несколько минут до её смерти мать позвала Пашку с улицы:

— Иди, сынка, попрощайся с Варенькой, отходит она, — шепнула сквозь слёзы. — Тебя зовёт.

Скрюченным бессильным пальцем Варвара поманила Пашку к себе, а когда он подошёл, глазами показала на стоявшую у кровати лавку. Взяла его руку своей, уже холодающей, с толстыми синими шнурками вен и в крупных тёмно-коричневых старческих веснушках.

— Посиди со мной остатнюю минутку, Пашенька, племяшек мой махонький...

Говорила тётя Варя тихо и медленно, но спокойно и внятно:

— Ты не бойся меня мертвую-то, Пашенька... Она, смерть, вовсе и не страшная. Просто будто пришёл куда надо, в место, куда всю жизнь шёл... Страшно, Пашенька, помирать тем, у кого на совести чужой боли скопилось много, за кем на земле даже малая горка зла останется. А бедным, вроде меня...

Видно, хотела сказать: «Помирать легко», но не договорила.

Подошла мамка, освободила из руки умершей Пашкину ручонку.

Смерть тогда не испугала, — не потрясла Пашку, не оттолкнула от покойницы, не стиснула сердца. Как будто только так всё и ждалось, только так и должно было произойти.

Тётя Варя лежала в простом некрашеном гробу с удивительно спокойным и ясным лицом. Мамка плакала тоже мало, а соседки провожали покойницу чуть ли не с завистью.

— Хорошо померла Варварушка, чистая душа! Отмаялась, наконец, отбатрачила свой срок на земле. Дай-пошли господь каждой из нас такую же тихую, светлую кончину...

Воскресли в памяти Пашки низенькие, покосившиеся и потемневшие от времени кресты, и поросшие невысокой травкой и земляникой могильные холмики, и запах влажной глины из вырытой стариками соседями ямы. И ряды заменявших кладбищенскую ограду белых берёз под нестерпимо синим небом, и стук комьев земли о крышку гроба, и кровяные капельки ягод земляники на соседних могилах...

Но все, что случилось тогда, неизменно заслонялось видением лесного озера и ощущением невесомого птичьего полёта. И слепящее отражение солнца и белых облаков, и его, Пашкино, отражение в бездонной глуби!..

«Какой светлый и радостный, несмотря на смерть и похороны, сон! подумал Пашка. — Такое может присниться только к хорошему. Может, и правда вот-вот и переломится жизнь к лучшему? Окончится война, а с ней и нищета, и голодуха, и мамке с батей не придется непосильно надрываться на работе? И Андрюха живой вернётся».

Но сны снами, а жизнь жизнью!

В пяти-шести шагах от Пашкиной кровати, за знакомой до каждой дырочки занавеской, что-то дробно и сухо грохотнуло о пол, и голос Андрея с притворной весёлостью сказал:

— Ну вот, мама! Наколол и натаскал тебе к крыльцу под навес дровишек! До первого снега должно хватить! Там, глядишь, и вернусь! Если не вернусь, дрова и вода — Павлушкина забота!

— Спасибо, сынок! — ответила мать. — Андрюшенька, кровиночка моя милая! Ты ведь и там не позабудешь меня, побережёшься? Да? Ведь я тебя...

Мать заплакала и, видно, ткнулась лицом Андрею в плечо; и голос и всхлипывания заглохли.

— Да перестань ты, мам! — Андрей успокаивал мать, как малого ребёнка. — Не так страшен чёрт... Вернусь в целости и сохранности, и ты на моей свадьбе еще плясать будешь...

— Аньотку, что ли, себе облюбовал? — сморкаясь, спросила мать.

– А хоть бы и её! Чем деваха плоха? Всё при ней!

– Я разве хаю, миленький?.. Уж та-то мне охота внуchoчка покачать-понянчить, погреть об него старые руки.

– Так оно и сбудется, мам!

Сидя на койке, Пашка натягивал штаны, рубашонку. Ощупью, шаря по холодным кирпичам пола, искал ботинки...

И все вчерашние и нынешние заботы, на час отодвинутые светлым пленом сна, воскресли перед ним, встали во весь рост.

8. ОТ ДОМА ДО КАЗАРМ

Повестка предписывала Андрею явиться в казармы к девяти утра, а отец и мать уходили на работу в половине седьмого.

Попрощались сначала дома, а потом у крыльца, на улице.

– Клятая-растреклятая жизнь! – ворчал в бороду Андреич. – Ироды бесчувственные! Сына родного им же в услужение проводить как положено не дают!

Оглядывал Андрея с нескрываемой гордостью.

– А парняга ничего вымахал! Худого не скажешь. Плечи – косая сажень, и стан будто болванка литая, и руки – дай бог всякому, могутные! Да и башка вроде варит!.. Не убили бы, не покалечили!

Но одолевавшей его тревоге Андреич власти над собой не давал, крепился. Крепился больше потому, что берёг свою «хозяйку», вконец измученную и на фабрике, и домашними заботами. А теперь вдобавок ещё и разлукой. Вон, того и гляди, сорвётся с невидимой привязи, запричитает в голос. Ишь как истово крестит первенца, вымаливает ему милость у боженьки, не шибко-то доброго к нашему брату!

И на Пашку, тоже готового распустить нюни при виде горестного лица матери, Андреич строго цыкнул:

– Ну, ещё ты у меня пошмыгай носом! Ты же завтрашний молотобоец, кузнец! Нечего, стало быть, девчонку-плаксу из себя выстраивать! А то провожать Андрюху не пущу! Слышал? Заберу сей же час к горну, тогда попляшешь!

– Да я ничего, батя...

– То-то!

Пашка и Андрей постояли со стариками на улице, под уже погашенным ради экономии ершиновским фонарём.

Судорожно сглотнув слёзы, мать последний раз обхватила шею сына:

– Сынонька! Свидимся ли? Суждено ли?

С мягкой, необычной для него нежностью Андрей поглаживал под сбившимся на сторону платочком пегую от седины материнскую голову. Повторял уже сказанное:

– Да успокойся ты, мам! Вот увидишь, скоро вернусь! И вернусь покрепче, чем ухожу! Вспомни-ка, что в пятом было! К тому и сейчас дело без удержу катится! Но нынче, в разницу от пятого, мы их, упырей, потуже прижмем-придавим! Тоже кое-чему обучились! Не зря эти годы жили. Теперь, мам, мы плечо к плечу, как стена, встанем. Мы – сила!

Пряча глаза, отец обнял Андрея, ткнулся седеющей бородой в шею.

– Не роняй там фамилию, Андрюха! Рабочее звание не роняй!

– Скажешь, батя! Не из того теста!

Подражая родителям, сдерживался и Паша. Да ему, по сравнению с ними, и рановато плакать: до тягостной минуты, когда за братом захлопнутся ворота казарм, целых полтора часа. Не мало! Дальше, глядишь, удастся и на вокзал проводить! Погонят новобранцев пёхом – будет время насмотреться хоть издали.

А слёзы хлынут потом. Пашка знал, что обязательно хлынут. Ночью, которую ему впервые за много лет предстоит коротать в одиночестве, рядом с пустой братиной койкой.

Но вот и кончилось прощанье-расставанье. Отец двинулся направо, к заводу. Мать – налево, на Ордынку, по ней к Голутвинке ближе.

Андреич шагал упрямо и грузно, по-матросски переваливаясь, и ни разу не оглянулся, выдерживал характер. Зато мать оборачивалась непрестанно, помахивая рукой. И Пашке всё мерещилось: вот сейчас снова огляднётся и опрометью кинется-побежит назад.

Андрей, кажется, боялся того же. Зачем нужно? Долгие проводы лишние слезы! Ничем не поможешь, ничего не изменишь!

Он до боли стиснул Пашкино плечо:

– Пошли, Арбуз! Пущай мать и осердится даже. А глядеть на нас ей куда тяжелее!

Вернулись в дом.

Андрей снял со стены, прислонил к лампе на столе зеркальце, взял из спального закутка бритву. Нет, не для начальственного офицерского глаза решил наводить красоту – Анютка-то, как освободится, обязательно следом помчится!

Пашка постоял за спиной брата, с жалостью глядя на кудрявую шевелюру – будто ворох латунных стружек. Через сколько-то часов остригут, а то и наголо обреют эту голову, выдадут Андрюхе казённую гимнастёрку, штаны, шинель. И станет брат таким же безликим, как тысячи солдат, которых Пашка встречает на улицах.

«Ать-два! Ать-два! Запевалы, вперед!» – и неразличимая масса серым комом катится по улицам, топоча сапогами, не оставляя в памяти ни одного лица...

Неужели и брат станет такой же серой деревянной куклой, старательно вышагивающей с разинутым ртом, выкрикивающим:

Наши сёстры – шашки-сабли остры,

Наши жёны – ружья заряжёны!

Нет, не должно такого с Андрюхой произойти, он – особенный, на других не похожий.

И вдруг Пашка спохватился: мешкать-то некогда, впереди уйма дел!

До отхода Андрея нужно сговориться с самыми верными ребятами, одному не справиться! Придется безотрывно у казарм дежурить неизвестно сколько часов, а то, глядишь, и дней. Потом сломя голову бежать с новостями к

Шиповнику и Столярову. Они в своей столовке, в «красной» комнате, обещали по очереди ждать днём и ночью. Иначе как им узнать об отправке из казарм? Вернее всего, новобранцев погонят на вокзал ночью, чтобы поменьше шума, бабьих причитаний и слёз. Институтским дежурить у ворот некогда, надо побольше листовок напечатать. И правильно! Слова-то в листовках – прямо огонь! Да и опасно студентам торчать возле казарм: сразу приметят!

– Я скоро, братка!

– Валяй! Беги!

День наступал по-осеннему хмурый, облачный, с недалёким дождём. В сторону Михельсона, ежась от утреннего холода, кутаясь в засаленные куртки и пальтишки, пробегали едва различимые тени с обеденными узелками в руках. Торопились: вот-вот заревет второй гудок.

Красновато-тускло светились окна домишек, лачужек и полуподвалов. Ржаво скрипели петли дверей и калиток. Лаяли сторожевые и бездомные псы.

Негромким условным стуком в окошки Пашка вызывал друзей, кидал камешки в те, куда не дотянуться рукой.

За стёклами смутно мелькало неразличимое и всё-таки знакомое лицо и тут же исчезало. И вот уже дробно, с каменным шелестом или с деревянным скрипом бегущие шаги пересчитывают ступеньки.

Изо всей ребятни Пашка отобрал для дела троих, кому доверял, как самому себе, кто кинется за друга и в огонь и в воду: Витьку Козликова, Гдальку Глозмана и Васяту Дунаева. Эти не выдадут, не продадут.

Конечно, и друзьям ни слова о листовках не сказано: не Пашкина тайна, не имеет права.

К Хамовническим казармам провожали Андрея все, хотя Пашке и хотелось бы напоследок остаться с братом один на один, шагать рядом, держась за горячую, сильную руку.

Но что поделаешь: без помощи ребят не обойтись, одному не справиться! Обязательно нужен кто-то рядышком. Вдруг понадобится Шиповнику помочь с листовками? Ведь мальчишкам много легче, чем взрослым, пробраться куда угодно, проскользнуть в самую узкую щель.

Анюта из формовочного догнала ребят после третьих заводских гудков за Москвой-рекой, когда миновали Крымский мост.

Занятый своими переживаниями, Пашка не сразу догадался, чего так часто и с нетерпением оглядывается Андрей. Лишь увидев летящую по середине улицы лёгкую фигурку в распахнутой кацавейке, с пляшущими по плечам, выбившимися из-под косынки светлыми волосами, Пашка понял, что к чему!

Андрей, тот, видно, почувствовал позади не слышный никому топот и остановился. Растолкав мальчишек, со всего маху, чуть не опрокинув Андрея, Анюю бросилась ему на шею, неумело, застенчиво поцеловала.

– Ой, Андрюшенька! Так боялась: опоздаю, не увижу!

Смузено переглянувшись, мальчишки поотстали. Они старались не смотреть на парочку впереди. С деланным интересом глазели по сторонам.

Обнявшись, Андрей и Аня шли впереди. Он наклонял кудрявую голову к плечу девушки, говорил что-то ласковое. Гладил льняные волосы с такой же

лаской, с какой полчаса назад гладил седую голову матери.

Как Пашка ни отгонял, как ни пытался погасить ревнивое чувство к посторонней, знакомой лишь издали девчонке, оно разгоралось. Уж очень горько было делить с кем-то последние минуты, которые можно провести с братом.

Оторвавшись от Анюты, Андрей оглянулся на Пашку всего раз, и то лишь затем, чтобы помахать рукой: дескать, держись, Арбузик, всё как надо!

А Пашкино сердце ныло и замирало от обиды, ревности и любви.

Но вот и ворота казарм, обнесённых высоченным дощатым, окрашенным зелёной краской забором. На заостренных торцах досок прибита колючая проволока – раньше её будто бы не было!

К чёрно-белой, косополосатой будке, где переминался с ноги на ногу постовой с винтовкой, один за другим подходили новобранцы. Всех провожали – кого старики родители, кого невесты либо жёны.

– Приказано ждать тут! Приказано ждать! – однозначно, с ленивой строгостью отвечал на вопросы дежурный.

Мужчины курили, сизый дым облаком колыхался над толпой. Женщины плакали, крестясь на позолоченные купола и кресты Новодевичьего монастыря.

Колокол на невидимой от казарм каланче прозвякал девять раз. Негромкие перезвоны и свистки отклинулись во дворе казарм. Ворота с железным скрежетом распахнулись.

В глубине просторного, мощёного камнем двора краснели длинные кирпичные бараки, дымили походные, на колёсах, кухни, пробегали куда-то солдаты. С озабоченным, деловым видом проходили офицеры.

От караульного помещения возле входа к воротам протопал взвод солдат. Впереди – пожилой, с багровым шрамом на щеке, седоватый капитан с Георгием на выпяченной груди. Рядом вертлявый парень с нашивками на плечах, со списками в руке. «Писарь», – догадался Пашка.

Начальственно хмурясь из-под лакированного козырька, офицер строевым шагом вышел за ворота.

– А ну, которые призванные! Приготовь повестки! Па-а-ста-рон-них па-апрашу освободить проход, не мешать исполнению! – командовал капитан, придерживая левой рукой истертые ножны шашки.

Андрей с трудом отстранил Анютку, отыскал глазами Пашку. Пашка бросился к нему, не в силах сдержать слёз.

Андрей наклонился, обнял братишку.

– Ну, прощевай пока, Арбузик! Мамку береги, не обижай, курносый! – Оглянувшись на офицера, шепнул в самое ухо: – Про Шиповника и Алёшу не позабыл?

– Ты что?! – с обидой вскинулся Пашка. – Не дурачок пока!

– Ну и добро! Каравульте. И как нас погонят, увидите куда – сразу к ним! Лады?

– Всё сделаю, братка!

– Андрюшенька, кудрявенький мой!

И снова Андреем завладела девчонка. Она не отставала от парня, пока тот,

вручив офицеру повестку, не ушёл за ворота. А вскоре, повинуясь приказу, Андрей скрылся в дверях кирпичных казарм в глубине двора.

Анютка перевела дыхание, вытерла рукой щёки. Круглой, похожей на маленькую дугу гребёнкой подобрала назад волосы.

Улыбнулась Пашке блестящими от слёз глазами и, неожиданно обхватив его шею горячей рукой, поцеловала вихрастую макушку.

– Пашенька! Славный мой! Когда-то теперь увидим?!

И ревнивая Пашкина злость к девчонке, нахально отнявшей у него последние минуты прощания с братом, растаяла, исчезла. Понял: у неё в сердце такая же боль, как и у него. Не надо на неё злиться!

Вскинув голову, Пашка посмотрел в склонённое к нему лицо, и ему вдруг захотелось заплакать. Чем-то Анюта сразу стала такой близкой, родной. Глаза у неё чистые, без лукавства и обмана, синие и с зеленцой.

– Пашенька! Знаешь, где живу?

– Не-е.

– «Бакалейные и колониальные товары» на Мытной. Видел?

– Ага.

– Там рядом домушка на курьих ножках с синими ставнями. А в ставнях сердечки выпиленные... Вот! Андрюша сказал: вы тут их отправление караулить станете?

– Ага. А что?

– Стукнул бы мне в окошко крайнее, когда Андрюшу на вокзал погонят. А?

– Можно! Бежать-то мне всё равно мимо!

Выпрямившись, Анютка с ненавистью и тревогой долго смотрела в казарменный двор, где текла чужая, мало понятная, с окриками и бранью жизнь.

Строем, железно топоча о камни подкованными сапогами, вышагивали солдаты, бегали, ложились и вскакивали с испуганными лицами, яростно кололи штыками соломенные чучела в изодраных военных мундирах. Унтера и взводные ругались и раздавали зуботычины неумелым, заставляли повторять одно и то же.

Немного поблекший, выцветший от дождей и солнца портрет императора в полный рост, в позолоченной раме, светлым четырехугольником вырисовывался на кирпично-красной стене, будто строго наблюдал за приложением рекрутов.

– Хотя, Пашенька, нет, не надо! – решила Анюта. – Ежели не в смене, не на заводе, я здесь буду!.. Где же мне быть?

Со странной горделивостью, стройная и сразу ставшая не похожей на ту, что минуту назад плакала на плече Андрея, Анюта пошла прочь от казарм, помахивая в такт шагам цветастым платочком.

Пашка долго смотрел ей вслед... Вот уж никогда не замечал, что Анютка такая красивая! Куда Таньке–«принцессе» до неё!..

9. «КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ ШАР ГОЛУБОЙ...»

Дежурить у ворот Хамовнических казарм Пашкиной братве пришлось

довольно долго, около полутора суток. По очереди бегали домой перекусить и возвращались тоже бегом, боясь опоздать.

За облезлым зелёным забором казарм шла обычная казённая, солдатская жизнь, управляемая окриками и свистками. Щокала о камни железом прикладов и конских подков, громыхала колёсами повозок и кухонь, пахла горячей похлебкой.

Когда ворота распахивались, оттуда выезжали крытые брезентом двухколки и фургоны. В такие минуты, очнувшись от ленивой дремы, постовые вскidyвали на изготовку винтовки и, надсадно крича, отгоняли от ворот мальчишек, пристроившихся не к месту играть в свои козны-бабки. Военный груз! Глазеть на него заводской голытьбе не положено.

Но Пашка не зря слыл признанным вожаком окраинной ребятни. Оставив дружков у ворот, сажень за саженью, аршин за аршином обследовал снаружи забор, ограждавший казармы, отыскивая между плотно приструженными досками хотя бы узкую щель.

И нашел!

Нет, позади казарм доски были подогнаны одна к другой так же старательно, как и везде, но в одной из них Пашка заметил сквозной глазок, дырку от высохшего и выпавшего сучка.

Дырочка размером с двугривенный светилась невысоко над окружавшей забор канавой, в венчике пожелтых осенних трав. Чтобы заглянуть в неё, Пашке пришлось опуститься на колени.

Он с жадностью приник к окошечку в незнакомый мир.

Дощатое, недавно побеленное строение виднелось справа, а слева краснел угол кирпичной стены. Постой, погляди, Пашка, да ведь, похоже, здесь и должен быть тот самый барак, куда загнали Андрея? Ну да! Вон и ворота напротив видны! Повезло!

По резкому, щекочущему запаху легко угадывалось назначение строения справа, тем более что к нему то и дело поспешно подбегали солдаты.

— Дяденька!.. А, дяденька! — окликнул Пашка тех, кто с виду казался попроще.

Ему пришлось не раз повторить свой призыв, прежде чем его услышали.

То оказался совсем молоденький солдатик с ошеломлённым, испуганным лицом. Выйдя из уборной, оглянулся на Пашкин голос и остановился, не понимая, кто и откуда зовёт. Кругом ни души.

Пашка высунул в дырочку прутик, помахал им.

— Дяденька солдат! Я тут! Подойди, ради бога!

Опасливо косясь, нет ли поблизости начальства, готовый вот-вот броситься наутёк, паренёк подкрался к забору. Нос и лоб у него блестели каплями пота.

— Кто там? — спросил хрипло, с трудом переводя дыхание. — Чего надо?

— Дяденька, — зашептал Пашка, прижимаясь к пахнущей смолой дырочке. — Тут замоскворецких пригнали! Мне бы Андреева Андрея, который с Михельсона, кликнуть, а? Он аккурат в этой казарме. Пусть бы вышел, словно по нужде. Скажи, будь добрый, а? Он и табачком, и хлебцем поделится! Вот

помереть на месте, поделится...

– Нам табашное зелье ненужное! – строго насупился парнишка. – Мы к нему не приучены!

– Ну, хлебушек! У братки цельная буханка ситного, по двадцать копеек фунт! На дорогу куплена!

Двор шумел, не стихая. Лязгали железки, гремели по булыжникам колеса, доносились громогласные команды:

– Да куды ты, сено-солома, глядишь? Деревня тёмная! Как положено солдату ногу в парадном строю тянуть, корова дремучая? Тыщу раз тебе сказано-показано, олух царя небесного! А ну ложись! Встать! Лечь!

Испуганно косясь через плечо, паренёк жадно переспросил:

– Ситный? Пшеничный? Не врёшь?

– Лопни глаза! Крест святой! Он тебе половину отчекрыжит, ежели передашь! Пашка, дескать, зовёт!

– Ладно, скажу, ежель найду... Андреев, говоришь?

– Ну да!

Неумело обтягивая под ремнём гимнастёрку, паренёк побежал за кирпичный угол. Видно, голодуха на солдатском пайке – не родная тётка!

Пашка протомился возле забора не меньше часа, то припадая глазом к дырке, то прячась в канаве. Не хватает, чтоб застукали тут, – беды от казённых чинов не оберешься!

Хорошо, что забор казарм с этой стороны выходил на пустырь, густо заросший репейником и крапивой. Лишь вдали, шагах в двухстах, серой громадой вздымались стены военных складов. Но вход в них – с улицы, от фабрики Жиро, там голоса, крик, галдеж. А тут, на Пашкино счастье, тишина.

Андрея Пашка всё же дождался!

И случилось это под самый вечер, когда мальчишка почти отчаялся. Думал: либо ошалевший от страха деревенский паренёк побоялся, либо среди сотен новобранцев не сумел отыскать Андрея.

Пашка не сразу узнал брата. На плечах у того угловато топырилась новая гимнастёрка, под ней – такие же серовато-зелёные штаны. Фуражку Андрей нёс в руке.

Наголо остриженная голова показалась Пашке незнакомой, чужой, словно видел её впервые. И лишь пристальные светло-синие глаза, скользящие по забору, помогли Пашке узнать брата. Значит, хоть и запуганный до пота, парнишка сдержал слово. Польстился, видно, на ломоть ситного!

– Братка!

Зыркнув кругом острым взглядом, Андрей подбежал к забору.

– Арбузик, ты где?

Пашка высунул в дырку заранее припасенный длинный прутик, помахал им.

– Вот я, братка!

Шурша по траве сапогами, Андрей присел возле дырки на корточки, выдернул на себя прутик. И, ни о чём не спрашивая, торопясь, заговорил первый – должно быть, боялся: помешают.

— Слушай, Арбузик! Отправляют нынче ночью с Брянского. Эшелон особого назначения. Понял?

— Ага! С Брянского.

— Передай Шиповнику и Алёше! Пусть отыщут в депо слесаря Остафьева, а через него Егора Козликова. Он стрелочник на ближних подъездных. Эти в доску свои. Помогут с листовками. Не позабудешь?

— Ну, дурак, что ли? Да и Витька Козликов у меня из первых дружков. Каждое дежурство обед отцу на вокзал таскает...

Андрей сразу повеселел:

— Ещё лучше! Не промахнетёсь! — Чуть помолчал, нахмурился. — Мамка как? Не все глаза выплакала?

— Притихла малость. Будто закаменела.

— Отойдёт! Ещё, Арбузик, прошу, повидай, будь друг, Анютку, она возле бакалейных и колони...

— Знаю! — перебил Пашка: ревнивое чувство всё-таки не стихло в нём. Но до конца не выдержал характера. — Она хорошая, братка!

— А нам плохие зачем. Арбузик, а?! Ты с ней ладь! Хотя и с норовом, а вполне подходящая девчонка...

Андрей хотел ещё что-то сказать, но от угла казармы донёсся начальственный окрик:

— Ты чего возле забора трёшься, служивый?! Иль дезертировать через ограду нацелился?!

Андрей выпрямился, с дерзким смешком махнул фуражкой.

— Да не, вашбродь, прихватило так, хоть криком кричи! Ей-пра! Похлебочка-то солдатская с душком, вашбродь! Аль не изволили пробовать? Вам, поди-ка, из ресторанов носят?!

— Молчать, скотина! Не то на гауптвахту отправлю!

— Какая заразница, вашбродь?! — дурашливо засмеялся Андрей. — Стены в губе — тот же родной кирпичик с плесенью, что и в казарме. И нары — те же досточки сосновы нестроганы, ровно гроб нищенский! Одна сласть! Вашей грубвахты, вашбродь, мне уж никак не миновать... Часом раньше, часом позже!

— А ну, ка-а-amu сказано: марш в казарму!

Боясь обнаружить себя, Пашка заслонил дырочку ладонью, прижался к стене. Ух и молодец братка! Он и тут им нешибко-то кланяется, не лакейничает!

«Нынче в ночь, Брянский! — повторил он про себя. — Дядя Егор, который стрелочник, Витькин батя. Этого через Остафьева, слесаря в депо...»

Голоса позади забора стихали. Шаги Андрея прошелестели по траве, прошуршали по песку, потом зазвякали подковками по камню.

Пригнувшись к дырке, Пашка увидел поворачивающую за угол плечистую фигуру брата, а позади и чуть сбоку офицера с красными погонами, шашкой и револьверной кобурой у пояса. Андрей шагал с развалкой, помахивал фуражкой и беспечно напевал любимую песенку:

Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой...

Крутится, вертится, хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть...

Но возле угла казармы Андрей остановился и, запрокинув голову, посмотрел в небо и помахал вкруговую новенькой фуражкой.

Фигуры исчезли за красным кирпичным углом. Пашка смахнул испарину со лба. И тоже, сам не зная зачем, долго смотрел в небо, где над куполами Новодевичьего монастыря с карканьем кружились вороны.

– Чёрт этого офицеришку принёс! – сквозь зубы бормотал Пашка. – Надо же в самую дорогую минуту!

Тут же подумал: а вдруг не случайно, а? Возможно, и здесь, в казармах, за такими, как брат, следят неотступно, шагу ступить без надзора не дают? Всякое может быть! Не зря же в листовке про суды и расстрелы написано.

10. «НЫНЧЕ В НОЧЬ!»

Пашка сделал всё, что велел брат.

Сначала, по пути от казарм к столовке Коммерческого, задержался на минутку у дома Аньюты, постучал в ставень с выпиленным сердечком. Ответа нет. Заглянул поверх калитки во двор. Девушка что-то торопливо стирала у крылечка – видно, хотела покрасоваться напоследок перед женихом. Подбежала на Пашкин голос, вытирая передником руки, и на глаза тут же навернулись слезы. Известное дело – девчонки, гляделки на мокром месте посажены! Вот, скажем он, Пашка, – уж как хотелось вчера зареветь, а стерпел.

– Ну, что там, Пашенька?

– Нынче в ночь.

– Ах ты, беда какая! Мне же снова в ночную! – воскликнула Аньютка. И тут же решительно вытерла фартуком глаза и щёки. – А вот не пойду на смену, и всё! Пусть что хотят со мной делают, хоть в Бутырки сажают! Не больно-то испугалась! Я приду, Паша, обязательно приду!

Пашка застал Люсик в «красной» комнате, за большим залом столовой, пустым в этот послеобеденный час. Примостившись у окна, Люсик перелистывала тоненькую брошюру, выписывая что-то на отдельный листок. Пашка успел сказать всего-навсего:

– Нынче ночью!.. С Брянского!

Шиповник заторопилась. Сунула в ридикюль брошюру, кинулась к двери. Но остановилась на полпути и как-то особенно пристально посмотрела на Пашку.

– Слушай, Павлик! – Она положила на плечо мальчишке тонкую смуглую руку. – Вы... ты и твои ребята... тоже на вокзале будете?

– Где же нам быть? – с обидой спросил Пашка.

– Тогда слушай, Павлик... – Девушка решала что-то про себя и будто не смела сказать. И всё посматривала на Пашку оценивающим и словно спрашивающим взглядом. – Ты ведь смелый мальчик?

– Ну-у! – с ещё большей обидой протянул Пашка. – Чего бояться-то? Кулаки и смекалка всегда при мне.

Люсик наклонилась, заговорила шёпотом:

– А мы, Павлик, выяснили ещё кое-что. Последнее время солдатские

эшелоны загружаются на товарных станциях. Но нынешний эшелон особенный. В нём будут три или четыре пассажирских вагона — отправляют выпускников-юнкеров и поправившихся после ранения офицеров. Поэтому состав подадут к пассажирскому перрону. Штатских будутпускать по особым пропускам. Мы с Алёшой пройдем, пропуска удалось...

Спохватившись, что сказала ненужное, Люсик замолчала.

— Ну, это не важно! — продолжала она. — Мы пройдём, пронесём листовки к поезду. Думаю, всё сойдёт удачно... Но... Слушай внимательно, Павлик! Через два часа после отправки этого поезда, с Брянского вокзала отправят ещё один эшелон, сплошь загруженный солдатами. Пригонят из Крутицких казарм. Этот, по слухам, собираются грузить где-то у товарных складов. Туда нам, пожалуй, и не пробраться...

Пашка сразу понял, чего недоговаривает Люсик.

— Листовки? — перебил он.

— Да, — кивнула девушка. — Их надо передать дяде Егору... Он дежурит на стрелках сегодня ночью.

Снова нахмутившись, Люсик чуть помолчала. Пашка невольно усмехнулся: и чего она от него таится? После того-то вечера в подвале, на проводах Андрюхи, где листовки читались вслух! Да что, Люсик его за дурачка принимает?

— Они где? — нетерпеливо спросил Пашка.

Люсик шепнула, почти касаясь губами Пашкиного уха, он чувствовал тепло ее дыхания:

— Да по разным местам спрятаны, Павлик. Знаешь, всюду обыски!.. Те, что для дяди Егора, здесь. У тёти Даши в плите, под дровами спрятаны.

— Давайте мне!

— А если тебя на улице схватят, обыщут, тогда как? — едва слышно спросила Люсик.

— Скажу: батьке на курево на помойке подобрал. Читать не читал, неграмотный! Какой с меня спрос?.. На вокзал пойдем — в сумку, под хлеб да табак спрячу. В случае чего — дескать, братану на дорогу харчи несу. И все дела!

Люсик с бережной лаской, по-матерински погладила Пашку по голове. Но окончательно решиться всё ещё не могла.

— Не боишься, Павлик, миленький мой?

— Я?! Да я этих гнид, обмойкиных всяких, Люсенька, знаешь как ненавижу?! Послушала бы ты Колькин хохот да радость: вот бы, дескать, Андрюху на фронте покалечили, а то и вовсе убили! Я таких... Вырасти бы скорее!

— Ах, Павлик! Сложная штука — жизнь! — вздохнула Люсик.

Так завёрнутая в газету пачка листовок перекочевала из кухонного подпечка к Пашке за пазуху. Он помчался домой, сторожко поглядывая по сторонам и прижимая листовки к груди, чувствуя, как они жгут тело.

Провожая Пашку, Шиповник ещё раз напомнила, что листовки дома ему оставлять нельзя: полиция и жандармы то и дело обшаривают подозрительные

квартиры.

— Найду, где до ночи спрятать! — сказал Пашка, подумав о дровяном сарайчике во дворе и конуре своего четвероногого друга. К будке цепного пса ни один полицейский не сунется. Да и не догадаются там искать — ведь никто не знает отайной дружбе Пашки с Лопухом. Только бы Ершиновых не оказалось дома!

Ему повезло. Близился вечер, на окованных жестью дверях лавки темнел замок. За окнами второго, хозяйственного этажа тоже никого не видно... Пашка вздохнул с облегчением: либо в церковь ко всемоночной, либо в гости к друзьям-торгашам отправились!

Размочив в миске пригоршню сухарей, чтобы Лопуху легче грызть, заперев дверь на улицу, Пашка вышмыгнул во двор. Увидев его, Лопух залился радостным лаем. Поднялся, натягивая цепь, на задние лапы.

Но неясное предчувствие подсказало Пашке, что листовки лучше спрятать не в собачьей конуре, а в сарайчике, засунуть за поленницу оттуда потом легче вызволить. А то, глядишь, к тому часу заявится купеческая семейка домой.

Так и сделал. Засунул листовки между дровами и кирпичной стеной дома и только потом подошел к голодному псу. Опустился рядом на корточки. Лопух жадно грыз сухари, изредка благодарно поглядывая на Пашку. Поев, ласково потыкался носом в плечо, лизнул щёку. И Пашке, как всегда, было до слез жалко обречённую на рабство собаку.

— Я нынче ещё приду! — поднимаясь, пообещал он заскулившему Лопуху. — Поздно вечером, как уснут. Ладно?

Пес радостно постучал хвостом о землю.

Пашка вернулся в дом. Кое-как очистив от кожуры, сжевал две сваренные в мундире картофелины, сунул десяток в карман для ребят. Выскочил на улицу.

Запирая дверь, вдруг с дрогнувшим сердцем услышал, как стеклянно звякнула оконная рама на этаже Ершиновых.

Собравшись с духом, вскинул глаза.

Облокотившись на подоконник, сверху со всегдашней непонятной усмешкой смотрела «принцесса».

Желая оттянуть время, Пашка без надобности отпер и снова запер замок, спрашивая себя: что она видела? Может, как раз смотрела во двор, когда Пашка туда выходил?

Ух, до чего же правильно, что спрятал листовки не в будке Лопуха, а в дровяном сарае! Вряд ли что Танька могла увидеть! Ну, а если видела? Ведь пачку листовок он вытаскивал из-за пазухи, стоя у сарая? Так или нет? Не помню!

Подергав замок, с деланной неторопливостью поднялся по ступенькам, шагнул на тротуар. И снова, словно глаза тянуло магнитом, глянул наверх.

«Принцесса» красовалась в окошке, опершись на бело-розовые локотки. То ли притворно, то ли ласково улыбались пухлые губы. Полные щёки цвели пряничным румянцем.

Лишь бы не молчать, Пашка спросил первое, что взбрело в голову:

— Чего сидишь? Ворон считаешь?

— Ага! Считаю! А что, нельзя? Их, погляди, целые тысячи! Будто у них праздник какой.

— Одна, что ли? — не отвечая на пустую болтовню, спросил Пашка. Папаня-то, видать, ко всенощной отправился, грехи замаливать?

— Какие у него грехи? — надула губы Танька. — Торговля дело полюбовное: хочешь купишь, хочешь нет! И вовсе папаня с маманей не в церковь пошли, а в преферансы играть. Очень они эту дворянскую игру обожают. Оттуда за портретом царским пойдут.

Пашка не обратил внимания на слова о царском портрете.

— И ты, стало быть, одна кукуешь?

— Ну, одна! А что? — И Танька помолчала, с прежней непонятной усмешкой рассматривая Пашку.

— Ничего! — буркнул он. — Будто и спросить нельзя?

— Почему нельзя? Спрашивай, чего хочешь, — ответила девчонка.

Пашка никогда не мог понять её постоянной усмешки, хотя посмеяться богатенькой есть над чем: хоть и аккуратно, но залатанная на локтях рубашка, с весны не стриженные вихры, растоптаные башмаки.

Училась дочка Ершнова в частной гимназии важной, сварливой старухи в седых завиточках, когда-то служившей гувернанткой у князей Голицыных. Всё Замоскворечье звало её попросту «мадам Тряпьё», и она возмущалась этим и истерически визжала, чуть не падая в обморок: «Моя фамилия, милостивый государь, Трепье, а не Тряпьё! Извольте помнить!» И Пашка с дружками именно так иногда и поддразнивал её: уж больно она была злая.

Таньку каждый день встречал на улице, сталкивались нос к носу, и всегда девчонка непонятно улыбалась. Но они не разговаривали ни разу, сегодняшняя беседа оказалась первой.

Ему сейчас не терпелось поскорее уйти, но что-то удерживало. Интересно: если Танька смотрела во двор, она, наверно, видела, как Пашка заходил в дровяной сарай, но вышел с пустыми руками... Значит, не за дровами ходил? А зачем? Могла что заподозрить? Видела листовки?

Он переминался с ноги на ногу, перекатывая носком ботинка камешек на тротуаре.

— Почему ты меня боишься, Пашка? — неожиданно спросила Танька.

— Я? Тебя? — искренне возмутился он, на секунду глянув в лицо девчонки.

— С чего выдумала? Чего мне тебя бояться?

— А вот боишься, — усмехаясь, повторила она. — Выходит, есть почему! Так, что ли? Лопуха любимого за шею обнимаешь каждый день да кормишь. Сколько раз видела! А на меня злишься! Ну, за что? Разве такая уж я плохая?

Пашка молчал, не подымая глаз. Но вздохнул с облегчением: значит, ничего не заметила!

Танька продолжала с торжеством:

— Попросила бы я, хоть мизинчиком помахала — и папаня тут же велели бы твоего Лопуха свести на живодёрку. Там с него содрали бы поганую шкуру, о которую ты щекой трёшься. А мясо твоего друга-любимца за конину или за говядину продать можно. Всё лишняя копейка в дом. Ты, случайно, не знаешь,

сколько за собачью шкуру на живодёрке платят?

Пашка молчал, уставясь в землю.

— И всё случилось бы из-за тебя, — почти ласково продолжала Танька. — Потому, что Лопух никакой не сторож нашего имения, а чисто предатель. Пришлось бы папане нового верного пса покупать... А следом папана вас самих из дома выгнали бы! Им вторая половина полуподвала под новый товар нужная! И во всём был бы виноват ты. Разве нет?

Пашка продолжал молчать.

Да, если Танька донесёт отцу о Пашкиной дружбе с цепным псом, всё так и получится, как она пророчит... В другое время Пашка, может, и нагрубил бы Таньке, выбранился, сплюнул сквозь щербатый зуб и пошёл бы прочь. Но сейчас так сделать не мог: в сарае-то, за поленницей листовки!

— Ну, что молчишь, ровно каменный! — торжествующе спросил Танькин голос у него над головой. — Напугался? Душа в пятки ускакала? Я-то думала — смелый!.. Да не бойся, не скажу!

Окно над Пашкиной головой со звоном захлопнулось.

Неожиданная перебранка и обидела Пашку — он же не трус! — и в то же время успокоила: Танька ничего о листовках не знала. Да и откуда ей знать? И никому — хотя бы сегодня — о его дружбе с Лопухом не скажет! И то добро! А о нём, о Пашке, пусть думает, что хочет!

Он торопился, всё бегом да бегом. Но пока добежал до Хамовнических казарм, произошла ещё одна неожиданная встреча.

За Калужской площадью, на углу Крымского вала, натолкнулся на Семёна Ершинова вместе с его сыном Стёпкой. Суматошились на улице у чьих-то ворот и что-то громоздкое — вроде картину в позолоченной раме — старались протащить сквозь калитку. Тут же сутился известный всему Замоскворечью художник Зеркалов, выгнанный за непотребное поведение из Строгановского училища, тот самый, у кого Гдалька подрабатывал свои грошики.

Щупленький, с реденькой рыжей бородкой, художник старался помочь Ершиновым просунуть картину сквозь калиточку. Полотно было широкое и высокое, побольше человеческого роста. Ершинов, багровея от натуги, кричал на сына и на художника, только мешавшего, путавшегося под ногами.

Этого всегда полуухмельного, суматошного человечка Пашка сотни раз видел возле ресторана Полякова и пивнушек. Испачканная разноцветными красками блузка, похожая на женскую кофту, протёрта на локтях, рукава давно обтрепались. Но это не мешало художнику бахвались и куражиться. Подвыпивши, он вставал где-нибудь на людном перекрестке и, колотя себя кулаком в грудь, во весь голос кричал мало понятное Пашке — что-то о великих художниках, об искусстве, о себе.

Сейчас Зеркалов, трезвый и возбужденно-радостный, забегал то с одной, то с другой стороны Ершинова, пытаясь помочь. Измазанные охрой и синькой руки мелькали в воздухе, словно крылья диковинной птицы.

Подойдя, Пашка разглядел, что на огромном полотне в полный рост яркими красками нарисован царь Николай Второй в парадном военном мундире. Самодерце милостиво таращил по-девичьи огромные голубые глаза,

заложив правую руку за борт мундира.

Такие портреты Пашка видел чуть ли не во всех магазинах и лавках Замоскворечья. Они красовались над прилавками и в простенках окон, наглядно подтверждая любовь и преданность хозяев помазаннику божию. Само собой, отпечатанный на картоне портрет можно было купить в любой мелочной, галантерейной лавчонке. Но с некоторых пор в Замоскворечье каждый уважающий себя купец желал иметь в торговом заведении портрет самодержца, написанный красками на полотне. Особый шик! Доказательство процветания торговли и преданности престолу!

Сквозь зарешеченное окно ершиновской лавки Пашка каждый день видел портрет царя, написанный рукой Зеркалова. Но тот был поменьше нового, да и потускнел от времени. Не одно поколение мух, населявших летом Арсеньевский переулок, оставило на лице и мундире императора свои следы.

Вполне понятно, никто не увидит ничего особенного в том, что в трудные для Отчизны военные годы патриот Ершинов такой покупкой подтвердит верность царскому дому. «Да почиет на вас благодать всевышнего!» – изрёк бы, наверно, отец Серафим, если бы оказался сейчас здесь.

Пока Пашка разглядывал портрет, Ершиновы с помощью художника протащили драгоценную ношу сквозь калитку и остановились, отдыхая. Сняв картуз, Семён Семеныч вытирал платком вспотевший лоб.

В глубине двора Пашка увидел покосившийся двухоконный флигелёк, сарай и прислоненные к его стене чистые холсты и новые портреты. Он невольно усмехнулся, вспомнив, как недели две назад встретил Зеркалова на Плющихе. Тот шёл от свалки на пустыре и нёс на плече ободранный портновский манекен, видно выброшенный за ветхостью. Зеркалов попросил Пашку донести манекен до мастерской. Пашке было любопытно: зачем понадобилось художнику это старье, давным-давно отслужившее свой срок? Он помог Зеркалову дотащить одногий манекен до калитки и, прощаясь, спросил:

– Зачем вам, дяденька, эдакое чучело? На дрова, что ли?

Зеркалов посмотрел на Пашку с осуждением.

– Ты профан в искусстве, мальчик! – строго сказал он. – Художнику нужна модель, натура! У меня есть хоть и старенький, но настоящий полковничий мундир, вроде царского. Надену его на это подобие человеческого туловища, и мне легче будет написать каждую деталь, каждую складку. Ну, да что я объясняю, всё равно тебе не понять!..

Ершиновы двинулись дальше. Помогая нести портрет, Зеркалов почти не закрывал рта.

– Вы, ваше степенство, – выкрикивал он, – смею сказать, стали владельцем произведения подлинного искусства! Рядом с вами живёт и творит истинный художник, незаслуженно погребённый в зловонной яме нищеты и злословия! Да, да! Клянусь преждевременными сединами, ваше степенство...

– Да уймись ты, ради бога! – перебил Ершинов. – Тебе заплачено с лихвой, беги, пропивай мои трудовые! Ночевать-то, поди-ка, опять в околотке будешь?!

– Что вы, ваше степенство! Как можно! Не принимайте на веру наветы,

ибо они есть горький удел всякого художника! Премного благодарен за благородство души вашей, за щедрость. Ибо сумели отличить жемчужину от мусора и обрели сокровище, коему суждено...

Зеркалов споткнулся о тротуарную тумбу, чуть не упал, но удержался на ногах. Застыв в горестной позе, прижав к груди рябые от красок руки, смотрел вслед Ершиновым, призывая к состраданию толпу, собравшуюся к этому времени вокруг.

– Зрите и устыжайтесь, рождённые ползать! Ибо так уносят моё детище, клок истерзанной души...

Кругом хохотали. А Пашке почему-то стало жалко растрепанного, перепачканного красками человека. Чем-то Зеркалов напомнил ему посаженного на цепь Лопуха.

– Брось трезвонить-то, пономарь его величества! – крикнул проходивший мимо рабочий. – Вон, гляди, у Полякова свежее пиво выгружают!

Внезапно успокоившись, Зеркалов деловито ощупал внутренний карман толстовки, махнул рукой и вприпрыжку отправился к ресторану.

Браня себя за напрасно потраченное время, Пашка побежал дальше. Шут с ним, с художником! Сейчас он зальёт себе зенки пивом и примется шуметь на всю улицу. Потом снова отправится малевать бесчисленных самодержцев... Как там в листовках про царя сказано? Надо тебе, Пашка, оставить на память хоть один листочек. Слова-то какие, прямо огнём жгут!

А ребята заждались, проголодались небось! И впереди – бессонная трудная ночь!..

11. НОЧНАЯ ГРОЗА

К вечеру собралась гроза.

Вероятно, то была последняя в году, порядком запоздавшая летняя гроза. Но, судя по давящему, зачугуневшему небу, она сулила и громы-молнии, и потоки ливня. Точно клубы дыма над пожарищем, грудились тяжелые тучи вокруг золотых куполов Кремля, за Москвой-рекой.

И верно: вскоре чёрный навал туч вдали уже вспарывали изломанные зигзаги молний. Гром грохотал, будто тысячи грузчиков катали по булыжным мостовым огромные железные бочки.

Отгоняемые от забора окриками часовых, подыскивая кров от надвигающейся грозы, Пашкины дружки забрались в бывший склад шелкоткацкой фабрики Жиро, напротив казарменных ворот.

С начала войны спрос на шелка упал, половину цехов фабрики закрыли. Часть складов готовой продукции пустовала и не охранялась второй год. Да и охранять там стало нечего: голые стеллажи, брошенные где попало тележки для перевозки товара, потемневшие катушки из-под китайского и японского шёлка. Если кто из жителей и забирался сюда, то лишь затем, чтобы утащить какую-нибудь деревяшку на дрова. В дальнем углу склада обнаружилась крутая лестница на чердак, из слухового окошка которого весь двор Хамовнических казарм как на ладони.

Вот там и поджидали своего запропастившегося вожака Пашкины сорванцы.

Распугав обживших чердак сизарей, ребята по очереди наблюдали за происходившим на плацу.

Когда Пашка, добежав до ворот склада, услышал условный свист и быстро вскарабкался на чердак, совсем стемнело. Всё ближе раскатывались железные бочки грома, всё ярче полыхали невдалеке молнии, всё тяжелее становилось дышать.

– Может, их и не погонят в этакую непогоду? – предположил Г达尔ка, поеживаясь в заношенном до дыр пиджачке.

Пашка сердито покосился на товарища.

– Дурной ты, Голыш, что ли? Как раз в такую ночь, под грозой и ливнем, вернее всего, и погонят! Считаешь, одни мы про нынешнюю отправку знаем? Вот поглядишь, какая прорва народа нахлынет сюда, никакая гроза не помеха. Властям лишний шум не по нутру!

Пашка оказался прав. Как только на город легла ночь и почти вплотную приблизилась гроза – вот-вот хлынет ливнем, – в казарменном дворе вспыхнули синевато-фиолетовые газовые фонари, затрубили трубы, забила дробь барабанов. Из кирпичных казарм, подгоняемые окриками, выбегали солдаты. Распахнулись ворота конюшен, выводили лошадей...

– Ну, айда, ребята! – скомандовал Пашка.

Самому ему ещё было нужно слетать домой, забрать листовки. По совести говоря, у него кошки изрядно скребли душу. Вдруг Танька всё-таки что-тоглядела днем? Хоть и пообещала: «Не бойся, не скажу!» – ну да разве торгашескому отродью можно верить? Обманет, продаст задарма. А улыбаться будет по-прежнему.

Угнетало Пашку и другое: дома-то ведь придется вратить, чтобы мамка не догадалась, не учудила правды. Совсем ни к чему ей новая кровоточина в сердце. Полуглухая и полуслепая от нежданного горя, она вряд ли прислушивается к разговорам на фабрике. Но Пашку обязательно спросит об отправке: кому и знать, если не ему? Ну, и кинется на вокзал, захочет последний раз обнять сына. А её и близко не пустят! Как такое перенесёт? Вот о чём думал Пашка, пока бежал под начинающимся дождём.

Дома ужинали. Хмурый, насупившийся Андреич без всякой охоты доедал похлебку. С первого взгляда Пашка понял, что отец всё знает, но матери, похоже, не сказал. И правда, Андреич встретил сына строгим, предупреждающим взглядом.

– Слышишь, не нынче, а завтра отправлять станут? – громко спросил он, пока мать наливала Пашке у припечки миску похлебки. – Так, что ли? – И сам же утвердительно кивнул.

– Ага, батя! – поддакнул Пашка, боясь смотреть в лицо матери. – Пока, батя, их на плацу взад-вперёд с винтовками гоняют. Соломенных немцев штыками пропарывать унтера обучают!

– О, боже мой! – перекрестилась мать. – Вовсе осатанели люди! Будто не люди, а звери-волки, до чужой крови охочие! Да как ты, господи, терпишь? Иль напрочь отказался от нас: живите, мол, грешники, как хотите, ежели святые законы блюсти не желаете! Ой, сколько же горя горького земля-страдалица

приняла! И сколько ей еще придется принять!..

Кончили ужин. Едва освещала подвал трёхлинейная лампа.

— Вот и последки керосина выгорают, — ни к кому не обращаясь, сказала мать. — Утром остатки выщедила. Стало быть, как в деревне в крепостную старину, при лучине жить придётся.

— Ма! — вскинулся Пашка, отодвигая пустую миску и вытирая рукавом губы.

— Чего, сынонька?

— Похлебка до чего вкусная! Спасибо!.. Лопушку у тебя ничего не наберется, а? Хоть косточек? Жадюги Ерши вовсе перестали его кормить! Слыши, как скунит? Видно, нынче пораньше с цепи спустили, воров по ненастью сильнее опасаются.

Мать наклонилась над помойным ведром.

— Мослы лошадиные... Ноги конские у живодёрки в воскресенье покупала. Их даже Лопуху твоему не угрызть — чистый камень! Ещё головы селёдоочки с Андрюшиных проводов. Супчику могу вылить остатки.

— Он всему рад, мам! — подхватил Пашка. — Давай, чего есть. Ух, как я этих жадин ненавижу!

— Ты попридержи сердце, Пашенька! — отозвалась с осуждением мать. Бог не прощает зла.

— Нам, выходит, твой боженька не прощает, а Ершиновым да Хорьковым всё дозволено, всё можно?

— Ох, сынонька, сынонька! — вздохнула мать. — И в твои малые годы поднабрался ты злой мудrosti!

Отец погрозил Пашке пальцем, и мальчишка сдержал резкое слово. Молча взял у матери Лопухову миску, откинул крюк двери во двор.

Нашупав ногой в темноте ступеньки, прислушался. Спрашивал себя: «Сказала? Не сказала? Вдруг сейчас выйду, а он меня тут и караулит, Семён Ершинов? Если и сарай по девчоночьему доносу обыскали, нашли листовки? Тогда что?»

Оглушая, обрушился на землю гром неслыханной силы — ударило где-то совсем близко. Ослепительно полыхнуло светом молнии, и словно из огромной опрокинутой в небесах бочки хлынул дождь.

Нет, под таким ливнем Ершинов ждать не станет! Пашка одним прыжком перескочил пяток ступенек и оказался под навесом, по которому яростно колотили тугие дождевые струи. Жестяно звенела в водосточных трубах вода. Молнии, одна ярче другой, рассекали на части багрово-чёрное полотнище неба, били то в пожарную каланчу на Серпуховке, то в кресты недалекого монастыря.

Лопуха во дворе не оказалось, ливень загнал пса в конуру. Съёжившись, Пашка пробежал вдоль забора к будке, негромко свистнул. Лопух отозвался радостным визгом. Не дожидалась, пока пес выберется из конуры, Пашка сунул туда миску. Лопух успел благодарно лизнуть руку мальчишки и с жадностью принял лакать похлебку.

А Пашка, прижавшись к стене напротив дома, смотрел на освещённые окна второго этажа и в одном из них видел неподвижную тень девичьей

фигуры. Она, Танька! Ишь до чего хитрая! Значит, правильно догадался Арбуз: что-то углядела, иначе чего бы ей сейчас караулить?!

За минуту он промок до последней нитки, хоть выжимай! Дождь хлестал голову, лицо, струи стекали под рубахой по плечам и спине. Но ведь надо выручать листовки... Если они ещё там!

Очередная молния раздробила небо на синевато-огненные изломанные куски. В мгновенной вспышке света Пашка отчётливо увидел, как Танькина рука протянулась к створке окна. Звона стекла он не слышал, видел лишь тёмный силуэт, склонившийся над подоконником.

Пашка притаился у конуры, ждал... И ждал долго.

Но вот раскаты грома покатились куда-то к заставе, к дальним окраинам. Жесть крыши еще повторяла громыхание удаляющегося грома, когда Пашка сквозь шум ливня услышал голос Таньки:

– Да что вы, папаня?! В горнице-то духота нестерпимая, прямо дышать нечем! А грозы я ни капельки не боюсь!.. Вам самим, папаня, ежели не желательна свежесть, подите да лягте. Мамаша постель с полчаса как постелила, все подушки ровно пух взбила. И голову под них от грозы запрятала.

– Выходит, в меня пошла, дочуня? – хохотнул в глубине дома довольный ершиновский басок. – Ишь ни молоньи, ни громы тебе не страшные! Молодец, дочуня!

– Уж ка-а-кая есть! – протянула Танька. – Шли бы вы, папаня, спать, право! Сами же говорили: завтра с утра товар привезут.

– И то! За день-то намаешься, аж сил нету!

И снова в окне осталась одна девичья тень. «Значит, не продала! – с облегчением вздохнул Пашка. – И за то спасибо. Выходит, и листовки в сохранности».

Переждав минуту-две, оторвался от забора и пошел к дровяному сараю. Но вдруг сверкнула молния, осветила двор. Сверху послышался шепот:

– Пашка!

Он косо, через плечо, глянул вверх.

– Ну?

– Опять, стало быть, лопоухого лентяя кормишь, да? Ишь он от грозы-дождичка как упрятался! Нажрался! Будет всю ночь напролёт дрыхнуть, тащи прямо из-под носу что хочешь! Ворьё да грабители по всей Москве артелями шастают!

– Да что ты, Татьянка?! – возразил Пашка. – Кто в такую непогоду воровать сунется?! А если насчёт Лопуха... Так мне ему и дать-то нечего, сами с голода скоро пухнуть станем... От дождя пёс спрятался. Мне мать велела дровишек принести, сырость в подвале, как в помойной ямине...

– Хи-хи-хи-хи! – негромко, чтобы не услышал отец, засмеялась Танька. – Дровишек! Скажешь тоже! Вратъ—то не выучился! Утром позавчера ваш Андрейка мало, что ли, дров наколол да натаскал под навес? За два часа до свету принял колуном бухать. Папаня ему в окошко приказывали: прекрати, мол, безобразить, спать всю ночь не даёте! То песни в полный голос, то вот

дрова понадобились!

— А Андрей чего? — с интересом спросил Пашка от сарайя, снимая дверную защелку.

— Грубиян неотёсанный твой Андрей, вот что! — ответила «принцесса». — Только и рявкнул в ответ: «Подите вы все к дьяволу! Ни жить, ни дела делать спокойно не даете!» Ну, папаня окошки и заперли наглухо: разве с таким шалым поговоришь?.. Ой, Пашка, выгонят вас папаня отсюда!

— Тебе-то что? — хмуро спросил Пашка из темноты. — Жалеть, что ли, станешь?

— А вдруг?! Хи-хи-хи! — донеслось сверху.

— Пусть твой папаня злостью своей подавится! — крикнул Пашка из сарайя. — Не имеет он права, потому что Андрюха на царской действительной службе! Указ на то был!

— Какие вы все грубые! — грустно сказала Танька. — Что ты, что твой красавчик-брат... Никакого благородного обращения не понимаете!..

Не ответив, Пашка ощупью нашел спрятанные за поленницей листовки. Целы! Слава богу, целы! Если бы что с ними стряслось — как в глаза Шиповнику тогда смотреть?!

Он слышал, что окно на втором этаже со звоном захлопнулось, и даже не стал набирать охапку дров. Ни к чему! Засунул поглубже под рубашку пачку листовок, затянул потуже ремень и вернулся в подвал.

Мать мыла у стола миски и ложки. Отец, устало кряхтя, стаскивал сапоги с разбухших ног, отекших за двенадцатичасовую смену.

— Ма! — окликнул Пашка, запирая дверь во двор.

— Что, сынонька?

— Так я снова туда, к казармам, побегу, караулить дальше. Вдруг Андрюху из Хамовнических в какое другое место перегонят? Болтали, могут сначала всех то ли в Александровские, то ли в Крутицкие казармы перевести.

Мать посмотрела с недоверием. Но Андреич с кровати сквозь зевоту подтвердил:

— И у нас в цехе разговор был. Будто изо всех казарм сперва в одно место, а уж потом на погрузку... Их сам чёрт не разберёт, царёвых придумщиков! С каждым годом всё больше от народа таятся и всё больше лютеют. Ну, однако, ты, Пашка, Андрюхину брезентовку накинь, снова дождь хлестануть может...

— Ладно, батя.

Помолчав, мать вздохнула:

— Горе ты мое, Пашенька! Рубаху-то на, надень сухую, промок весь. Вторую ночь не спиши, сынонька... Да пожевать хоть хлеба с картохами прихвати...

— Спасибо, мам! Там ребята, поди-ка, оголодали...

Переодевшись в сухое — больше всего боялся: промокнут листовки, размажется на них краска, — Пашка нащупал над кроватью брата его брезентовую спецовку. Рассовывая по её карманам куски хлеба и картошку, вспомнил про свой сундучок. «А что? Неплохо на всякий случай прихватить какую-нибудь железку. Всё вроде оружие!»

Стоя на коленях, выдвинул сундучок, принялся шарить на ощупь, что-то зазвенело у него под рукой. «О, свисток, срезанный Голышом у Обмойкина! Возьми, Пашка, авось пригодится!»

12. БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Дождь не переставал. Клокотала в канавах покрытая желтой пеной вода, выворачивала булыжины мостовых. Несла жалкие отбросы, обнажая нищету рабочих окраин.

Пашка торопился. Накинув на голову капюшон брезентовки, бежал, не глядя по сторонам.

Да и смотреть не на что и не на кого – на улицах безлюдье и тишина. В окнах тьма – спит намаявшееся за день рабочее Замоскворечье. Лишь второй этаж голутвинского особняка за узорной оградой празднично освещён. Из форточек выплескивается музыка, плывут по ткани занавесок тени танцующих. Здоровенные псы с лаем носятся вдоль дома, звенят кольцами цепей, скользящими по натянутой в палисаднике проволоке.

«Ну почему столько на земле несправедливостей?» – спросил себя Пашка, пробегая мимо, вдыхая доносящийся из форточек аромат чего-то вкусного-вкусного, чего он никогда и не пробовал. Трудно поверить матери, что где-то там, в небесной вышине, сидит добрый боженька и наблюдает царящую на земле неправду... Зачем тогда он?!

У пожарной каланчи Пашка с разбега остановился. Над ним, прямо над головой, загремел захлебывающийся медный звон.

Набат!

Он остановился, сбросив на плечи капюшон брезентовки, запрокинул голову. Едва различима на вышке тёмная фигура, взблёсывает качающейся колокол.

Замоскворечье, как и другие окраины Москвы, горело часто, редкая ночь проходила без такого вот набатного сполоха. Горели бедняцкие дома и лачуги, горели ночлежки бездомных, пылали на заводах и фабриках цеха и склады. Потом расплзались слухи, что хитрый купчина, фабрикант или домохозяин нанял для поджога бессовестных людей, чтобы получить с «Русского общества» или с «Саламандры» изрядный куш страховки за сгоревшие владения. Им, богачам, наплевать, что в огне пожаров погибают люди, сгорают их жалкие пожитки.

За набатным звоном Пашка не слышал, как распахнулись ворота пожарного депо, – едва успел посторониться. Громыхая по камням, выкатились красные пожарные колымаги с насосами и бочками, с лестницами и баграми. Храпели лошади. Блестели медные каски. Громовой бас командовал:

– Давай, ребятушки! Торопись, молодцы! Телефон надрывается: полыхает люто!

В другое время Пашка обязательно прицепился бы сзади к одной из колымаг, помчался на пожар. Есть в бушующем огне неодолимая притягивающая сила.

Непрерывно звоня в привешенные на телегах колокола, пожарный обоз скрылся за углом. Позади скакал, размахивая факелом, ещё один на дряхлой

клячонке. Здоровых, сильных лошадей и у пожарных забрали на фронт. И многих, наверно, убили.

Мысль об убитых лошадях подстегнула Пашку, он рванулся с места. На Крымском мосту перегнал едва тащившуюся конку.

Успел вовремя.

Ворота казармы распахнуты, во дворе светятся газовые фонари. Серая масса на плацу словно ожившее чудище из полузабытой сказки.

Но, подбежав и всматриваясь в неразличимые лица выходивших из ворот солдат, Пашка подумал: нет, никакое не чудище! Сотни и тысячи таких же парней, как Андрюха. Но в безликой массе Пашка не смог отыскать брата. Взвод за взводом, рота за ротой выходили из ворот, выстраивались на площади.

Размахивая нагайками, скакали конные полицейские, помогали воинскому начальству наводить порядок. Наезжали на людей задранными лошадиными мордами, отгоняли женщин и ребятню, появившихся у казарм будто бы из-под земли.

Подковы высекали из булыжников мостовой искры. Захлебывалась плачем женщина, пронзительно кричал голос:

– Коля! Николенька! Да где ты?

Пашкина дружины держалась вместе, боясь потерять в суматохе друг друга. Их всё дальше и дальше оттесняли от ворот, и через полчаса они снова оказались у склада Жиро. Пашка вскарабкался по водосточной трубе на обитый жестью выступ.

Отсюда поверх голов были видны и шеренги солдат, фигуры офицеров, конные полицейские, гарцующие между солдатами и провожавшей их толпой.

Вслед за солдатами из ворот выезжали двухколёсные походные кухни и белые повозки с большими красными крестами на боках и крыше.

Что-то в строю не ладилось, висела в воздухе брань. У самых ворот кого-то били в строю полицейские и офицеры. Неподвижные пятна фонарного света перемежались с прыгающим огнем факелов. Держась за водосточную трубу, Пашка видел, как из солдатских рядов кого-то волокли за ноги к воротам. Чей-то голос яростно орал:

– Под суд, мерзавец! Под военно-полевой за такие слова!

Резкая боль пронзила Пашку: а если это они Андрюху так? Да нет, не должно быть! Андрей зря не попрёт на рожон, сам говорил! А не видно его потому, что их рота, поди-ка, стоит посерёдке, в самой гуще. Иначе подал бы голос – знает же, что Пашка здесь!

И то ли почудилось, то ли на самом деле вдали вырвался из гула голосов Анюткин крик:

– Андре-е-ей!

Выходит, сбежала-таки со смены!

Еще с минуту всматривался Пашка в окружавшую новобранцев толпу, но разглядеть ни одного лица не мог. Спрятался на тротуар.

– Ребята! Я побежал по делу! Если угонят раньше, чем вернусь, ты, Голыш, жди меня тут. Лады? А вы дуйте к вокзалу, там встретимся.

Дождь стих, небо стало светло-мраморным, с голубыми прожилками.

Бочки грома откатывались дальше на запад. И то добро! Хоть не промокнет Андрюха перед дальней дорогой.

Бежал Пашка на Серпуховскую во всю прыть.

В выходивших на улицу окнах столовой – нежилая темень, ни пятнышка света. Стараясь не звякнуть щеколдой, Пашка прокрался во двор. Так и есть: ждут! В «красной» горит лампа под зелёным абажуром. Кто-то шагает по комнате, то и дело затеняя свет.

Но прежде чем постучать в окно «красной», Пашка, привстав на цыпочки, заглянул в запотевшее стекло. И попятился. За столом, у лампы, опервшись на локоть, сидела какая-то нарядная дамочка в красной жакетке с меховым воротником и в модной шляпке с густой сеткой, закрывшей лицо. А по комнате, заложив руки за спину, вышагивал из угла в угол офицер в новеньком мундире.

У Пашки замерло сердце. Засада?! Выходит, Люсик и Солярова схватили, а тут устроили западню? Ишь какую кралю-уточку подсадили!

Он давно догадался, что подпольные листовки печатают где-то тут, скорее всего, в подвале столовой. Уж слишком часто темнели пятна краски на ладонях и пальцах студентов. Ведь говорила же Люсик о каких-то стеклографах. Вот, должно быть, их и накрыли!

Расхаживавший по «красной» офицер закурил, из форточки пахнуло папиросным дымом. Не зная, что делать, Пашка отодвинулся подальше от окна: убежать, скрыться! И тут услышал усталый голос Шиповника:

– Ох, Алёша, до чего же тяжко ждать! Я всё кляну себя: вероятно, напрасно доверились мальчикам! Ведь они дети, мало что понимают... Наверно, Алёша, как член партии, я и не имела права втягивать их в подобную историю. Хотя бы по условиям конспирации...

Столяров размахнулся папироской и швырнул ее в форточку. Окурок зашипел, упав в дождевую лужу.

Алеша подошел к столику и, полуобняв девушки за плечи, сказал тихо и ласково:

– Не поддавайся панике, Люсик-джан! Новобранцев пока не выводили ни из Александровских, ни из Крутицких казарм. Иначе нам позвонили бы. И потом, джаник, и почему-то верю этому пареньку с такой смешной кличкой Арбуз! Все будет в порядке!.. Хотя насчет конспирации ты, возможно, права. Урок на будущее!

Пашка не знал, что значат странные слова «джаник» и «джан», но в них звучало столько нежности, что у него странно защемило сердце...

Он подвинулся к окну вплотную и нахмурился: интересно, а почему это ему нельзя доверять? Разве не обидно? Но тут же отогнал обиду: не время! Важно, что Алёша верит ему, старается рассеять сомнения Шиповника. Как она сказала? «Они дети, мало что понимают». Ну, пусть убедится, что Павел Андреев не такой уж несмышленыш! Пачку листовок дядя Егор получит!

Он постучал в окно и крикнул в форточку:

– Правильно, Алёша! – Сам потом не мог объяснить, как осмелился, будто уличного дружка, назвать Солярова просто по имени. А вот назвал...

Столяров кинулся к окну. Пашка увидел лицо Люсик, поднявшей сетку

шляпы. Хотелось упрекнуть: «Да как же ты смела сомневаться во мне, Шиповничек? Как могла допустить, что Пашка забудет об огненных словах листовки, что и сейчас, через ткань рубашки, жгут тело?»

Но ничего он не крикнул, просто сказал:

– Это я, Павел!

– Давай сюда!

Через минуту тёплые руки Люсик обняли Пашкину шею, горячие губы на секунду прижались к его лбу.

– Павли-и-ик! Я уж подумала...

Но Столяров перебил её:

– Подожди, Люсик! Ну, что там, Павел?

– Выгнали на площадь. Полно конной полиции! Много провожающих, но близко не пускают... Кого-то били, орали: «Под суд!»

Шиповник и Столяров переглянулись.

– Андрюшу видел? – спросила Люсик.

– Нет. Далеко. Никого не узнать.

– Куда погнали?

– Пока там, у казарм топчутся...

– Видно, прямо на вокзал, – сказал Столяров. – Некогда гонять из одних казарм в другие. Значит, Павел, Брянский?

– Андрей говорил. Да от Хамовников ближе и некуда!

– А ты кое-что кумекаешь, шустренъкий! – похвалил Столяров, закуривая и пуская к форточке дым. – Ты, пожалуй, далеко пойдёшь, дружище! – И ткнул Пашку пальцем в бок.

– Алёша! – упрекнула Люсик. – Неуместные шутки... Павлик ещё мальчик!

– Ну, не сказал бы! – весело возразил Столяров. – Голодная окраина гораздо скорее приводит к пониманию сложностей жизни. Итак, Шиповник-джан, я звоню нашим. Мигом на извозчика – и сюда. Так?

– Конечно!

Алёша скрылся в тёмном зале столовой, где недавно повесили чудо века – телефон! Из Замоскворечья с любым концом Москвы говорить можно. И как это голос в такую даль доносится? Как бежит-передается по проводам? Вон Алёша кричит в трубку: «Барышня! Барышня!» – и его где-то далеко слышат. Ну не чудо ли? А синематограф «Богатырь» на Калужской площади? Разве не чудо?

Думая о современных чудесах, Пашка наблюдал за Люсик. Достав из сумочки-ридикюля напечатанные на машинке бумажки, Люсик перечитывала их и словно позабыла про Пашку. А он так бежал, так торопился!..

Вернулся Алёша.

– Всё в ажуре, Люсик! Извозчик нанят с вечера. Через десять минут здесь!

Забыв об обиде, Пашка смотрел во все глаза. Алёша достал из кармана кителя чёрную бархатную перевязь, надел на шею и, сунув в неё руку, превратился в раненого офицера. Таких в последние месяцы немало разгуливает по Москве. Чёрная перчатка, натянутая на продетую в перевязь руку, дополняла сходство. Затем Столяров вытащил из-за шкафа офицерскую

саблю и, перекинув её ремень через плечо, натянул на кисть руки красную ременную петельку – темляк, он не даёт сабле вывалиться при сильном ударе. Что обозначает красный цвет темляка, Пашка знал из рассказов Николая Обмойкина: знак боевого ранения, отличие воинской доблести. А обычный темляк – коричневый.

Столяров посматривал на Пашку смеющимися глазами.

– Учись, шустренъкий. Авось пригодится!

– Не обращай на Алёшу внимания, Павлик! – сказала Люсик. – Он любит шутить не вовремя. А теперь слушай внимательно! – Она обняла Пашку за плечи. – Сейчас приедут на извозчике наши. Мы с Алёшой отправимся с ними мимо казарм к вокзалу. Ты цепляйся сзади на багажник. Сумеешь? И будто сам по себе, незаметно для всех прицепился. Доедешь с нами до вокзала, а там через депо проберёшься на пути, к дяде Егору. Так?

Пашка не успел ответить – с улицы донесся стук колёс.

– Алеша, наверно, они? – заторопилась Люсик. – Тетя Даша!

– Ау, миленькая? – отозвалась из темноты зала стряпуха.

– Как там?

– Да никого подозрительного не приметила. Третий час от окошка к окошку бегаю. А ваши прибыли!

– Спасибо!

Столяров вышел первым. Люсик шепнула, касаясь чёрной сеточкой Пашкиной щеки:

– Пошли! Хотя постой, я погашу лампу.

У дверей столовки темнел извозчичий экипаж с поднятым верхом. Тяжело дышала усталая лошадь. Кто-то из кузова озабоченно бросил:

– Побыстрей, Алексей! Перед отъездом позвонили из Крутицких. Там тоже выгнали.

Пашка шмыгнул за пролётку, вскарабкался на запятки, куда привязывают чемоданы.

– Поехали! – вполголоса скомандовал кто-то.

Дробно били о камень подковы, посвистывал невидимый кнут, и прокуренный тенорок извозчика покрикивал с привычной лихостью:

– Эй, бывший конь-огонь, поддай жару!

Жёлтым одуванчиком промелькнул фонарь возле полицейского участка, прогудело под колесами железо Крымского моста.

Вцепившись рукой в задок экипажа, Пашка изгибался, выглядывая вперед. Ага, вон показалось облачко света над казарменным двором, а справа смутно вырисовывается фабрика Жиро.

Но новобранцев уже угнали, площадь перед казармами пуста. Лишь кое-где различимы фигуры людей, кому, видно, оказалось не под силу провожать рекрутов до вокзала. Вон, приткнувшись к стене, надрывно кашляет старушонка в салопе; ковыляет, опираясь на палку, хромой. У косополосатых, чёрно-белых будок посверкивают штыки часовых, вспыхивают огоньки цигарок.

Экипаж поехал медленней. Пашка спрыгнул с запяток и подбежал к

складу.

– Голыш!

Тощая тень в длиннополом пиджаке отделилась от стены.

– Здесь!

– Куда погнали?

Гдалька махнул в сторону Плющихи.

– А ну, за мной! – приказал Пашка и бросился догонять пролётку. Догнав, вскочил на подножку, шепнул под кожаный навес, где поблескивали чьи-то глаза:

– На Плющиху! Стало быть, к Бородинскому мосту, на Брянский!

– Спасибо, Павел! – отозвался из глубины серёзный, без тени шутки, голос Столярова. – Прыгайте на багажник! Обгоним по переулкам! Надо опередить! Эй, друг ситный, гони своего Росинанта вовсю!

– Чегось? – обернулся на козлах извозчик. – Роси...

– Гони на Брянский! Полтинник набавлю!

– Так бы и говорили, вашбродь! А то Росината какая-то! Эй, милай!

Пашка и Гдалька примостились за кузовом, прижимаясь друг к другу. Невидимая им клячонка, подхлёстываемая кнутом и криками хозяина, старалась из последних. Пашка понимал, что к Бородинскому мосту надо поспеть раньше воинской колонны, иначе придётся ждать, пока пройдут.

У въезда на мост фиолетово светились шары газовых фонарей. Змеями блестели трамвайные рельсы, искрилась вода за перилами моста. Слева, со стороны вокзала, доносились гудки паровозов.

– Проскочили! – донёсся голос Столярова. – Молодец наш лихач.

Да, проскочили! Уже с моста мальчишки увидели, как из улицы на Смоленскую площадь выехали верховые с факелами, за ними гарцевали офицеры, серели солдатские шеренги. Шли без музыки и песен, без барабанного боя, совсем не так, как бывало в начале войны.

Пашка и Гдалька спрыгнули с багажника не доезжая вокзала, незачем попадаться на глаза полицейским и фильтрам, которых здесь сегодня, ясное дело, полным-полно. Издали Пашка наблюдал, как пролётка остановилась у главного подъезда вокзала, слышал голос извозчика:

– Спасибо, господа хорошие! Счастливо воевать дальше! Иль грудь в крестах, иль голова в кустах!

Что ответил Столяров, Пашка не слышал. Неожиданно из-за ближнего угла вывернулся Витька Козликов. Подошел, посвистывая. За ним шёл Васята.

– Что узнали? – спросил Пашка. – Дядя Егор на месте?

Витька кивнул:

– Батя на месте... Эшелон сейчас подадут. Посадка офицеров через первый класс. Очень строго. У всех проверяют пропуска. А рядовых погонят через багажные ворота.

– Молодец, – похвалил Пашка. – Ждите возле депо.

Он направился к главному входу, где Столяров и его спутник в чиновничьей шинели дымили папиросками. Люсик со скучающим видом переминалась с ноги на ногу. «Чиновник» держал в руке жёлтый дорожный

саквояж.

Ко входу в первый класс непрерывно подъезжали извозчики пролетки и частные экипажи. Выпрыгивали молоденькие, в новенькой форме, только что получившие чин бывшие юнкера, высаживались их папаши и мамаши — проводить сыновей в далёкий путь. Белели фартуки носильщиков, зорко поглядывали по сторонам блюстители порядка. И уж конечно, сновали в толпе мальчишки-газетчики, крича на все голоса:

— Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Бои в Судетах!

Пашка подошел к «своим» и, теребя в руках кепку, загнулся:

— Подайте копеечку солдатской сиротинке, ваше благородие!

Пока Алёша доставал портмоне и выискивал монетку, Пашка добавил шепотом:

— Здесь посадка только офицеров. Солдаты — с багажного двора...

Люсик неприметно кивнула, а Алёша бросил Пашке гривенник и, косясь на суетящихся возле, прикрикнул:

— Сгинь! Развелось вас тут...

— Премного благодарен, вашбродь!

Мимоходом Пашка и Гдалька заглянули в зал третьего класса.

Народу битком. Больше — деревенские, с котомками и мешками, много женщин, солдат-калек. Иные спят, сидя на скамьях, а то и прямо на грязном, заплёванном полу.

Пашка не удивлялся: давно известно, что пассажирские поезда идут с перебоями. Вне очереди отправляют на запад эшелоны с маршевыми ротами и военными грузами, принимаются с фронта санитарные поезда.

Возле забора, огораживающего депо, мальчишки оглянулись. Увидели, как на вокзальной площади появились верховые с факелами.

Через пролом в заборе лазили не только мальчишки, а и железнодорожники, рабочие депо, сокращая путь к месту работы. Охраны у полуоторванных, еле державшихся досок не было. Пашка с Гдалькой быстро добрались до распахнутых, освещённых изнутри ворот депо.

Здесь их и поджидали Витька и Васятка.

Пашка, пожалуй, уже начинал жалеть, что зазвал с собой Гдальку и Васятку: они с передачей листовок вряд ли помогут. Другое дело — Витька! Он один из всех, кто знает, где найти между красных и зеленых стрелочных огней отца, дядю Егора. Но и прогонять ребят Пашке не позволяли сейчас неписаные законы дружбы.

— Витёк! Веди к бате!

Только теперь до Витьки дошла необычность Пашкиной просьбы.

— Да на что тебе мой батька? — спросил он. — Двинули прямо к вокзалу. Вон, гляди, состав подают...

— Погоди, узнаешь! — оборвал Пашка. — Потопали!

Козликова ещё днём обо всём предупредили, и, переходя от стрелки к стрелке, он нетерпеливо поглядывал в сторону депо.

— Наконец-то! — проворчал он, осветив фонариком ребячью лица. — Чего долго-то? И зачем целым стадом по путям шляетесь, дури башки? Для дела-то

и одних рук хватило бы! Давайте, что прислано!

Пашка вытащил из-за пазухи пакет, завернутый в газетный лист.

— Вот, дядя Егор! — Но пакет с листовками он не сразу отдал, а, чуть отступив назад, попросил: — Дядя Егор, а может, мы сами?

— Чего это вы сами? — рассердился стрелочник, с опаской посматривая по сторонам.

— Ну дядя Егор! Вы нам покажите вагоны. Двери-то у них не заперты. Мы в каждый вагон по парочке и сунем!

— Ишь чего выдумал! Чужих глаз тут, в темноте, знаешь сколько? Сцепщики, кондуктора, поездные бригады и другие прочие... Из них верных людей один-два!

Подняв над головой фонарик, Егор трижды махнул зелёным огоньком, подавая кому-то знак.

— «Мы сами»! — передразнил он Пашку, поворачиваясь к мальчишкам. — А ну, давай сюда солдатский подарочек!

И как ни обидно было Пашке остаться в стороне от дела, он отдал пакет. Одну листовочку, правда, заранее вытащил из пакета — себе на память.

— Брысь отсюда во всю прыть! — приказал Егор. — Идут!

Мальчишки притаились у вагонов на запасных путях. Огляделись. Невдалеке под куполом стеклянной крыши светлели вокзальные окна, шары электрических фонарей на перроне. Лязгал буферами невидимый состав, посвистывал паровоз, окутанный облаком пара. Что-то выговаривали в темноте рожки стрелочников.

Пашка подумал: «Ну что ж, дело сделано». Но уходить не хотелось. Интересно, как получится у Люсик и Алёши? Как и кому передадут они то, что принесли в саквояже? Кто разнесёт листовки по вагонам? Интересно!

— Двинули к вокзалу, — решил Пашка. — Поглядим посадку вблизи. Только, чур, осторожненько! И не кучей, а по одному.

Страяясь не попасться на глаза кому-нибудь из железнодорожников и не теряя друг друга из виду, мальчишки добрались до каменной громады вокзала. Здесь путаница подъездных путей кончалась, рельсы, змеясь, расползались к двум противоположным платформам перрона. Одна из них была сейчас пуста и едва освещена, а на другой толпились военные, блестели медью трубы оркестра, ризы священников.

Пашка и его друзья нырнули под настил безлюдной платформы. Отсюда, конечно, особенно много не разглядишь, но увидеть, что делается на перроне напротив, можно.

С подачей состава медлили. Военное начальство строго посматривало в сторону депо, громко и сердито звучали голоса.

Мальчишки сидели под платформой и смотрели, как жандармы распахнули двери первого класса, как оттуда потянулись на перрон люди, в основном военные, офицеры. Кое-где белели косынки сестер милосердия с красным крестом.

В толпе Пашка сразу отыскал глазами яркую, приметную жакеточку Люсик. Рядом с ней, неся в свободной от перевязи руке жёлтый саквояж,

вышагивал Столяров. «В этом саквояже и привезли листовки», — подумал Пашка.

Но вот из дымной тьмы, разреженной светом фонарей на перроне, показался паровоз, подтягивавший состав под стеклянную крышу вокзала.

И тут Пашка увидел то, от чего у него сразу перехватило дыхание.

Подгоняемые окриками офицера, полицейские катили по перрону багажные тележки. Докатив до места, указанного офицером, выстраивали тележки поперек перрона.

— Ишь что удумали, гады! — растерянно шепнул Пашка через плечо Козликову. — Перегораживают! Выходит, солдат отрежут от провожающих! Здорово придумано! Как же теперь Люсик и Алёша с листовками будут?

Паровоз подползал, а на дальнем конце платформы засерели солдатские шеренги. Стало быть, листовки солдатам не передать?

Состав остановился. Паровоз натужно пыхтел. По-гусиному шипя, клубился пар у огромных чёрно-красных колес. Зеленые пассажирские вагоны встали между платформами и мешали мальчишкам видеть, что творится на той стороне.

Потом Пашка и сам не умел объяснить, почему так сделал, — решение пришло внезапно. Вылез, оглянулся на платформу. На ней никого, ни одной души, — тоже, вероятно, позаботилось воинское и жандармское начальство.

Пашка перебежал пути. Нырнув между колёсами тендера, пополз в сторону вагонов. Никто его не заметил — не заорали, не засвистели вслед. За ним перебежали и ребята.

Под вагонами пахло мазутом. Присев на корточки, Пашка отдохнул, потом поднялся между вагонами и, ухватившись за край перрона, подтянулся на руках.

Перед его глазами двигались начищенные офицерские сапоги, изредка постукивали дамские каблучки. Да, здесь посадка офицеров и где-то совсем близко — Алёша и Шиповник. И им, должно быть, совершенно некуда девать листовки. Никто ведь не предполагал, что жандармы додумаются перегородить перрон.

Справа за мелькающими ногами видны багажные тележки. Блеснул никелированный наконечник ножен полицейской «селёдки».

Встав на цыпочки, Пашка снова подтянулся на руках и, никому не видимый, долго всматривался в движущиеся у самого носа ноги, в проплывавшие мимо чемоданы и корзинки, отыскивая жёлтый саквояж.

Прошло немало времени, прежде чем Пашка заметил знакомый саквояж, мелькнувший за пахнущими ваксой сапогами.

Уставшие руки не держали, спрыгнул вниз. Но, чуть отдохнув, снова подтянулся, повис на руках, уперся подбородком о край платформы. Впился глазами в толпу, отыскивая своих.

Ага, вон они! До желтого саквояжа, пожалуй, можно дотянуться рукой.

— Шиповник! Алёша!

В царившем на перроне гвалте, за причитаниями и плачем прощаний Пашкин голос невозможно было услышать. Тем более что на солдатской

половине вовсю грохотала медь оркестра.

Пашка звал снова и снова.

И Люсик услыхала. Толкнула локтем Алешу, показала глазами. Уже через минуту они стояли рядом. Наклонившись, Алеша спросил шёпотом:

– Что стряслось, Павел? Нашли дядю Егора?

Пашка не ответил. Жёлтый саквояж почти касался боком его лица. Напрягшись изо всех сил, повиснув на одной руке, Пашка уцепился за саквояж, рванул свободной рукой на себя и вместе с саквояжем опрокинулся назад.

– Па-а-влик!

Но он не отозвался. Да и ни к чему, мелькнуло у него в голове, поезд-то стоит, и Пашке, если его не приметили полицейские, ничто не грозит. Ну, ушибся малость, подумаешь – беда какая!

Через минуту Пашка и его дружки, собравшись вместе под одним из вагонов, потрошили содержимое саквояжа.

Сверху – дорожная мужская мелочь, положенная, понятно, для маскировки, для отвода глаз: мыльница, носовые платки, десяток пачек папирос «Цыганка Аза», спички. И только под ними – тугие бумажные пачки.

– Вот они! – с торжеством воскликнул Пашка, по очереди глянув в лица ребят. – Листовки, братва! Шиповнику никак не передать их в солдатские вагоны. Выходит, настал наш черед действовать! Держи, Витёк! И ты, Голыш! Васята!

Мальчишки торопливо рассовали листовки по пазухам и карманам.

– Теперь – на солдатские вагоны, братва! – скомандовал Пашка. – На каждом товарном вагоне сбоку есть скобы, чтобы лазить с буферов на крышу. Вот по ним и карабкаться. Но не кучно, братва, через три-четыре вагона, чтобы на побольше хватило. На крыше, как вскарабкаетесь, ждать начала посадки, когда самая суматоха начнется. Ясно? Я свистну вот этим. Поняли?

Вытащив из кармана, Пашка помахал обмойкинским свистком.

– Чего не понять? – с обидой огрызнулся Козликов. – Не дураки!

Один за другим мальчишки уползали по шпалам, между колёсами вагонов. Пашка переждал, пока последний не скрылся из виду, и пополз следом. Миновал один солдатский вагон, второй... И потянуло ещё раз взглянуть на перрон – теперь на нём солдатики топчутся. Авось, Павел, случится чудо и увидишь Андрея!

Пашка остановился под буферами, между двумя товарными вагонами. Выглянул осторожненько. Целый лес солдатских сапог, над ними видны и гимнастёрки, и шинельные скатки, и лица. Офицеров поблизости не было.

Омелев, Пашка встал между солдатскими вагонами в полный рост. И всё-таки край перрона приходился выше его головы. Пашка снова ухватился обеими руками за край дощатого настила, подтянулся, упёрся подбородком в настил. Вот отсюда уже виднее. Блеснуло серебро ризы, качнулось из стороны в сторону кадило, заиграл невидимый оркестр.

Посадка ещё не началась. Солдаты стояли в строю, но не по стойке «смирно», переговаривались, курили. Несспешно, чуть не задев краем ризы Пашкино лицо, прошёл вдоль вагонов священник. За ним мальчуган-служка нёс

на вытянутых руках белую чашу. Остановившись у распахнутых дверей вагона, священник молитвенно провозгласил:

— Благослови, господи, доблестных воинов твоих, сохрани от раны и смерти, даруй победу оружию их!

Не оборачиваясь, отвел руку назад, обмакнул кисть в подставленную служкой чашу. Окропил дверь и двинулся дальше.

Голос священника постепенно затихал вдали.

До боли в затылке Пашка запрокидывал голову, стараясь рассмотреть солдатские лица.

И чудо произошло! Совсем неподалёку над зеленью гимнастёрок под козырьком фуражки будто бы плеснули синью знакомые глаза. Пашка понимал, что необходима осторожность, но не вытерпел, крикнул:

— Бра-а-а-атка!

Одновременно прокуренный и зычный бас скомандовал:

— Кончай курить! Смирно-о! На посадку! Па-а-взводно!

Солдатский строй колыхнулся, выровнялся и двинулся на Пашку.

Он продолжал кричать что было сил:

— Братка! Андрюха! Братка-а-а!

Чьё-то лицо возникло над ним.

— Кого тебе, парень?

— Андрея Андреева! С Михельсона!

Через минуту, показавшуюся Пашке нестерпимо долгой, к нему склонилось родное до последней жилочки лицо.

— Арбузик? Ты?

Но сзади напирали шедшие следом, офицерский бас продолжал что-то покрикивать. Андрей только и успел добавить:

— Мамку береги, Павел!

Пашка спрыгнул на рельсы, вскарабкался на буфер и с него по железным скобам на крышу. Здесь распластался плашмя, уткнулся лицом в ржавую жесть, зло вытер слезу.

Маршево гремел оркестр. Ряд за рядом солдаты исчезали за вагонной дверью.

Пашка привстал на колени.

Перрон ярко освещён, но на крыше полусвет-полутьма. Глубоко вздохнув, словно перед прыжком в омут, Пашка вытащил из-за пазухи горсть листовок — сколько захватила рука — и поднялся во весь рост. Вскинул над головой листовки и, чтобы увидели, крикнул:

— Э-ге-э-эй!

И когда внизу заблестели обращённые к нему глаза, с силой швырнул первую горсть на солдатские фуражки и плечи. Голубиной стайкой листовки кружились, опускались в жадно протянутые солдатские ладони.

Листовки мигом исчезли, упорхнула первая голубиная стая. И тут Пашка вспомнил: надо же подать знак ребятам! Вытащив из кармана обмойкинский свисток, он свистнул что было сил. И снова сунул руку за пазуху.

Потом не мог вспомнить, что он тогда кричал, но кричал непрерывно,

взмах за взмахом вскидывая над головой руку. Да, не помнил! Но сердцем знал: повторял то же, что слышал в ту незабываемую ночь проводов Андрея. И что-то добавлял к тем огненным словам от себя, от своей ненависти, от боли за измученную мамку, за отца, за всех обиженных судьбой.

В пазухе пустело, листовки кончались. Вот и последняя.

Пашка ничком лег на обитую жестью крышу, пополз к её краю. Ощупью нашарил на стене вагона верхнюю скобу, спустился на буфера и спрыгнул на землю.

Справа – перрон. Там орут, торопят посадку, ишь как заливаются полицейские свистки! Переполошились, гады!..

А что дальше – не помнил! Что-то тяжёлое ударило сзади по голове, и наступила тьма. Кто ударил его и как волокли от поезда в вокзальную каталажку – не знал.

Очнулся в ярко освещённой комнате от резкой боли: кто-то крутил, отрывал ему ухо. Увидел над собой рыжеусое, оскаленное лицо и красный околыш.

– Кто?! Кто послал?! Где?! – кричал рыжеусый, крутя Пашке ухо, из надорванной мочки которого ползла по шее кровь...

– Ива... Иванов, – едва выговорил Пашка. Болело не только ухо, нестерпимо ныло все избитое тело.

– Врёшь, сукин сын! Кто послал?! – кричал рыжеусый, упервшись коленом Пашке в живот. – Говори, гадёныш! Ивановых в Москве как собак нерезаных.

Но вдруг боль в ухе чуть затихла, рыжеусое лицо исчезло.

– Что происходит?! – рявкнул неподалеку от Пашки начальственный голос. – Что, спрашиваю? Дармоеды! Настоящие смутьяны разбегаются, а вы, идиоты, сопляков хватаете? Гнать вас в три шеи! Сейчас же оцепить вокзальную! Не могли далеко уйти! Ну-у!

Спасшее Пашку начальство склонило над ним краснощёкое лицо, презрительно посмотрело на полууборванное ухо.

– Как фамилия, шкет?

– И-иванов, ваше высокородие...

– Так у него в кармане, вашбродь, листовка! – с надеждой в голосе крикнул рыжеусый. – Извольте убедиться, ваше высокородье... Вот, гляньте!

Начальство презрительно взяло мятый листочек.

– Кто дал?

– Так на улице, вашбродь... Иду, на самой дороге белеет... Посередь тротуара. Я и подобрал...

– Что в ней?

– Так неграмотный, вашбродь! Бате на курево... потому как бумаги-то нету...

– Эх, Сидоров, Сидоров! – с пренебрежением пробурчало начальство, вытирая носовым платком пальцы. – Таким, как ты, и правда только что с грудняками воевать! Или кур воровать по чужим салям!.. А этот что?!

– Да тоже, вашбродь, вроде по вагонам бегал!

Лишь тогда Пашка увидел в углу каталажки Витьку Козликова. Тот сидел,

привалившись к стене, слизывая текущую из носа кровь.

Начальство снова поморщилось, покачало головой.

– Эх, Сидоров, Сидоров! А я-то собирался ваш околоток к кресту представить!

С перрона донёсся протяжный гудок паровоза, и лицо начальства посувровело.

– Вокзал оцеплен?!

– Как изволили приказать, ваше высокородие! Мышь и та не проскочит!.. Что касаемо этих сорванцов, ваше высокородие, так я думал, может, с кем связаны, может, укажут...

– Думал! Было бы чем думать, Сидоров! Не хватает ещё, чтобы я на старости лет, в полковничих погонах, с детьми воевал! Ну, вы, мелочь! Марш отсюда! Во-он!

Так состоялось боевое крещение Пашкиной дружины.

13. ЛЮСИК-ДЖАН

В Замоскворечье возвращались вместе: Васятка и Гдалька дождались товарищей, прятались за углом вокзальной каталажки. Гдалька, сиганувший прямо с крыши вагона, видел, как Пашку схватили и поволокли по путям филеры в штатском. И как они же загребли Козликова, бросившегося им наперерез...

Шли по сонным улицам, не торопясь, внутренне торжествуя: всё-таки сумели помочь старшим. Но что случилось с Люсиком и Алешей, удалось ли им скрыться от облавы, мальчишки не знали.

На другой день Пашкина мамка осталась дома: Голутвинке впервые за месяц в то воскресенье дали отдых. Андреич отправился на смену – у таких заводов, как Михельсон, Бромлей и Гайтер, общих дней отдыха не было, давали передохнуть только тогда, когда человек совершенно выбивался из сил. А контора в воскресный день отдыхала, и Пашку оформить на работу нельзя...

Разбитая голова у Пашки болела, ухо горело, всё тело ныло от полученных накануне ударов. Мать сходила на пустырь, нарвала подорожника, распарила, перевязала Пашкины ссадины и ушибы. И всё упрекала:

– Ну разве можно так, сынонька? Осторожнееходить надо, особо по ночам. Разве новость для Замоскворечья набат, пожар? Что ни день, пожарники несутся как бешеные, тут кто хочешь может под колёса попасть... Спасибо, хоть не до смерти искалечили...

Пашка, конечно, не сказал матери всей правды.

В то утро дружки по очереди побывали у Пашки, принесли яблок и груш. Сидели у койки, рассказывали новости. В Симоновском районе сгорело десять домов, в одном погибла старуха. О проводах эшелона помалкивали.

Ребята ушли, но Пашка всё чего-то ждал, хотя и сам не мог сказать чего. И лишь когда на пороге показалась Люсик, он понял: именно её-то и хотелось увидеть.

Это было странное, не испытанное раньше чувство. Ну что она ему, эта Люсик-джан, как называет её Алёша? А беспокойство не покидало, всё думалось о ней, о вчерашней облаве. Ведь тот начальник в голос кричал:

«Оцепить вокзальную! Просеять всех сквозь мелкое сито!» Вдруг и Люсик с Алешей попались в то сито?

Занавеска у койки была отдернута, и, когда распахнулась дверь и из неё хлынули неожиданные после вчерашнего ненастяя солнечные лучи, Пашка зажмурился.

— Можно? — спросила из двери Люсик. — Не помешаю?

— Да нет, нет, барышня! Что вы! — засуетилась мать. — Проходите, Люсенька!

Люсик задержалась на пороге, близоруко щурясь. Потом, освоившись с полуторной, прошла к кровати, где лежал Пашка. И села у него в ногах.

— Ну как, Павлик?! — спросила с такой искренней тревогой, что у Пашки запершило в горле. — Очень больно?

Он с трудом проглотил застрявший в горле комок, деланно засмеялся:

— Со мной порядок, Шиповник! Попал под пожарную телегу. Зашибло малость...

Люсик оглянулась на возившуюся у печки мать Пашки и поняла: о происшедшем на вокзале ей ничего не известно.

— Да-да, Павлик! — подхватила она. — Мне твои дружки на улице рассказали... Нужно быть осторожнее.

— Конечно, Люсик-джан! И мамка то же слово в слово твердит!

Люсик засмеялась от всего сердца, словно Пашка сказал ей что-то чрезвычайно приятное.

— Откуда ты знаешь армянский язык? — шутливо спросила она.

— Всего два слова: «джаник» и «джан».

— Это одно слово, Павлик, только форма разная. Но где ты его слышал?

Пашка понял, что в суматохе вчерашней ночи Шиповник не заметила, как Алёша Столяров назвал её так.

— Просто слышал... Или, может, во сне...

— Значит, тебе снятся вещие сны.

— А сны бывают вещие? — спросил Пашка, всматриваясь в улыбку девушки, в её тёмные глаза с золотыми крапинками.

— Бывают, — кивнула Люсик.

— А вы летаете во сне, Люсик-джан?

— О да! Почти каждую ночь! — засмеялась девушка и вдруг заторопилась, положила на колени портфель и расстегнула блестящий замочек. — Ты знаешь, Павлик... Я вчера получила деньги и решила полакомиться... Ты сладкое любишь?

Сзади зашаркали по кирпичному полу домашние шлепанцы, Люсик оглянулась. Мать Пашки стояла за ней и с каким-то странным выражением смотрела на руки, достававшие из портфеля белую картонную коробку.

Люсик спросила хозяйку смущённо и виновато:

— Простите, пожалуйста. Можно я буду звать вас майрик...

— Майрик? Что это значит?

— На армянском языке это значит — мать, мама.

— Ну, что ж, зовите так, Люсенька. Если хотите...

Несколько секунд пожилая женщина и девушка смотрели друг на друга.

— Спасибо, майрик, — кивнула Люсик. — Вы знаете, майрик, ребята мне сказали, что Павлика пожарная телега сбила, и мне захотелось угостить его... Вот я и пошла в кондитерскую Елисеева на Тверской. Знаете?

— На Тверской? Нет, Люсенька, я тамошних магазинов не знаю. На Тверской давно не бывала.

— Ну, всё равно! — ответила Люсик. — Вот там я и купила сладенького. Может быть, мы вместе попьём чаю?

Люсик развязала тесёмку, сняла с коробки крышку, под ней белым, розовым и малиновым цветом пестрели круглые булочки.

— Это как называется? — спросила мать, в то время как Павлик тоже рассматривал содержимое коробки.

— Просто пирожные! — пояснила Люсик. — Они вкусные. И Павлику и вам с чаем понравятся.

— Мы с сахаром да с леденцами привыкли, — заметила мать. — Сахар он сладкий.

— Пирожные тоже сладкие! — засмеялась Люсик, вскакивая. — Знаете что, майрик! Давайте-ка я вам помогу! Где у вас чайная посуда?

Со своей койки Пашка наблюдал, как хлопотали мамка и Люсик. К койке приставили табуретку, мамка накрыла её чистым полотенцем. Появились чашки и блюдечки. Люсик выложила на тарелку пирожные.

И они трое чинно и неторопливо — мамка и Пашка с блюдечек, а Люсик прямо из чашки — пили чай с на редкость вкусными, тающими во рту сладостями. Люсик рассказывала о себе. Сначала училась в гимназии, потом кончила в Тифлисе школу народных учительниц, теперь в Коммерческом. Отец бухгалтер, когда-то был совладельцем фирмы дамских нарядов, но торговать не научился, разорился, пришлось заниматься на работу к другим. Нет, она в семье не одна, их четыре сестры...

Потом Люсик опять говорила о том, что Павлику необходимо учиться дальше, научиться как-то совмещать учёбу с работой, раз уж работать ему необходимо. Мамка вздыхала и поглядывала в сторону печки: надо стряпать обед к возвращению мужа.

А Люсик и Пашка говорили о чём попало. Больше всего Шиповник твердила, что Пашке нужно учиться.

— Ты пойми, Павлик, хороший мой мальчик, — повторяла она, склоняясь над койкой. — Ты смышленый, умный, тебе это необходимо... Когда поправишься, будешь ходить к нам в «красную» на кружок, который я веду. Это, конечно, немного, но лучше, чем ничего...

Она задумалась. Потом заговорила тише:

— Знаешь, Павлик, это же чудесно, что ты умеешь читать и писать... Книга! Что значит для человека больше, чем честная, умная книга? Только встреча с настоящим большим человеком! У меня были в жизни такие встречи, Павлик. Сколько бы ни прожила, никогда не позабуду свою любимую учительницу — Елену Дмитриевну Стасову... Она сейчас далеко, в Сибири, в ссылке. Лишь за то, Павлик, что хотела добра и счастья людям! Она там не одна, Павлик, там

много хороших людей...

Пашка молчал, не решаясь мешать задумавшейся Люсик.

– Ну вот, Павлик! – сказала она, услышав бой часов на пожарной каланче.

– К сожалению, мне пора... Но запомни, милый мальчуган... Хорошие и честные книги, заставляющие думать, всегда учат доброте и мужеству. Это святые колокола моего детства, они многому научили меня... Очень хочется мне, чтобы и в твоём детстве появились такие зовущие, не дающие покоя колокола...

Увидев, что Люсик поднялась, подошла мать.

– Уходите, Люсенька?

Люсик не успела ответить. По-хозяйски топая, в полуподвал спустился Семен Ершинов, пристально оглядел Люсик и Пашку.

– Вам что, Семён Семёныч? – с тревогой спросила мать. – Ежели за квартиру платить, то когда сам с завода...

– Не об этом речь! – оборвал Ершинов. – Мое слово к этому шпингалету, к вашему молокососу. Ежели он ещё станет Лопуха кормить, я его, Лопуха то есть, на живодёрку сведу! А мальчишке уши надеру! Слышал?

– Да что вы, Семён Семёныч! – всполошилась мать. – Разве он посмеет против вас?.. Кто такое сказать мог?

– А вот и сказали! – возразил Ершинов. – И видать, не напраслина! Ишь покраснел, ровно девка крашеная! – Злым, внимательным взглядом с ног до головы окинул Люсик. – Значит, заводских навещать изволите, мамзель студенточка?.. Н-да... Из сицилисток, поди-ка, а? Небось и на примете у околоточного значитесь?

Выпрямившись, Люсик строго глянула в обрамлённое смоляной бородкой лицо.

– У Красного Креста, ваше степенство, членом которого я состою, – с вызовом ответила она, – есть святая обязанность. К вашему сведению, наш Красный Крест находится под попечительством её величества императрицы российской Александры Фёдоровны!.. О том, как вы в дни военных испытаний выполняете ваши патриотические обязанности, как вы угрожаете брату воина, защищающего родину от германского вторжения, я могу доложить фрейлине двора её императорского величества.

Люсик неторопливо застегнула жакет.

– Надеюсь, уразумели, ваше степенство? Если посмеете тронуть семью Андреева хоть пальцем... я обещаю вам крупные неприятности! Вы русский язык хорошо понимаете?

Ершинов молчал.

Люсик пошла к двери. На пороге обернулась.

– Павлик Андреев! Будь уверен, что Красный Крест, находящийся под попечительством её величества, не забудет о твоей судьбе, судьбе брата защитника отечества!.. Вот так, ваше степенство!

Побагровевший Ершинов молча переминался с ноги на ногу.

14. ВСТУПЛЕНИЕ В ЖИЗНЬ

– Ну, сын, вот, значит, и кончились твои детские годы! – со вздохом сказал

за ужином Андреич, отодвигая пустую миску и доставая кисет. – Не забрили бы Андрюху – другое дело. Гуляй, милый, пасись на воле, сражайся в свои бабки-козны. Но теперь, Павлуха, нам без твоей копейки в общем кармане никак не обойтись. С начала войны и хлеб, и всё прочее вздорожало в пять, а то и поболе раз, а михельсоны нашему брату едва вдвое надбавили. Сами золото на военных заказах лопатами гребут, а как рабочему человеку жить – им наплевать!

Пашка сидел рядом с отцом. Ухо болело, но он старался не показывать этого, не морщиться.

– Да какая же беда, батя? – спросил серьёзно, подражая отцу. Нагулялся я, наигрался!

Мать обняла Пашку, прижала его голову к груди.

– Пашенька! Радость ты моя остатня! Всю бы свою кровушку капельку за капелькой отдала бы, лишь бы тебе не маяться в проклятом кузнечном аду. Это ведь со стороны глядеть легко, родненький! А там – огонь, вечный дым и смрад, железки раскалённые над головой висят-качаются, того и гляди, рухнут, зашибут насмерть! Ручонки-то у тебя для кузнецких дел слабосильные!

– Ну, мать, это ты зря! – нахмурился Андреич. – Павлуха всегда у меня под надзором будет, а потом – он у нас парень не слабее других, подзакалится на огоньке у горна, такой витязь-богатырь станет, хоть к самой царевне Несмеяне сватов засытай! Так, что ли, сын?

...Как-то весной, в первый пасхальный день, когда старики по-праздничному отдыхали дома, Пашка читал им вслух пушкинские сказки. Мать и отец слушали с гордостью: ишь каким грамотеем вырос сынок. Да и певучие слова сказок околовывали, опутывали невидимыми ласковыми тенётами – так бы и слушал их без конца.

– Прямо, Пашенька, будто песни весенние девичьи или молитва какая душевная, – задумчиво сказала мать, когда Пашка перевернул последнюю страницу. – Ровно кто золотым молоточком слова выстукивает, так и сверкают перед тобой, так и сверкают! – И со смущённой улыбкой повторила: – И тридцать витязев прекрасных чредой из вод выходят ясных... Так, сыночка?

– Ага, мам, так, – обрадовался Пашка. – Только не витязев, ма, а витязей...

– Всё одно! – перебил Андреич. – И так и этак понятно. Спасибо тебе, сын. Сказку-о Пушкин, что ли, писал?

– Пушкин, Александр Сергеевич!

– Пу-у-ушкин, – задумчиво протянул Андреич. – Должно быть, тоже из нашей, огненной профессии родные у него были, пушечное литье варганили. Фамилия-то чаще всего по ремеслу дается.

Когда отец отошёл от стола, мать потихоньку спросила Пашку:

– Витязи, сынок, они какие из себя будут?

– Ну, мам, как не понимаешь?! Витязь, он здоровенный, могучий, вроде нашего Андрюхи.

– А-а-а! Вот теперь ясно.

С тех пор, стирая ли мужнины и сыновья просолёные потом рубахи, латая ли заношенное бельишко, мать иногда просила:

— Ты не почитал бы мне чего, сыночка, из тех сказочек, а? Отаяла бы, отдохнула у меня малость душа...

А для Пашки и нет большего удовольствия, как перечитывать любимые строчки.

...Вот сейчас отец помянул про витязей, значит, и он не позабыл. Хорошо!

В ночь перед первым днём своей рабочей жизни видел Пашка лёгкие и светлые сны, где сказочное перемешивалось с обыденным и с его, Пашкиными, мечтами...

Разбудил его голос матери задолго до света, когда прогудел первый михельсоновский гудок. Второй заревёт через полчаса, а к третьему рабочему люду положено пройти заводские ворота.

Наскоро позавтракав, поцелованный на прощанье матерью, подражая походкой отцу, Пашка вышагивал рядом с ним к проходной завода.

Контора была закрыта, в окнах темно, и определить Пашку на работу Андреичу предстояло в обеденный перерыв.

— Для них, паразитов, ещё рано, — ворчал отец. — На заре-то сон самый сладкий! Мы успеем как след косточки наломать, а они чай-кофеи распивать будут.

Рабочие здоровались, перекликались, слова звучали во влажном воздухе глухо и незнакомо.

«Ишь тоже какая река народу! — думал Пашка, всматриваясь в запруженную тенями улицу. — Целая армия, можно сказать!»

Сначала вахтенный не хотел пропускать мальчишку — нет у него жестяного табельного номерка, чтобы повесить на доску! Но Андреич заявил, что без подручного он не кузнец, а вот этот самый Павел Андреев с нынешнего дня и заменит старшего, угнанного на фронт сына. Показал вахтеру расчётную книжку и табельный номер Андрея, и тот пропустил Пашку, проворчав вслед:

— Однако не подведи, Андреев! Времена нынче по-военному строгие, и с нас спрос железный. Мы и перед хозяевами, и перед царём-батюшкой ответчики!

Пропустив Пашку вперёд, Андреич пошёл следом, вполголоса бранясь:

— Холуи доброхотные! — Не оглядываясь, сердито сплюнул под ноги. Эх, Павел, Павел. Вот гляжу я кругом и дивлюсь: какая в людях загадка! Чуть вскарабкается человечишко на крохотный бугорок, а уж лакейство перед хозяевами и любой казенной фуражкой в нём словно на дрожжах растёт! А мы для них будто уж и не люди! Много, ой, много грошовых душонок на земле, Павел!

Так началась для Пашки новая полоса жизни.

— Ты пока приглядывайся, — приказал отец в цехе, завязывая ремешки кожаного фартука. — Доколе не записан, нечего на них батрачить. Пока подручным мне вместо Андрея из слесарей дружка твоего перевели, Саню Киреева. Глянь, как он у горна ловко шуряет! Привыкнешь и ты, сын, и дело у нас котлом закипит!

Киреев пришёл раньше и, ещё не успевший перемазаться в копоти и саже, в таком же кожаном фартуке, как у Андреича, орудовал у горна, раздувал

мехами жёлто-красное пламя. Извиваясь под тугими струями воздуха, пламя злыми языками лизало обожженные до черноты кирпичи.

Таких горнов, как у наковальни Андреича, в цехе пыпало десятка два, не меньше, и в каждом, угрожающе гудя, бесилось и плясало пламя. Длинными клещами подручные кидали в огонь и ворочали там железки разной формы: оси и стержни, колёса, скобы, плиты. Огонь набрасывался на железо, плюясь тысячами искр, пытался укусить подручного за брезентовую рукавицу.

У горнов работали в больших тёмных очках, защищавших от искр, и поэтому Пашка узнал Сашку только тогда, когда тот улыбнулся привычной, чуть насмешливой, но ободряющей улыбкой: «Не робей, Арбузик!»

— Держи, Павел! — Здесь, в цехе, отец стал называть сынишку полным именем, и это понравилось Пашке и будто возвысило его в собственных глазах: как-никак рабочий класс! — На тебе Андрюхины рукавицы и очки. И береги, парень! Вроде наследство братнико и память о нём. Да и потому ещё, что новых цеховая капитёрка до срока износа никак не выдаст! Там такие сидят хозяйские старатели — на редкость. Вроде вон того усатого крикуна, помощника цехового мастера. Ишь зыркает зенками: кто бы где минуту не прошабашил! И повторю, Павел: ведь из той же рабочей массы вышел-вылез, а совести и человечества в нём не осталось и на волосинку. Портят, ой, до чего портят, Павел, прямо уродуют человека и власть, и большая деньга в кармане! Ну, иди, приглядывайся. Пока в канторе не оформят, нечего задаром на них силу класть. Эй, Сашок! Давай поковку!

Железными клещами Киреев выхватил из горна раскалённую до солнечного блеска полосу и, напружинясь, чуть согнув от напряжения в коленях ноги, перекинул на наковальню. Тяжёлый молот, вскинутый Андреичем, с грохотом обрушился на брызжащее искрами железо...

До обеда Пашка слонялся от горна к горну, наблюдая, как со свистящим усилием пыхтят кожаные мехи, как цветными радугами переливаются, тускнея, куски металла. В соседнем цехе, за широким проёмом в кирпичной стене, тяжко бухали громадные паровые молоты, но отец наказал Пашке не заходить туда: «Как бы мастер к тебе не прицепился!»

Мальчишка стоял на пороге и, не в силах отвести взгляд, смотрел на тёмные машины молотов, бухавших так, что от ударов содрогалась усыпанная окалиной земля. Со страхом следил, как над пролётом цеха проплывали ухваченные клещнями подвесных кранов светящиеся туши болванок, слушал звон крюков и цепей. Сквозь чёрные очки всё виделось иначе, чем раньше, будто из живой жизни попал в железное царство, где всё подчинено другим законам. Раньше, бывая в цехе, он не видел этого царства железа и огня в таком мрачном свете...

В обеденный перерыв, жуя на ходу лепёшки и картошку, Андреич с сыном отправились в кантору. Поначалу старый кузнец собирался сорвать, что Пашке-де шестнадцать лет, но в последнюю минуту передумал: ведь сынишка тогда должен работать наравне со взрослыми. Икоса оглядел своего последышка и пожалел: рано Павлушке вкалывать наравне с мужиками.

— Тринадцатый идёт, — сказал канторщику, выписывающему пропуск.

Стало быть, Егор Семёныч, день у парня короткий, за два часа до общей смены кончать. Каждое воскресенье – отдых! Номер ему, Егор Семёныч, оставьте братин, Андрея Андреева.

– Можно и так, – согласился конторщик.

Только тут Пашка узнал в черноусом писце старшего сына Ершинова. Так вот, выходит, как прячутся такие франты от призыва в армию, от фронта! Дескать, на военном заводе, мобилизации не подлежит. А дело-то вовсе и не в заводе, а сунули, кому надо, полсотни, и все дела.

Вернулись в цех. Пашка в этот день лишь помогал Саше Кирееву, приоравливаясь к работе. Выхватить раскалённую железяку клещами из горна, перекинуть на наковальню под молот – тут нужны были и навык, и сила. Пока Пашка не втянется в работу по-настоящему, дня три-четыре Киреев проработает рядом.

Что скрывать? Хоть в первые дни Пашка работал только на подхвате у Киреева, уставал за десять часов изрядно. И всё-таки уходить с завода раньше отца и других – поначалу чудилось в этом что-то обидное. Но Пашкиных ровесников в цехах Михельсона набиралось тогда человек сорок, и он скоро примирился со своей долей. Тем более что и дома его ждали дела: натаскать воды и дров, почистить картошку, сбегать в лавку за хлебушком, солью, куском конины...

А чуть позже даже радовался короткому дню. Через неделю после отправки Андрея неподалёку от заводских ворот повстречал Алёшу Столярова. Тот шагал в студенческой шинельке нараспашку, в сбитой на затылок фуражке. Приветно смеясь, Алёша остановился, ткнул Пашку пальцем в грудь:

– Ага! Рабочий класс существует?! Я и не узнал сразу: ишь перемазался, шустренъкий, прямо чертёнок из адова пекла! Да и ростом вроде повыше стал!

Конечно, окончив работу, Пашка мог бы и забежать в цеховую умывалку, ополоснуть лицо и руки, но ему нравилось шагать по улицам с закопчённым лицом: пусть ротозеи видят, не какой-нибудь обормот-бездельник, а кузнец с работы шагает.

Алёша Столяров, видно, понимал Пашкино настроение и, по-взрослому пожав руку, серьёзно спросил, как дела, устает ли, каков заработка за смену? Пашка тысячу раз слышанными от отца словами бранил заводчиков и мастеров. Потом Алёша спросил:

– Шиповника не позабыл, шустрой?

– Скажешь тоже!

– Так вот, Павел Андреев! И она про тебя не забыла и велела, когда встречу, напомнить: по четвергам у неё в «красной» комнате кружок. Нынче как раз четверг, урок географии. Подучиться не желаете ли, сударь кузнец, удалой молодец?

– Ну! Ещё как хочу!

– Так после ужина, как столовка опустеет, приходи в «красную». Люсик нынче про Италию на своём кружке рассказывать собирается. Мамка-то пустит?

– Я что, маленький? – обиделся Пашка. – Да если скажу про Шиповника,

она даже обрадуется. Она Люсю знаешь как уважает!

– Ну и добро. Значит, так и передам... Ухо-то болит? Не насовсем оторвали?

– Заживёт. Болеть, конечно, болит. Не железное!

– Терпи, дружок! Нам с тобой и не такое, глядишь, терпеть придётся! Здорово вы тогда нам с листовками помогли. Спасибо!

Это Алёшино «нам с тобой», то, что Столяров как быставил Пашку наравне с собой, и его скромная благодарность наполнили Пашкино сердце и радостью, и гордостью... Значит, принимают Пашку всерьёз, берут себе в помощники. А что? Если бы не Пашкина дружина, вряд ли бы и попали в руки солдатам листовки в ту ночь!

Дома он приготовил матери всё, что надо, но ждать её возвращения с работы не стал: опоздал бы на кружок.

О кружке Пашка никому из друзей не сказал ни слова, нужно спросить Люсю: позволяет ли? Если можно – будут ходить вместе. Лишь бы с ней, с Шиповником, беды какой не приключилось. Уж больно не любят их, студентов, богатеи-купцы да полицейские! Вчера подгулявший Ершинов-отец из окна на всю улицу орал, что во всех бедах расейских студенты виноваты. Именно они, дескать, довели державу до голода и разрухи!

– Голь, шантрапа подзаборная! – кричал он, чуть ли не по пояс высовываясь из окна. – Смутьяны без бога и царя в башке! Им бы только красными флагами размахивать да на забастовки рабочих толкать, чтобы, значит, в помощь германцу! Ишь на Гайтере сколько пушек-пулемётов недодали! Потому и гнётся под немцем фронт! Я бы с которых зачинщиков кожу живьём сдирал!

И ещё что-то кричал. Гости на его этаже тоже орали злобными голосами.

«Сами-то небось не голодают, не знают, что это такое – каждый день пробавляясь похлёбкой, в которой крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой! Ух, до чего же я их всех ненавижу!» – думал Пашка.

15. «А ВЫ, ЛЮСЯ, САМИ КАК КОЛОКОЛ!»

Пока Пашка домчался до Малой Серпуховской, студенты поужинали, столовая опустела. Но выходящие во двор окна кухни и «красной» светились.

Пробравшись во двор, Пашка заглянул в крайнее к калитке кухонное окно и с трудом различил фигуру тёти Даши – мыла под краном тарелки. Дверь в глубине кухни распахнута, и из «красной» падает свет лампы, прикрытой абажуром.

Интересно, кто там, кроме Шиповника?

Прежде чем войти в столовую, Пашка, как всегда, подошёл к окну. И... испугался.

Как раз напротив окна, у двери, сидел полицейский, такой же усатый, как Обмойкин: все они на одно лицо, словно штампованные. Этот сидел, широко расставив ноги, сложив ладони на рукоятке поставленной между коленями шашки. Позёвывая, недовольно поглядывал на сидевшую у стола Люсик, на окружавших ее ребят.

Откинувшись в тень, Пашка всмотрелся. Девчонок ни одной не видно, а

кое-кого из мальчишек он знал. Вон двое братьев-близняшек из Уваровского трамвайного парка, рядом — долговязый Яшка-газетчик из Сытинской типографии и ещё один оттуда же. Да и другие, должно быть, из рабочих семей: одежонка на всех вроде Пашкиной.

Погоди, Арбуз, погоди! Зачем же здесь «селёдочник», что ему нужно? Жалко, форточка захлопнута, слов Люсик, читавшей что-то, не разобрать. И лица, затенённого абажуром, не видно.

Стараясь не выдать себя, Пашка отодвинулся от окна: что же делать? Но в ту же минуту и городовой, брякнув шашкой о пол, устало поднялся, зевнул, перекрестил рот, будто покидал туда семечки подсолнечные.

Пашка притаился.

С начальственным видом, касаясь ладонью нагрудной бляхи, городовой что-то долго говорил Люсик и погрозил пальцем: смотри, дескать, у меня!

Не вставая из-за стола, Люсик кивнула.

Пашка юркнул в тёмный угол двора. Через минуту кухонная дверь распахнулась, в её светлом четырехугольнике показались фигуры полицейского и тёти Даши. Грубоватый голос сквозь зевоту пробормотал:

— Ты, Дарья, смотри во все глаза. Чтобы эта пигалица никакой политики не касалась, ни про войну, ни про царя — упаси бог! Ежели что, передашь завтра мне, доложу по начальству, враз прихлопнут её лавочку! Про города-реки пущай молотит языком сколько угодно, особо худого в том начальство не усматривает. Хотя, моя бы воля, я всяких называемых кружков по своему разумлению не дозволял! Где трое сойдутся, тут и жди смуты. Да и на кой ляд голодраной шантрапе про всякие Римы-Парижи знать? А? Блажь студенческая, не боле!

Под грузными шагами заскрипели ступени.

— Ну, бывай в добром здравии, толстуха! Как на каланче десять отбрякнет, собственной волей гаси у неё лампу! И так керосину недостача... Слышала, Дарья?

— Да слышу, Степаныч, слышу, не впервой наказываешь!.. Иди, спи-отдыхай, служивый! Что-то, видно, измаялся нынче, аж с лица похудал.

— Похудаешь тут! Два пожара на околотке да драк без числа. Да кражи! А тут ещё художник шалавый на всю Замоскворечку галдёж завел. Он, хотя и безвредный, всё про свои художества талдычит, а непорядок!

— Иди, иди, Василь Степаныч, спи спокойно!

Но городовой не торопился, переступал с ноги на ногу, скрипели сапоги и ступеньки.

— Н-да-а-а, — протянул сквозь зевоту. — Жизнь-то, Даша, год от году хуже, по совести скажу. Народы пошли — никакой узды на них нет! Всякая шваль норов свой шальной показать тужится, на власть ноль внимания!.. Городовой заговорил тише, ласковей: — А что, Даша?.. Кх-м, кх-м!.. Пошла бы за меня замуж, а! Смутно стало тут, на Москве. Раньше-то работа наша в каком высоком почёте и в силе была — одна радость! А нынче только и слышишь вслед: «Селёдочник!» Мыслимое ли дело? И достаток был поболе. Что с купца, что с трактира, что с любого дома. Здорово война всех поприжала, спору нет. И

работа наша в цене упала, и словно в дремучем лесу ходишь-оглядываешься. Того и жди, какой сицилистишка из-за угла пульнет иль чем по башке огладит... Как, Дащенка? Поехали на Брянщину?

И будто светлая волна прошла-пролетела над Пашкиной головой: озеро, как кусок неба, впаянный в зелёную землю, опрокинутые в него золотые сосны, ягодинки земляники на могильных холмиках... Значит, и этот хмырь оттуда, с мамкиной стороны? Никак не подумал бы! Таким злыдням, как Обмойкины, на деревенской красоте вовсе не место! Чужие они любой красоте!

— Да какая же я невеста, Василь Степаныч? — засмеялась Даша, стоя в дверях. — Об чем думать-то?! Наше с вами теперь дело, Степаныч, молодым не мешать жить... Их век.

— Н-да-а? — протянул полицейский и сердито махнул рукой на окна «красной». — Вроде эдаких? Это ты зря, Даша! Молодых распускать невозможно: им палец в рот — и у тебя уже руки нет! Без порядка и без страха народ — зверь, Даша! Ему кнут всегда нужен! — Полицейский помолчал, вздохнул. — Подумай, Дащенка, над моим словом... Как бы ладно мы с тобой зажили! Как-никак я и при чине, и карман не пустой... На деревне-то я козырной туз!

— Мои думки, Степаныч, давно передуманы. Зла бы поменьше на земле, Степаныч, вот об чём каждая моя молитва... Ну, скажем, зачем ты, Василь Степаныч, нынче помогал барахлишко Грачевых с квартиры на улицу выкидывать? Зима на носу, а у них трое детишек. Как жить станут? Домохозяйке их и без грачёвских грошей до трёх смертей хватит!

Из голоса полицейского пропали задушевные нотки, он стал грубым и злым.

— Как Грачёвы далее жить станут, не моя печаль-забота! Нарожали ораву, ну и кормите, ищите для неё крышу! Закон блюсти нужно, нельзя без порядка! Ежели без закона, так вот пойду я завтра к Миору-Мерелизу, да и нахапаю парчи иль бархата, всего, чего душа просит! Можно так-то?.. Ага, молчишь? Вот и выходит, Дащенка, верно старики говорили: бабий волос долг, а ум короток!.. Ну, гляди тут! Утром загляну, доложишь!.. Запомни, Даша: убери власть, сдерни обруч-силу — и вся кадушка рассыпется.

— А уж не сыпется ли она, Степаныч? — со смешком спросила стряпуха. — Бастуют, слышно, и на Бромлее, и на Гайтере, волнуется народ!

— Потому и бастуют, что слабину учゅали! — уже от калитки ответил полицейский. — Строгость нужна, кнут! Вот победим германца, прибудет с фронта царь-император, нагреет кого положено. Про пятый-то год подзабывать стали...

— Так ведь нынче не пятый, Степаныч, а шестнадцатый к концу катится!

— Все одно державную силу не сломить, не согнуть!.. Однако заболтался я с тобой. Прощевай пока!

Когда грузные шаги стихли за углом, Пашка осторожно поскребся в дверь.

— Тёть Даш!

Дверь снова распахнулась.

— Пашутка, что ль? Ну, иди, иди! Люсенка про тебя за ужином

наказывала. Ступай в «красную», вся ее ребятня давно там... Мамка—то как? Выплакалась? От Андрюшеньки нет вестей?

– Пока нет!

– Стало быть, до фронта не довезли. Тысячи вёрст до него, даль дальняя... Хорошо, Паша, припоздал ты малость, тут усатый у Люсеньки сидел, караулил... Вроде приказ есть, чтобы им на всяком собрании сидеть, блюсти.

– Видел я его, хмыря усатого! И как к тебе сватался, тёть Даш, тоже слышал. Может, и правда пойдешь за него, тёть Даш?

– Не охальничай, озорник!

Ладонь стряпухи ласково шлепнула Пашку по затылку, и он оказался на пороге «красной». Люсик глянула, приветливо помахала рукой.

– Павлик? Это с тобой тетя Даша разговаривала? Я думала: не страж ли порядка вернулся? Проходи, дружок! Потеснитесь, ребята, нашего полку прибыло. Это Павел Андреев, подручный кузнеца с Михельсона.

Сразу отзывалось несколько голосов:

– Он же Арбуз, голова круглая!

– Давай сюда, Пашка!

– Ну вот и славно! – Люсик закрыла лежавшую перед ней книгу, достала из сумки другую. – Ты немного опоздал, Павлик. Я ребятам про город Рим, про столицу Италии, рассказываю. Вот теперь, мальчики, когда чужих ушей нет, я расскажу вам не об императорах и городах, а о рабах, которые боролись за свою свободу... Кто из вас слышал про Спартака?

– Ну, я, – поднимая руку, отозвался Яшка-газетчик.

– Кто же он был?

– Ну, вроде нашего Соловья-разбойника!

– Больше никто о Спартаке не слышал и не читал? – Не дождавшись ответа, Люсик вздохнула: – Ах вы несмыслёныши мои милые! Стоящие у власти всегда называют разбойниками тех, кто пытается их свергнуть... Ну, прошу внимания!

Никогда Пашка ничего не слушал с таким напряжённым вниманием, с каким слушал рассказ о Спартаке. Более двух тысяч лет назад рабы-гладиаторы, которых заставляли убивать друг друга на аренах цирков ради потехи знатных зрителей, восстали. Со Спартаком во главе они бежали из школы-тюрьмы в городе Капуе. К ним примкнули другие рабы, и они все вместе сражались с легионами римского полководца Красса, боролись против рабства и всесилия патрициев. Спартак погиб, а шесть тысяч его товарищей воины римского императора захватили в плен и живыми распяли на крестах. Кресты те вкопали вдоль дороги, ведущей из Капуи в Рим. На шести тысячах крестов под жарким солнцем Италии мучались и умирали люди только за то, что мечтали получить свободу!

Пашка пытался представить себе знакомый Калужский тракт и по обеим его сторонам – кресты, кресты, кресты! На них корчатася и стонут в предсмертных муках люди. Кто они? По рассказам Шиповника – молодые, сильные парни, вроде Андрюхи, вроде Алёши Столярова, который незаметно для кружковцев вошёл и сел за спиной Люсик... Шесть тысяч распятых?! Да

разве такое можно представить себе, вообразить?! Но не верить Шиповнику нельзя.

Тетя Даша, сторожиха и повариха столовой, стояла на пороге «красной» и, горестно подперев ладонью щёку, плакала, беззвучно бормоча что-то.

Что ж, Люсик Лисинова умела, как говорится, брать за душу, недаром подпольщики Замоскворечья считали её одним из лучших пропагандистов, недаром с таким вниманием слушали её ткачиши и швеи Прохоровки и Голутвинки, кузнецы и литейщики заводов, машинисты и кочегары поездов...

Но вот Люсик дочитала страничку, описывающую спартаковское восстание, и спрятала книжку в сумочку. Хотела что-то добавить, но в этот момент невдалеке ударил раз и другой пожарный колокол.

— Ах, батюшки! — Глянув на ходики, тётя Даша всплеснула руками. Никак, одиннадцать? Люсенька, милая! Да ведь если усатый узнает, он меня с валенками сожрет! Гаси скорей лампу, чтобы беды ни тебе, ни мне не нажить!..

Домой Пашка брёл по пустым безлюдным улицам. Качалась среди мутных туч луна, то выныривала, то пропадала. Но Пашка шагал, не видя ни луны, ни улиц, перед ним всё стояли сотни и сотни крестов, раскинувших в стороны деревянные руки, красные от крови...

Значит, и тысячи лет назад творилось то же самое, что сегодня, богачи и всякие генералы-адмиралы душили и губили простой народ, как могли? Значит, не зря восстает на неправду рабочий и крестьянин, не зря написаны в листовке те слова?..

Кресты с распятыми людьми словно бы выступали из переулков и надвигались на Пашку, но у него не возникало страха перед живыми мертвецами, лишь жалость к ним и боль в сердце... И звучали прощальные слова Люсик на крыльце:

— В следующий раз я расскажу вам, мальчики, о Великой французской революции, и о Парижской коммуне, и о русских революционерах, если, понятно, нам не помешает усатый жених тёти Даши...

— Типун тебе на язык! — заворчала обиженная стряпуха. — Жених! Глаза бы мои этого ирода не видели, уши не слышали! Вас от него берегу, Люсенька, а ты меня обижашь, дразнишь!

— Так я же шучу, тётя Даша, миленькая наша! Знаю вас и верю вам, как самой себе!

— Ну и спасибо, Люсенька! Я ведь ничего... Но уж больно ломит сердце от рассказов твоих, будто саму меня на муку смертную волокут!

Когда Пашка вернулся домой, отец спал; громкий, с посвистом, храп был слышен даже за дверью. Пашка задержался, счищая о железный скребок с ботинок осеннюю грязь, оглянулся на лохматое, едва различимое небо. Ершиновский фонарь напротив входа в лавку блистал тусклым красноватым глазом, не давая разглядеть звезды. А почему-то в ту минуту Пашке очень хотелось увидеть хоть одну звезду.

Он вздохнул. Представилось вдруг, что после опасных боев он возвращается домой, где его ждёт не дождётся тоскующая мать, нуждающаяся в помощи и защите... После рассказанного Люсик о Спартаке Пашке казалось,

что прежняя жизнь стала для него просто невозможной, что с нынешнего вечера всё пойдёт иначе...

Смешно! Но он самого себя видел рядом со Spartаком, въезжающим на белом коне в освобождённые города, ему слышались приветственные крики, счастливый плач женщин, звонкие голоса детей.

Да, отец спал. Мать у стола что-то латала, на припечке чуть слышно мурлыкал примус. Отложив шитье, мать поднялась из-за стола, ее глаза с укором смотрели на Пашку.

— Да где же ты бродишь до такого поздна, горе моё, Пашенька?! Я уж истомилась, ожидая. А если, думаю, снова какая беда?

В порыве внезапной нежности Пашка прижался лицом к груди матери и засмеялся тихим, счастливым смехом. Он и сам не понимал, что с ним, тыкался в знакомо пахнувшее платье, обнимал руками худенькие плечи матери...

За ужином, не замечая, что ест, он рассказывал о Spartаке и его товарищах. Как, вырвавшись из неволи, они дрались за свободу до последнего вздоха, до последнего колыхания сердца... Но когда подошла пора рассказывать о распятых, он перестал есть и умолк.

— Ну и что, сынка? — шепотом спросила мать. — Победили они супостатов?

— Не, мам! — глухо ответил Пашка, поднимая глаза, полные слёз. — Не победили... — Помолчал, вслушиваясь в дыхание отца за пологом, в привычное поскрипывание сверчка. — Многих убили. А кого взяли живьём, распяли. Знаешь, крест лежит на земле, на него повалят, придавят, приколотят гвоздями, а уж потом крест в яму торчком закапывают. Они висят на крестах по сторонам дороги! По дороге победители скачут и ржут, как Николка Обмойкин ржал...

— Почему Николка? — удивилась мать. — При чём он?..

— А-а! Ну, вспомни: когда повестку Андрюхе принесли... — Не договорив, Пашка снова ткнулся лицом в грудь матери. Но на этот раз не смеялся, а плакал.

Мать сидела у Пашкиной кровати, пока он не успокоился. Он так и уснул, чувствуя на лбу материнскую ладонь.

С этого вечера Пашка ни разу не пропустил Люсиного кружка. И день ото дня и Шиповник, и Пашкины мать с отцом, да и все другие подмечали растущую перемену в мальчишке. Он посерёёзнел, повзрослел, будто кто-то сразу, наотмашь отрубил беспечальную и, не глядя на нужду, весёлую пору его детства.

Иногда Пашке и Шиповнику с её неизменным спутником Алешей Столяровым оказывалось по пути. Пашка ценил такие минуты, как самые дорогие подарки. Люсик стала давать ему книги — и про Spartака, и про Стеньку Разина и Пугачева, и про Овода. Больше других прочитанных в эту зиму книг Пашке понравилась «Мать» Горького — в ней всё было такое понятное, близкое. Дома он читал её вслух не только своим, а и всем, кто хотел её слушать. В «Матери» так правдиво описывались тяжкий труд и нужда рабочих!

Ещё Пашке мечталось: а может, и их Андрюха станет таким же бесстрашным, каким был Павел Власов? Может, и он сам, Пашка, вырастет

таким?!

Возвращая книгу Люсик, он сказал:

– Помните, Шиповник-джан, вы говорили про людей-колокола? И про книжки тоже... Вот эта и похожа на колокол! Будто набатом на пожар зовёт! Но не знаешь, в какой стороне горит...

– Скоро узнаешь, Павлик, – серьёзно ответила Люсик.

Помолчав, Пашка добавил, глядя в сторону:

– А вы, Люсик, сами как колокол! Ваше имя словно звенит: Лю-сик-джан, джан!

И убежал, не ожидая ответа.

Люсик смотрела вслед мальчишке с неожиданной и необъяснимой печалью...

16. ПАШКА И «ПРИНЦЕССА» ТАНЬКА

Письма от Андрея приходили довольно часто – и в окопах он не забывал данного матери обещания. Но читать в письмах было почти нечего: чёрные вымарки оставляли нетронутыми лишь те места, где передавались приветы, поклоны и добрые пожелания. Большая часть строчек, накарябанных карандашом, была старательно зачёркнута. На каждой странице штампы: «Военной цензурой проверено». Где, с какими успехами или неудачами идут бои, как живётся солдатам, кто ранен и кто убит, понять невозможно.

Но мать и над этими листочками плакала, украдкой целовала их: слава богу, жив! Она заставляла Пашку перечитывать письма десятки раз, пока не запоминала наизусть. Хранила за иконами, как будто близость писем к потемневшим лицам могла уберечь её «первенского» от раны и смерти.

Жизнь Пашки в эти осенние и зимние месяцы катилась по-новому, но уже обжитому, обкатанному кругу. Днём – завод, потом домашние заботы в помощь мамке, по ночам – беспросыпный от усталости сон. Раз в неделю – «красная» комната, кружок Люсик. Занятия кружка стали для Пашки настоящими праздниками, окошком в мир, о котором он раньше ничего не знал.

Но о чём бы девушка ни рассказывала ребятам, к концу урока разговор неизбежно перекидывался на войну. Зачем она? Кому нужна? Когда кончится? За что погибают тысячи и тысячи людей? Было бы понятно, если бы русских и немецких солдат столкнула в боях вражда, ненависть, но ведь они даже не знают друг друга!

Люсик отвечала на вопросы просто, мальчишки понимали её с полуслова. Иногда она приносila газеты и журналы. Из журналов чаще всего «Ниву» со множеством иллюстраций. В ней изображались лихие кавалерийские атаки, высочайшие смотры, госпитали, где важные, расфуфыренные дамы раздавали раненым иконки и портреты царевича Алексея.

Пашка пристально разглядывал на страницах «Нивы» такие же орудия, какие на Михельсоне откатывали к складам от сборочных цехов. Там были и пушки, и мортиры, и «гаубицы», как выражался молодой Обмойкин. Пашка всматривался и спрашивал себя: «Может, что-то для этого вот орудия ковали мы с батей? И как раз оно и убивало немецких кузнецов?»

Неясное сознание вины перед безымянными мертвецами беспокоило

Пашку.

— А если бы, Шиповник, мы отказались делать такие убойные железки? спросил он однажды.

Люсик вздохнула.

— Ты правильно ставишь вопрос, Павлик. На многих заводах Питера, Москвы, Тулы и других городов тысячи рабочих отказываются работать, бастуют. Но ведь власть и сила сейчас в руках царя и его генералов. Они хотят продолжать войну, которая приносит им огромные барыши. На бастующие заводы направляются жандармские роты, казачьи сотни, юнкера. Зачинщиков хватают, сажают в тюрьмы, отправляют на каторгу, расстреливают... Многие же не понимают необходимости борьбы, стараются оставаться в стороне. Дескать, моя хата с краю... Но, вероятно, ждать осталось недолго, по всем признакам — наступает предел терпению народа...

— А за это «недолго» сколько ещё убют! — нахмурился Пашка, подумав об Андрее. — Ведь пули на фронте, должно быть, летают без конца и счета...

С затаённой жалостью вглядывался он в окаймлённые траурной рамкой страницы «Нивы» с портретиками «павших на поле брани и славы». Оттуда весело и беззаботно смотрели те, кого уже нет в живых, кто похоронен в братских могилах на чужой, далёкой земле. Особенно горестно было смотреть на молоденькие, юные лица. Таким жить бы да жить! У каждого, поди-ка, остались дома матери, сёстры, невесты... И тут в Пашкиной памяти обязательно возникало мамкино лицо и блестевшие слезами глаза Анютки, её летящая над булыжной мостовой фигурка, раздуваемые ветром соломенные волосы...

Жив ли в настоящую минуту Андрей или погиб, Пашка, конечно, не мог знать, но одно он знал твердо: портрета брата в «Ниве» не увидит никогда.

Николай Обмойкин не раз объяснял мальчишкам, что портреты рядовых убитых журнал не печатает: на всех не хватит места. «Вот ежели бы я, сказал Николай, — пал храброй смертью, мой патрет обязательно отпечатали бы, как я есть кавалер. И не где-нибудь, а вот в эдакой странице, в ленте георгиевской!»

За осень Пашка втянулся в работу, раздался в плечах. Иногда за семейным столом, будто и ненароком, но с тайной гордостью клал на kleenку обожженные у горна кулаки. На улицах со спокойным презрением оглядывал встречных франтиков, гимназистов и реалишек. И на лице его словно написано было: попробуй, тронь! Однажды Степка, младший наследничек Ершикова, вышагивавший по Серпуховской, попытался было не уступить дорогу, но Пашка попёр на него грудью с такой решительностью, что ершиновский сынок поспешно шагнул в сторону. Притворился, будто увидел в витрине что-то занимательное. Ну и притворяйся, шут с тобой!

И ещё подметил Пашка, и не один раз: то при случайных встречах на улице, то из окон купеческого этажа, из-за белых кисейных занавесок, ловил на себе любопытствующий, но уже не насмешливый взгляд «принцессы» Таньки. Он делал вид, что не замечает приветных взглядов, отворачивался и шагал дальше, настынивая что-нибудь любимое: то «крутится-вертится», то про Ермака или «Варяга». Сам всё же подмечал: ишь вырядилась в будний день, будто в великий праздник, на рождество или пасху! Чего ради?

Но как-то осенью, столкнувшись с Пашкой неподалёку от дома, Танька, осторожно глянув по сторонам, остановила его. Сначала посмотрела прямо в лицо, но тут же отверла взгляд.

– Ты за что на меня злишься, Пашка? – В улыбке не было ни насмешки, ни прежнего зазнайства. – Ну за что?

Растерявшись от неожиданного вопроса, Пашка молчал.

– Я тебя, что ли, обидела чем? – продолжала Танька. – Вот вспомни-ка: который год вы у нас квартируете, а я разве хоть одно плохое слово тебе сказала? Или, может, считаешь, я уродка? Ну, посмотри-ка!

И закатила кукольные глаза к небу.

– Да не-е-ет, – протянул Пашка. – А об чём нам с тобой разговаривать?

– Про что хочешь, кузнецик! Ты вот собак любишь. Самой шелудивой псине посвистишь да погладишь. Иногда кусок хлеба от своего ломтя отщипнешь в кармане и на ладоньке протянешь, вон как нашему Лопуху. Так и я, бывает, ему куриную косточку выбрасываю!

Пашка смутился.

– Или вот, скажем, ты книжки любишь, – продолжала Танька. – Идёшь и несешь какую-то истрёпанную, будто драгоценность. Даже смешно: этак дьякон в церкви чашу со святыми дарами носит... У меня знаешь какие книжки? В золотых да серебряных переплетах!

– Про что? – оживился Пашка.

– Интересные – прямо и сказать невозможно! Хоть про королеву Марго или про трёх мушкетёров...

– А это кто такие?

– Короля хранители! Такие смелые да дерзкие! Чуть что – вытаскивают шпаги и сразу в бой на обидчика. Красивые все, словно из витрины магазинной. Один на картинке в книжке кудрявый, на вашего Андрюшку похож!

Похвала красоте брата обрадовала Пашку, но он презрительно махнул рукой.

– Мне книжки про тех, кто королей да царей охраняет, не нужны! У меня книжка про Овода была, вот это – да! Не знаешь?

– И не слыхала вовсе. – Танька покачала головой. – А то у меня ещё книжки Лидии Чарской и Клавдии Лукашевич есть! Читаю, а слёзы сами так и катятся, так и катятся. Хочешь дам?

– Папаня тебе за это уши не оборвёт? – ухмыльнулся Пашка. – Он на меня злой!

– Папаня не имеют к моим книжкам касательства. Книги мои дареные! Вот выйдешь во двор Лопуха кормить, хочешь вынесу?

– А если увидят?

– Так ты же его кормишь, кузнецик, когда у нас дома никого нет! засмеялась Танька. – Что? Не так? Да не красней ты, как девчонка...

Пашка не успел ответить: из-за угла показалась Танькина мамаша. Видно, шла с базара, тащила в корзине всякую снедь.

– О чём вы тут беседы разводите?! – строго прикрикнула она, подходя и подозрительно оглядывая Пашку. – Тебе что, Татьяна, разговаривать больше не

с кем?!

«Глаза-то сверлющие какие, словно у бабы-яги!» – подумал Пашка.

– А мы ничего, маманя, – озорно прищурилась Танька. – Пашка спросонья на ногу мне наступил, туфлю испачкал. Я и велела ему картузом обмахнуть. Глядите, маманя, вовсе туфелька пыльная! Ровно я Золушка какая!

Пашка круто повернулся и зашагал к дому. Вот продажница, его же и осрамила!..

Мать и дочка до самого крыльца топотали следом, и Пашка всю дорогу слышал то въедливый голос матери, то кокетливые смешки «принцессы».

– Мне сегодня мадам пятёрку по поведению выставила! – похвалялась Танька. – Уж больно понравился ей полушалок, что вы на прошлые экзамены подарили...

17. САМАЯ ДОЛГАЯ ПАШКИНА ЗИМА

Наступила зима, метельная, выюжная. Она не сулила Пашке никаких перемен.

Будя рабочее Замоскворечье, так же ревели по утрам неумолимые заводские гудки, так же бухали, сотрясая землю, паровые молоты, так же ярилось пламя в топках заводских печей и кузнечных горнах. И так же вертелись, сверкая сталью, колёса бесчисленных «зингерок» на мамкиной Голутвинке.

А жизнь становилась день ото дня труднее и голоднее.

Пашка посерёзнул, перестал по-ребячыи кичиться своим званием и ремеслом: привычное дело! Шуровал у горна, наловчился не хуже других. Андреич поглядывал на сына и с нескрываемой гордостью и с похвалой: «Молодец, Павлуха, так и держи!»

Огорчало одно. Письма от Андрея приходили всё реже и реже, а потом их и вовсе не стало. Пашка с жалостью наблюдал, как хиреет и чахнет мать. Возвращаясь с фабрики, она торопилась из последних сил и, ещё не захлопнув дверь, кидала на Пашку спрашивающий взгляд. Когда в ответ на её немой вопрос он беспомощно пожимал плечами, мать сразу сникала, будто внутри у неё убирали какие-то подпорки.

Пашка утешал мамку, как умел, как мог. Дескать, дело совсем не в Андрюхе, он по-прежнему любит и помнит нас, а, наверно, почта из-за военной разрухи работает всё хуже и хуже.

Когда Пашке стало невмоготу смотреть в горестные, тоскующие мамкины глаза, ему пришло в голову: а если самому сочинить письмо, подделать Андрюхин почерк? Глядишь, мать и обрадуется, воспрянет духом.

Но без одобрения старших Пашка на такой обман не отважился и долго обдумывал: с кем посоветоваться? Разве с Шиповником, с кем же ещё? Вечером он отправился в студенческую столовку. На его счастье, Люсик сидела в «красной», выписывала что-то в тетрадку из кучи книг.

Выслушав, задумалась. Глаза стали темнее и печальнее.

Пашка молча ждал.

Люсик с видимым усилием провела ладонью по лбу, отгоняя раздумья, грустно улыбнулась.

— Извини, Павлик! Мне вдруг вспомнилась моя учительница Елена Дмитриевна. Сейчас она в Сибири, в ссылке, я говорила тебе. Так вот. Я и спрашиваю себя: что бы ответила тебе она? Елена Дмитриевна человек правдивый, честный и сильной души. Мне даже почудилось сейчас, что я слышу её голос — Люсик чуть помолчала. — Да, ложь всегда отвратительна, Павлик, но она особенно непростительна, если лжёшь близкому, дорогому человеку. Сказать неправду во имя дела можно, да! Иногда даже необходимо солгать врагу, дать ложные показания на следствии, на допросе, ради спасения товарищей... Но сказать неправду майрик... — Люсик покачала головой. — Нет! Нет и нет!

Помолчав, пошмыгав носом, Пашка добавил:

— Вдруг она, Шиповник-джан, помертв с тоски, а? Уж как устает на фабрике! Ей бы спать, а она ворочается и ворочается. Когда батя спит, она тихонько выскользнет из-за полога — и на колени в угол перед иконами. Поклоны бьёт. И плачет, плачет без удержу...

— Ну, если до такой крайности дошло, Павлик, — решила Люсик, действительно, надо вмешаться. Но писать письмо от Андрея... Нет, в этом было бы что-то чрезвычайно нехорошее!.. Как ты думаешь, Павлик, если я приду к вам, поговорю с ней? Успокоит это её хоть немного?

Павлик ответил не сразу.

— Всё может быть, — согласился наконец он. — Очень она вас, Люсик-джан, уважает. Мне и самому не хочется мамке врать. А что придумать, не знаю.

— Тогда договоримся так, Павлик. Я сегодня же к вам приду. Хорошо?

— Спасибо, Люсик-джан. Вы добрая, Люсик-джан...

Непонятно отчего Пашке захотелось заплакать, как на проводах брата. Чтобы спрятать заслезившиеся глаза, торопливо натянул кепчинку.

— Погоди, Павлик, — остановила его Люсик. — Я тебя давно хотела попросить об одном деле.

— Все, что велите, Люсик-джан!

Девушка встала, подошла к двери в большой зал столовой. Там никого не было, кроме тёти Даши. Мурлыча песенку, стряпуха протирала полотенцем kleenki на столах.

Пашка терпеливо ждал. Давно поверил: если Шиповник что делает, значит, так надо!

Девушка вернулась, села не напротив Пашки, а рядом, касаясь коленом его колена. Спросила негромко:

— Ты завтра, в воскресенье, свободен?

— Да. Пока в малолетках по табели значусь, дают отдых!

— Вот и славно! — Словно оценивая, Люсик осмотрела Пашку.

— Ну? — не вытерпел он.

— Ты не побоишься пойти в тюрьму?

— За что? — вскинулся Пашка. — Я украл, что ли, чего?

— Да не за что, милый, а зачем! — засмеялась Люсик. — Ведь в тюрьме не только воры и жулики, а и те, кого за политику... Понимаешь?

— Само собой!

– Сейчас в Бутырках сидит один студент из нашего, Коммерческого. В воскресенье там свидания и принимают арестантам передачи. Но из институтских никто пойти не может, нельзя. Потом объясню тебе, почему... Пойдёшь?

– А пустят меня?

– Должны пустить, Павлик. Ты скажешь: племянник Константина Островитянова, принес передачу. И свидания требуй тоже! Обычно в комнате свиданий много людей...

– А как я его узнаю? – удивился Пашка.

– Очень просто! Он высокий, красивый, на нем студенческий мундирчик, как на Алёше. И ещё... у него пенсне, вот такое же... Ты увидишь его среди арестантов, подойдёшь и скажёшь: «Шиповник». И он поймёт, кто тебя послал. Понимаешь?

– Ага.

– Передачу я приготовила! Надзиратели в тюрьме её посмотрят, проверят. В ней ничего запрещённого нет, не бойся.

– Да вы что, Люсик-джан! – обиделся Пашка. – Да разве я...

– Не сердись, Павлик! – перебила девушка. – Я просто хочу, чтобы ты все понял!

– Я и так понимаю! Не юродивый с паперти!

– Знаю, знаю, милый! Когда будешь разговаривать с Костей, шепни ему тихонько: «Страница двадцать шесть и дальше!» Двадцать шесть. Запомнишь?

– Ну!

– Передашь, что дядя всё ещё болеет, но доктора обещают скоро вылечить. И ещё: письмо родственникам удалось отправить...

– Про дядю и про письмо запомнил! Тут памяти не больно-то много надо!

– Вот и славно! Так завтра за передачей зайди пораньше, и не сюда, а ко мне домой. Знаешь где?

– На Большой Дворянской?

– Да, там. Снимаем комнату с подружкой. Договорились? Но язык держи за зубами. Никому ни слова. Вечером я к вам зайду, поговорю с майриком.

– Спасибо, Люсик-джан!

Свое слово Люсик сдержала.

Никого посторонних у Андреевых в тот вечер не было, одна Люсик. По-семейному сидели за самоваром, пили чай с принесёнными девушкой конфетами и печеньем, говорили о жизни.

Люсик рассказывала о своём детстве, о сестрах, о матери, об учительнице Елене Дмитриевне, о разных смешных случаях, которые наблюдала в родном городе.

Пашка поражался, глядя на мамку. Будто ничего особенного Шиповник не говорила, а лицо у мамки ожибало, светлело. Только под самый конец Люсик заговорила о войне.

– То, что от Андрюши нет писем, пусть не беспокоит вас, дорогая майрик. Почта работает отвратительно! Да и большую часть солдатских писем царская цензура сотнями мешков, не читая, сжигает, потому что в них ничего, кроме

жалоб, нет... Да и на фронте сейчас зтишье, солдаты то сидят в окопах, то братаются с немцами. Война-то всем надоела, майрик! Не беспокойтесь вы за Андрюшу, не терзайте сердце... Он скоро вернётся, и жизнь у нас вообще закрутится совсем по-иному!

Когда Люсик ушла, мамка долго сидела с какой-то светлой печалью на лице, потом сказала Пашке:

— Вот ведь как удивительно, Пашуня! Будто и ничего нового Люсенька не сказала, а добрый след оставила. И боль за Андрюшу словно бы отступила... Так-то хорошо согрела она мне душу...

В воскресенье Пашка на тринадцатом году жизни побывал в Бутырской тюрьме. Заходить в квартиру Люсик ему не пришлось — девушка караулила у окна и сама с узелком в руке выбежала навстречу.

Раньше при словах «тюремная передача» Пашке представлялось невесть что. Оказалось, пустяк, ничего особенного. В ситцевый платочек завязана картонная коробка. В ней две французские булки, полкаравая хлеба, фунта три колбасы, с десяток пачек папирос «Цыганка Аза». И ещё книга.

По дороге к тюрьме Пашка заглянул в коробку — Люсик разрешила. И правда: хлеб, папиросы, колбаса. Развернул книгу. Сочинение Тургенева. Называется «Дым». Заглянул на двадцать шестую страницу. Тоже ничего приметного, страница как страница. Про любовь что-то написано.

Передачу надзиратели взяли без всяких вопросов, как и у других. Но потом на большом низком столе посреди комнаты ворочали и так, и эдак, булки и каравай насквозь проткнули ножом, книжку «Дым» перелистали по листочку, даже переплет ножом подпарывали. Но Шиповник правильно предупредила: ничего запрещённого, — тюремщики и пропустили передачу.

Комната свиданий произвела на Пашку неприятное впечатление. Перегороженная снизу доверху железными прутьями, грязная, с низким потолком. С одной стороны решётки — арестанты, с другой — толпа посетителей. Больше — девчата и женщины. Жалобы, причитания, слёзы.

Костю Пашка узнал сразу. В накинутой на плечи студенческой тужурке, весёлый, будто и не в тюрьме, а на празднике каком. Глаза за стёклами пенсне дерзкие и острые, как у Андрюхи или у Алёши Столярова.

Пашка пробрался вдоль решётки поближе к Косте — тот выискивал кого-то взглядом в толпе. Но уж конечно, не Пашку. Обождав, всмотревшись, Пашка тихонько шепнул:

— Шиповник...

Костя тут же скосил на него весёлые, с искорками, глаза. Просунул руку сквозь железные прутья, стащил с Пашки кепчинку, растрепал волосы, будто знал мальчишку давным-давно.

— Ну, здоров, здоров, сорванец! Как там у нас? Какие новости?

Пашка сказал Косте всё, что было велено: и про дядю, и про доктора, и про письмо к родственникам, а под конец про двадцать шестую страницу.

Растерзанную передачу надзиратели уже отдали Косте, он бережно и ласково прижимал её под тужуркой к боку. Достал из разорванной коробки книгу, погладил переплёт.

— За книжку особое спасибо, братишко! А то — тоска зеленая! Кроме Библии да Нового завета, читать здесь ничего не дают. Да и из тех святых книжек половина на курево безбожниками вырвана! — Костя прижался лицом к железным прутьям, его кучерявая бородка оказалась совсем близко от Пашки — смотрели глаза в глаза. — Зовут-то как?

— Меня? Пашка.

Костя откинулся от решётки и громко засмеялся непонятно чему.

— Ах, Павлушка, Павлушка! Соскучился я по тебе, по родному дому! Удивляешься, чего смеюсь? Про тёзку твоего вспомнил, про Пашку Власова. Не слышал о таком?

Лицо с курчавой, ни разу не бритой бородкой опять почти коснулось лица мальчишки.

Он наморщился, вспоминая всех Пашек, которых знал.

— Власов? — переспросил, держась обеими руками за железные прутья. Не тот ли, который в «Матери» Горького, а? Так он же не Пашка, а Павел!

— А такие Пашки, как ты, вырастают и становятся Павлами! Играли ты на улице в бабки, был Пашка, вырастешь и станешь Павлом!

— Вон ты куда завернул! — засмеялся Пашка и сам не заметил, что назвал Костю на «ты».

Кругом кричали и галтели каждый о своём. В базарном этом гомоне разговора Кости и Пашки никто услышать не мог. Надзиратели глазастыми истуканами стояли по краям решетки. Следили, чтоб не передали из рук в руки что запрещённое. Оглушённый говором, Пашка прослушал, что сказал Костя.

— Повторите, Костя! — попросил он.

— А-а! Ворон ушами ловишь, вихрастый?! Я говорю, передай сестрёнке, чтобы в следующей передаче хоть горсточку сушёных ягод шиповника прислала. Скажи: по шиповнику соскучился. Кормят здесь нашего брата отнюдь не по-царски, да и клопы одолевают!

— Клопы?!

— Ну да! Знаешь, есть в каждой камере такие двуногие клопики?! И усатые бывают, и бритые. Уразумел, Пашенька?

— Насчет двуногих? Понятное дело! Всё передам, Костя, как сказано.

— Скажи ещё...

Но зычный голос скомандовал с порога:

— Сви-идание а-акончено! О-чистить па-амещению! Арестанты — по камерам!

— Ну, до следующего воскресенья, будущий Власов! — засмеялся Костя, уходя.

Люсик осталась довольна походом Пашки, поручение он выполнил — лучше некуда!

Она ждала его в «красной». Тихо и как-то застенчиво и странно смеялась, когда Пашка пересказывал ей Костины шуточки про сушёный шиповник. Нежно, совсем как мамка, погладила ладошкой не стриженные с весны Пашкины вихры.

— Костя прав, Павлик. Из таких, как ты, и вырастают Павлы Власовы и

Петры Алексеевы.

— Какие Алексеевы?! — удивился Пашка. — Не знаю таких!

— Он тоже простой рабочий. Революционер. Подробнее я расскажу на кружке... Царским судьям он бросил прямо в лицо: «И ярмо деспотизма, окружённое солдатскими штыками, разлетится в прах!» — Люсик вздохнула, полистала лежавшую перед ней книгу.

Пашка не мог понять, уходить ему или нет. Осторожно спросил:

— Вы про что думаете, Люсик-джан? Я что-нибудь не так сделал?

Она снова погладила его по голове.

— Да нет, все в порядке, дружок!.. Вчерашнее вспомнила. Неожиданно Алёша вечером затащил меня в «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке. Там молодые поэты читали свои и чужие стихи. И уж очень врезалось мне в память одно стихотворение про войну, про раненых. Такие стихи — будто калёным железом их в мозгу выжгли. Ты вот про Костю, про бутырские порядки рассказываешь, а я эти стихи вспоминаю...

Она неожиданно встала и совсем не своим голосом, а будто подражая кому-то, громко и сильно отчеканила:

— «А меня из пятого вышибли класса и пошли швырять в московские тюрьмы!» Ох, Павлик, и позавидовала я тому, кто может сочинить такое. Если бы я умела такие огненные слова придумывать!

Помолчали.

— А ещё? — спросил Пашка.

— Еще про войну про нынешнюю. Подожди, подожди, Павлик, дай вспомнить...

Снова, словно глядя остановившимся взглядом сквозь стены, медленно, вслушиваясь в слова, прочитала:

— «Пятый день в простреленной голове поезд выкручивает за зигзагом зигзаг. В гниющем вагоне на сорок человек — четыре ноги!»

Пашка тоже встал, лицо у него болезненно скривилось.

— Как? Как? — шёпотом переспросил он.

— Ну, понимаешь: санитарный поезд идет с фронта в тыл. Гниющий вагон. В нем сорок человек — четыре ноги!

— Это, выходит, ноги у двоих остались? Или у четверых по одной? А другие как же? — Пашка уже не говорил, а кричал: видел в этом вагоне своего брата. — Да разве можно писать про такое... страшное??!

— Можно и нужно, Павлик! — твёрдо, хотя и с горечью, ответила Люсик.

— В гниющем вагоне... на сорок солдат... четыре ноги, — снова переходя на шепот, повторил Пашка. И опять закричал, задыхаясь: Остальные все без ног? Да?! А он, сам-то, который писал, тоже безногий?

— Не знаю, Павлик.

Глянув в побледневшее лицо Пашки, Люсик спохватилась.

— Успокойся, Павлик. Тяжёлая это правда, а нужно, чтобы всем стало от нее страшно, от этой подлой, проклятой войны! — сказала Люсик, поглаживая дрожавшую руку Пашки. — Иначе она так и будет продолжаться без конца!

— Как его фамилия? Ну, который писал?! — спросил Пашка.

— Не знаю, Пашенька, не запомнила! Его самого в кафе не было, читал его друг...

Кроме Люсиного кружка, еще одно скрашивало тяготы Пашкиной жизни в ту зиму. Его дружба с Лопухом продолжалась, но теперь при их встречах нередко присутствовала «принцесса» Танька. И не понять было, намеренно ли она подкарауливалась у окна Пашкино появление во дворе или получалось случайно.

Выходил Пашка к Лопуху либо в предрассветную рань, либо когда на хозяйствском этаже водворялась тишина. Тихо там? Спокойно? Значит, можно идти.

Лопух, дурачина, никак не мог уразуметь, какую кару может на себя навлечь. Стоило Пашке скрипнуть дверью, как пёс с радостным визгом бросался под ноги, на грудь, а если был на цепи, пытался порвать её, поднимался на дыбы. Сначала Пашка, будто за делом, шёл к дровяному сараю и лишь потом, убедившись, что у Ершиновых всё спокойно, принимался беседовать с лопоухим другом. Благодарно поглядывая на мальчишку, пёс съедал принесённое, а поев, ластился и всячески выражал свои чувства.

Вот в такие-то минуты во дворе частенько и появлялась незваная «принцесса». С осени оконные рамы заколочены и замазаны наглухо, и Танька без стука, осторожненько выходила на лестницу в накинутой шубейке и шали. Не раз бывало, что Пашка оглядывался на шорох шагов уже тогда, когда «принцесса» стояла рядом.

— Все милуешься-целуешься с блохастым? — насмешливо щурилась Танька, запахивая на груди пушистый оренбургский полушалок. Жестом успокаивала Пашку: — Да не пялься в окошки заячьими глазами! Папаня за товаром на склады уехали. — Опять лукаво усмехалась: — А ещё про витязей да героев книжки читаешь!

Ну где ей понять, что не за себя боится Пашка! Ему что? Шиповник здорово настращала тогда Семёна Ершина! Пашку тронуть не посмеет. А вот беззащитной, безответной псине наказание какое-нибудь придумать может.

Хотя, пожалуй, Танька кое-что слышала от отца о Красном Кресте, но нравилось ей дразнить Пашку. Ведь и сама не раз выносила собаке то куриные да гусиные косточки, то пирога кусок.

Стояла, щурилась на Пашку, поджимала пухлые губки.

— Что ты, Пашка, на меня злишься? Я ведь тебе, как обещала, новую книжку вынесла. Про девочку бедную, про злую её мачеху. На вот, почитай! Вдруг и сам добрей станешь...

Но Танькины книжки не нравились Пашке, слюнявые какие-то! Или просто, какие добреные бывают богачи! Пашка, читая их, вспоминал нищие рабочие «спальни» Голутвинской мануфактуры, куда раза два заходил с мамкой к её больным товаркам. И никак не мог поверить, что богатые могут быть добрыми. Враньё! Возвращая Таньке очередную, бросал сердито:

— Брехня в твоих книжках! Ты погляди кругом, как пухнут да дохнут с голоду! Нет на свете добрых богатеев!

Танька надувала губы.

— А вот есть! Маманя, как в церковь идём, каждой нищенке пятак, а то и гривенник подает. Папаня на богадельню целых сто рублей пожертвовали! Это не доброта, что ли? Молчишь? Правды боишься? Про зло твердишь потому, что сам злой... Ну что я тебе сделала?

Ответить нечего. Ведь и в самом деле красавица девчонка никогда Пашке не причиняла зла. А могла бы, если б захотела! И Лопуху досталось бы!

Пашкины глаза против воли тянуло полюбоваться на Танькины голубые, словно нарисованные глаза. Голубее даже, чем у Анютки!

Танька поворачивалась то так, то эдак, будто выхвалялась, спрашивая без слов: «Ну, красивая я? Посмей скажи: нет!»

Вернувшись со двора, если никого не было дома, Пашка иногда мимоходом заглядывал в зеркальце. И чего девчонка к нему липнет? Вихры с весны не стриженные, рубашка и куртка в заплатах. Чего ей надо? Шут её разберет!

18. «А ЗДЕСЬ, ГАВРОШ, ТОЖЕ ФРОНТ!»

Да, жизнь не останавливалась. Оборонные заводы, по выражению Андреича, работали на всю железку. Сотни орудий всевозможного образца и калибра — пулемёты, мортиры, гаубицы, — десятки тысяч снарядов ежедневно вывозились из сборочных цехов на военные склады, а оттуда на вокзалы. И потом дальше — на фронт.

Шел третий год мировой войны.

Непосильный труд и нужда доводили рабочих до последней крайности. То на одном, то на другом заводе стихийно вспыхивали забастовки. Но обычно они кончались тем, что в бастующие цеха являлись жандармские и полицейские наряды, а то и гарнизонные части, по доносам филеров хватали тех, кто затевал «смуту», — они исчезали неведомо куда. И колесо жизни продолжало катиться по прежним рельсам.

В ту зиму Пашка мало бывал дома. Прибежав со смены, наскоро перекусив, спешил в столовку Коммерческого, где скрыто от посторонних глаз кипела тайная жизнь.

После посещения Бутырок и свидания с Костей Пашка всё чаще стал выполнять различные поручения Люсик.

— Я вижу, что тебе можно полностью доверять, мой милый Гаврош! — как-то сказала она.

Сначала Пашка обиделся: что за новая непонятная дана ему кличка? Но Люсик принесла роман Гюго, где рассказано о маленьком парижском революционере. Пашка прочитал книгу взахлеб и стал гордиться, что его окрестили именем французского героя.

В канун второго январского воскресенья в цехах Михельсона было тревожно. Мастера смотрели подозрительно, придириались к любому пустяку. Чаще сновали по цехам посыльные из конторы и военные надсмотрщики.

Пашка знал, в чём причина: завтра годовщина Кровавого воскресенья. Люсик рассказала на кружке: двенадцать лет назад, в девятьсот пятом, в Питере, перед Зимним дворцом, по приказу царя были убиты сотни ни в чём не повинных людей, среди них — женщины и дети. И вчера подпольщики

Замоскворечья решили: невзирая ни на какие запреты, в это памятное воскресенье не работать.

«Забастовка и демонстрация! Помянем добрым словом безвинно павших!» – так передавали от горна к горну, от станка к станку, из цеха в цех.

Вечером накануне, когда Пашка прибежал к столовке Коммерческого, студенты уже поужинали, но из-за прикрытых изнутри окон пробивался свет. Однако в оставшиеся щёлки сквозь узорную морозную наледь, похожую на стеклянные папоротники, не разглядеть ничего.

Пашка условно постучал в окошко «красной», дверь открыла Люсик. В одной руке – кисть, с которой падали на пол капли красной краски.

– Гаврош! – обрадовалась она. – Как раз вовремя! Проходи!

Пашка осмотрелся.

В большом зале столики и стулья сдвинуты к стенам, а на полу разостланы белые и кумачовые полотнища, разложены листы фанеры. Алёша Столяров и трое студентов, стоя на коленях и засучив рукава, орудуют кистями.

– К демонстрации? – спросил Пашка Люсик.

– Да, – кивнула она. – Но у нас, Павлик, кончаются краски! Магазины закрыты. А нужно побольше написать! Вот Алёша говорит, что где-то поблизости живет художник, который малюет портреты и картины на продажу. Может, у него можно купить красок? Ты, случайно, не знаешь, где его мастерская?

Пашка вспомнил флигелёк во дворе, куда он помог Зеркалову донести портновский манекен.

– Знаю.

Алёша оглянулся на Пашку.

– Рабочему классу привет!

На фанерном щите у ног Алёши Пашка прочитал две красные строки:

«Мы никогда не забудем вас, братья!»

Он повернулся к Люсик.

– Попробую!

Пашка снова обвёл взглядом столовую. Окна занавешены скатёрками и клеёнками – должно быть, тётя Даша старалась. Вспомнил парней с гармошкой на углу Серпуховской. Остановили его, но, присмотревшись, пропустили. Караулят, наверно, чтобы не подкрались к столовке чужие. И правильно, иначе нельзя!

– Только знаете, Люсик, Зеркалов в такое время вряд ли дома. Я забегу к Гдальке, он у художника в помощниках, краски растирает и всё прочее. С ним вместе и справим дело. Ему Зеркалов не откажет.

– Это ты хорошо придумал, Павлик! Но подожди минутку, – остановила Пашку девушка, доставая портмоне. – Возьми деньги, чтобы художник потом мог купить себе другие краски. Нельзя же взять их даром.

На счастье Пашки, Гдалька оказался дома и, узнав, зачем тому понадобились краски, обрадовался, что может помочь.

– Однако, Паша, – озабоченно сказал он по дороге, – Зеркалова сейчас наверняка нет дома. Либо у Полякова, либо во «Франции» сидит, с кем-нибудь

о художестве рассуждает. Давай я загляну туда. И деньги ему там же отдам. Ещё доволен будет!

Так и сделали. Зеркалов, восседавший за любимым столиком в ресторании Полякова, без лишних разговоров разрешил взять краски, не менее охотно схватил рублёвку Люсик.

Побежали к мастерской, в окнах её было темно. Гда́лька знал, конечно, где художник прячет ключи от своего жилища, уверенно отпер дверь, подошёл к столу и зажёг лампу. Пока он в заставленном банками углу искал нужные белую и красную – краски, Пашка с любопытством оглядывался.

Кое-как застланная постель, знакомый Пашке манекен с напяленным на него военным мундирем, расставленные вдоль стен царские портреты, подобные которым Пашка не раз видел и в магазине Ершинова, и в прочих торговых заведениях Замоскворечья.

Пока Пашка с неприязнью рассматривал оконченные и неоконченные царские портреты, Гда́лька переставлял банки, перекладывал коробки с тюбиками.

– Ну, долго ты там?

– Вот, четыре банки нашёл!

Через полчаса, отослав Гда́льку домой, Пашка вернулся в столовую. Люсик прямо возликовала и попросила Пашку помочь: время позднее, а надо, чтобы к утру флаги и лозунги подсохли.

Трудно передать радость, с какой мальчишка схватился за кисть! Наконец-то и он может что-то сделать против власти всяких михельсонов и голутвиных.

...Домой он вернулся за полночь. В последнее время мамка привыкла к поздним возвращениям своего последышка, но всё же ждала, чтобы накормить.

Пашка ткнулся губами в щёку матери: за ласку она ему всё простит.

– Ты не серчай, мам! Завтра же демонстрация!

– Господи! – вздохнула мать. – Наши, голутвинские, тоже бастуют и тоже пойдут! Но я, сынонька, очень уж за тебя боюсь. День ото дня ты всё больше становишься на старшего брата похож, взрослеешь не по годам! Когда-нибудь искалечат тебя обмойкины усатые! У них же оружие всякое: и шашки, и пистолеты! Не ходил бы ты завтра, сынонька?! Вдруг стрелять будут?

– Да как же можно, мам?! – возмутился Пашка. – Все заводские выйдут, и батя с ними. И сама со всеми голутвинскими пойдёшь! А я, значит, словно крыса, в нору прятаться стану? Ты подумай, что говоришь! Я хуже других, что ли?.. Трус я, да?!

– Не про то я, Пашенька, золотце моё! Только бога молю: обошлось бы без крови!..

На следующий день с самого утра на Калужскую и Серпуховскую площади, как уговорились накануне, стали собираться рабочие заводов и фабрик Замоскворечья. Пашка убежал из дома раньше, когда мамка и Андреич допивали чай.

– Ты не шибко ершишь, Павел, – наказал сыну старый кузнец. – Помни: доколе Андрюха не вернулся, у матери один помощник – ты!

Но смотрел отец без осуждения, даже с гордостью. Здорово подрос паренёк!

Пробегая с дружками к площади, Пашка не мог не заметить: во дворах полицейского участка и пожарки топчутся жандармы, полицейские и юнкера.

Значит, пронюхали про демонстрацию. Значит, обо всем донесено! Должно быть, и на заводах имеются продажные людишки и доносчики! Как решается человек за копейку своих продавать? Этого Пашка не понимал.

Ишь изготовились! Нетерпеливо бьют подкованные копыта, звякают о камень приклады винтовок. Казачьё в заломленных папах восседает на сытых конях. У эдаких служак лошадей на фронт не забирают: им здесь воевать, не с германцем – с простым народом. Помнишь, Пашка, Люсик вчера сказала: «Здесь, Гаврош, тоже фронт!»

Калужская площадь запруженна людьми, словно в ярмарочный день, только что каруселей да балаганов нет. И те самые плакаты на фанерках и холстах, которые Пашка помогал писать студентам и Люсик, вздымаются над толпой, прибитые на шесты и на палки. Январский ветерок развеивает их над людьми, покрывает изморозью.

Пашка перебегал глазами с лозунга на лозунг, и сердце у него билось с радостью.

«Мы никогда не забудем вас, братья!»

«Позор и проклятье убийцам народа!»

«Мы хотим мира и хлеба!»

«Верните нам мужей и сыновей!»

Рядом колышутся самодельные красные флаги.

С волнением Пашка перечитывал качающиеся над толпой красные и белые надписи. Вон на том фанерном листе как раз он и писал: «Проклятие убийцам!» Здорово! Спасибо Люсик – вот какое дело доверила ему!

На душе – будто кругом пели весенние птицы! – весело и празднично. Хотелось верить, что никакая сила не сможет остановить такую массу людей! Пусть рабочие и работницы пришли без оружия, даже без палок! Вчера по цехам строго-настрого предупредили: не давать властям повода для провокаций. Никакого оружия! Демонстрация – мирная!

На Серпуховской каланче пробило десять. Повинуясь чьей-то команде, собравшиеся стали выстраиваться в шеренги, в колонны.

Издали Пашка нашел глазами своих – отца, дядю Гордея Дунаева, Саню Киреева, других заводских. Увидел и студентов, среди которых была, конечно, и Люсик, её издали видно! Но пристраиваться к студенческой колонне Пашка не посмел, не имел права: какое он имеет к ним отношение? Стал пробираться к заводским.

Михельсоновские, как, впрочем, и с других заводов и фабрик, держались отдельными группами, связанные годами совместной работы. Пашка ещё не успел протолкаться к ним, как, скрытая в толпе, заиграла на все лады-басы гармонь. Сильный, молодой тенор вскинул над головами первые слова песни:

Есть на Волге утёс,
Диким мохом оброс...

Тысячи голосов подхватили её, любимую всеми. А что? Её же власти пока не запретили! Можно. Но в ней тоже и народная сила, и горечь, и боль.

Шествие тронулось к мосту через Москву-реку.

Но появившиеся будто из-под земли конные полицейские и жандармы, солдаты и юнкера не дали рабочим пройти по Серпуховской и четверти версты. Пешие солдаты стеной выстроились поперек улицы, выставив вперед штыки. Конные казаки рысью выскакивали из переулков.

Песня и гармошка стихли. Колонна пошла медленнее, но Пашке она вё равно представлялась могучим потоком, который никакая сила не сможет остановить.

Привстав на цыпочки, он разглядел впереди вздыбленную лошадь полицейского, ее оскаленные зубы. Над фуражкой офицера блеснула сабля.

Тишина. Отчетливо слышны скрип снега под ногами, чириканье воробьев и воркотня голубей на крышах. Даже шелест ближнего к Пашке флага.

В этой словно бы стеклянной тишине громкий голос скомандовал протяжно и требовательно:

– Ра-а-за-ай-ди-ись!.. Не-е-ме-дле-ен-на!

Шедшие впереди замедлили шаг, но всё же шли прямо на выставленные им навстречу солдатские штыки. Скрипел снег.

И тот же голос, зазвучавший на этот раз грубо и злобно, прокричал:

– Ка-а-аму-у ска-а-а-за-ана: ра-аза-айдись!.. Забыли пятый год? Прикажу-у стре-е-лять!

Толпа шла медленно, но неудержимо. Скрипел снег. Чирикали – беспечно и весело – воробы.

– Солдатики! – крикнул впереди кто-то. – Мы же безоружные! Неужто вы...

– Слуша-ать ма-аю ка-а-аман-ду! – перебил командирский голос Го-тovсь... Молодой звонкий тенор, который минуту назад начал песню про Стеньку, прокричал впереди:

– Товарищи! Они не посмеют!

Но тут же, следом, прогремел залп. Правда, никто впереди не упал, видно, солдаты стреляли в воздух. Всё же толпа испуганно и растерянно шарахнулась в стороны, колонна смешалась. Налетевшие из переулков конные казаки давили людей лошадьми, хлестали нагайками, били ножнами шашек. Пашка пытался пробиться туда, где минуту назад заметил среди голутвинских ткачих мамку, но его сбили с ног. Он вскочил, закричал:

– Ма-амка-а!

Налетевший сбоку казак, наклонившись с седла, хлестнул Пашку плетью по лицу. Крича от боли и ненависти, мальчишка бросился в сторону.

Демонстрацию разогнали. Люди прятались по переулкам, по подворотням, по домам. Сквозь тёкшую со лба кровь Пашка видел, как кто-то, сбитый с ног, полз по середине улицы и как потом жандармы тащили его за руки и пинали ногами. Рядом с избитым волочилась по земле гармошка с растянутыми мехами и всхлипывала, словно живая...

Спрятавшись за забором, Пашка видел, как батя уводил к Арсеньевскому

переулку мамку и как небольшой группкой пятались к своему институту студенты. Казачий есаул, спрыгнув с гнедого жеребца, остервенело топтал посередине улицы красный щит с красными буквами: «Мы никогда не забудем вас, братья!»

Часа через два после разгона рабочей демонстрации по той же Большой Серпуховской двигалась другая толпа. На этот раз несли не лозунги, не самодельные флаги, а портрет царя и иконы. Ни жандармы, ни полиция, ни казаки не мешали идущим. Конные не налетали на них с нагайками и шашками.

Впереди степенно вышагивали в пасхальных, сверкающих серебром ризах отец Серафим и священники ближних церквей. Следом за попами шествовали самые именитые купцы Замоскворечья, несли портрет царя, иконы, хоругви, которые выносят из церквей на улицы только во время крестных ходов.

Эта толпа была не так велика, как разогнанная утром. Все в ней хорошо одеты, в шубах и добротных пальто. Попы, купцы, приказчики, извозчики, мясники неторопливо и торжественно пели: «Боже, царя храни!.. Светлый, державный, царствуй на славу!»

Пашка всматривался в краснощекие лица, в дорогие романовские полуушубки и меховые шапки, в сверкающие ризы. Всматривался и чувствовал, как обжигающая сердце злоба растёт в нём, распирает грудь.

В медленно двигавшейся толпе он увидел знакомые лица. Вон вышагивает, вцепившись красными пальцами в раму царского портрета, Семён Ершинов, а по другую сторону – его старший сын, тот самый, который выписывал Пашке в заводской конторе рабочий пропуск. Оба с непокрытыми головами; старший Ершинов необыкновенно напыщен и важен, из разинутого поющего рта столбом валит пар. На улице вчера кто-то говорил, что Ершина перевели в первую гильдию, в которой состоят самые богатей, всякие елисеевы и филипповы.

Узнал Пашка и царский портрет впереди толпы. Да ведь это тот самый, из ершиновской лавки! Вон и его создатель, художник Зеркалов в длиннополом пальто, гордо задрав голову, шагает неподалёку от портрета. И этот с ними!

Толпа двигалась серединой улицы. С тротуаров на неё молча смотрели разогнанные утром рабочие, женщины, просто зеваки. Из чайных и ресторана Полякова, из кофейни «Франция» выбегали поглязеть любопытные.

Недалеко от института Пашка столкнулся на углу с Люсик и её постоянным спутником Столяровым.

Лицо Столярова было мрачным, он угрюмо сказал:

– Н-да, дела...

Пашка зло спросил:

– А вы?! Вы зачем допускаете?! Ведь вас вон как много! Все рабочие с вами.

Алёша ответил серьёзно и твёрдо:

– Погоди немножко, Павел! Не настал час.

И это строгое «Павел» непонятно успокоило Пашку. С Люсик он не сумел перемолвиться и словом, чем-то Шиповник была озабочена и спешила.

К концу дня демонстрация торгащей, попов и извозчиков разошлась по

домам. Иконы и хоругви отнесли в церкви, на их постоянные места. Перед ними затеплились огоньки, зажженные к воскресной вечерне, — словно светлячки мигали за распахнутыми дверями.

В сумерки Пашкины дружки собирались на углу переулка.

— Знаете что, братва? — предложил Пашка. — Взрослые, они пусть как хотят.

А мы... — Он на мгновение задумался. — Где бы ведёрко дёгтя достать?

— Зачем? — поинтересовался Васята Дунаев.

— Сейчас объясню. Где?

Витька Козликов посмотрел с усмешечкой.

— Будто не знаешь? Да в каждом ямском подворье, в каретнике любого чина, у ломовиков, у лихачей. Колёса-то только с дегтя веселее и катятся!.. Кого мазать надумал?

— Ты догадливый! — похвалил Пашка. — Ну и тащи! Мы им устроим помазанника божия! Покропим царские портретики святой водичкой! — Он чуть помолчал. — Знаете, ребята, поглядел я нынче, как они портрет царский несли, будто знамя какое великое! И такая злость закипела, слов нет. — Он повернулся к Козликову. — Ну, Витька, беги, доставай!

Через полчаса, убедившись, что Зеркалов сидит в ресторане Полякова, мальчики подобрались к его жилью.

Васяту Дунаева остались сторожить у ворот. В сенях же Пашка взял у Гдальки лампу и поднял её повыше над головой. И вдруг словно что-то легко и сладко тронуло сердце. Подошел к незастланной летней койке, приблизил лампу к висевшей на стене картинке. На небольшом полотне нежными красками нарисованы будто позолоченные сосны, под ними — синяя, манящая глубь озера, отражающая облака. За соснами — красный и блескучий, как раскалённое железо, шар солнца. Ну как раз то, что довелось Пашке увидеть там, где жила тётя Варя... Что ж, может, и он, Зеркалов, тоже бывал на Брянщине? Или жил там? И мальчишкой бегал по ромашковому полю и гляделся, как когда-то Пашка, в синюю омутную глубину?..

На секунду, не больше, жалость к художнику кольнула сердце, но Пашка отогнал её, отвернулся от рисунка. Нет, не стоит жалости царёв прислужничек!..

Водя лампой из стороны в сторону, Пашка огляделся. Повсюду — на койке, на полу, на стуле и табуретках — краски, кисти, круглые размалёванные дощечки с дыркой. Но и самое главное, ради чего Пашка привёл сюда дружков, вон они! Словно на параде, выстроены вдоль стен царские портреты.

— Ишь сколько их тут! — перебил Пашкины раздумья Витька, качая головой. — На половину купецкого Замоскворечья хватит! И все красавцы, будто женихи на свадьбе! Этот, на подставке, глянь, ребята, и не дорисованный, даже штаны на нём не покрашены!

— Вот мы и поможем малость! — зло крикнул Пашка и поставил перед портретом ведёрко с дёгтем. — Ну, братва, хватай кисти! Эй, Голыш! Ты чего расселся в такой печали, как на поминках? На, держи кисть!

Присевший на табуретке у двери Гдалька виновато, исподлобья покосился на Пашку.

– Не буду, – негромко ответил он.

– То есть как не будешь? – возмутился Витька. – Руки отсохли? Или тебе царя жалко? Иль струсили? За такое дело, боишься, каторга полагается? Эх, ты!

Г达尔ка грустно покачал головой.

– Нет, не струсили. Сам знаешь, Витька, не трус я... Просто, поймите, ребята, не могу! Он ведь не злой, просто кормиться, зарабатывать ему надо.

– Пусть вывески малюют! – сердито перебил Козликов. – Или на завод, хоть в подметалы, идёт! Как ни оправдывай, а он помогает богачам да их прислужникам! Видел нынче, какие у всех у них морды нажраны?! А я как на сестрёнок гляну – выть по-собачьи хочется: ситный хлеб да леденцы только по праздникам видят! Понял, жалостливый?! Изменник ты, вот кто!

Г达尔ка молчал, опустив голову.

Не вмешиваясь в перебранку, Пашка всматривался в худенькое, жалкое лицо Г达尔ки, в цыплячью шею, в дрожащие на коленях пальцы. Впервые с того дня, как они сдружились, Г达尔ка не послушался товарищей.

Пашка подошел к нему с кистью в руке.

– Совесть? – спросил негромко. – Не хочешь злом за добро платить, да?

Г达尔ка молчал, готовый к тому, что Пашка обругает его последними словами, а может, и ударит.

Пашке вспомнилась миска яблок, сбитая со стола отцовским кулаком, и его слова о чистой совести.

– Ладно, шут с тобой! – согласился Пашка. – Сиди! Он всё же платит тебе?!

– Ага, платит, – кивнул Г达尔ка. – Кормит, чем найдётся... И так он ничего, добрый. Часто, когда хмельной, плачет: талант, дескать, у него загубленный...

Пашка ещё раз глянул в покрытое ранними морщинами лицо Г达尔ки. Потом тихо спросил, показывая в сторону незаконченного портрета царя:

– А этот тысячи и тысячи загубил, это не в счёт?

– Да что с трусом разговаривать, Паша?! – спросил Витька. – Дать по шее – и пусть катится отсюда кувырком! И чтоб близко к нам не подходил!

– Нет, пусть сидит! – решил Пашка. – Пусть смотрит! Только не скулить, Голыш! Понял?

На секунду Г达尔ка вскинул благодарный взгляд. Но не ответил.

– Начали, Витька! – скомандовал Пашка. – Пририсуем помазаннику рожки да ножки!

Минут через десять на портретах появились густо намалеванные дегтем усы, бороды и рога, иногда длинные, иногда круто, по-бараньи, закрученные. Одно из царских изображений Пашка перечеркнул крестом из угла в угол, на другом крупными буквами написал: «Убивец!»

Но вот в ведёрке кончился деготь, брошены кисти.

– Эх, ребята! Нам бы так же и те портретики разукрасить, что по магазинам развешены! – разохотился Витька, вытирая тряпицей руки. – Но не доберёшься. Поплясали бы тогда «селёдочники»! Здесь что?! Вроде кукиша в кармане! Может, и не увидит никто.

Пашка подошел к Г达尔ке, положил на плечо руку.

– Пошли, Голыш! Авось после нашего урока Зеркалов за ум возьмется! Вдруг вместо царских ликов лозунги для демонстраций писать станет?! Нужное дело сделали, ребята!

Пашка дунул на лампу.

Он пытался представить себе, что будет делать завтра утром Зеркалов, увидев измазанные дегтем творения. Поди-ка, примется скулить, подсчитывая недополученные «красненькие» и «синенъкие»? Ну и поделом! Не холуйствуй, не ползай на брюхе перед богатеями да царями!..

Всё-таки интересно бы поговорить с ним по душам. Ведь в любом человеке есть особая скрытность, которую со стороны сразу и не угадаешь. Увидел же Зеркалов, нарисовал и повесил у себя над койкой то лесное озеро, что, словно драгоценный камушек, осталось в Пашкиной памяти. Выходит, светится такой камушек и в душе Зеркалова? Или взять Таньку-«принцессу»! И в ней есть какая-то непонятность. Нет-нет да и блеснёт в её взгляде приветная, а вовсе не злая искорка. Значит, и в ней скрытая доброта есть...

Ах, Пашка, Пашка, вырасти бы тебе поскорее да научиться понимать и людей, и всё, что творится кругом! А научиться ведь можно! Вон Люсик про Михайлу Ломоносова рассказывала! Из простой рыбачьей семьи, за тысячу верст с Севера в Питер пешком пришел. Ну что его гнало из родного гнезда, из родного края? Сразу и не поймешь! И выучился на диво, всей наукой в России управлял!

Вот такие мысли одолевали Пашку в тот памятный день. Правду сказать, порой охватывала его и робость. Что, если царские сыщики с их учёными собаками нападут на след? Ведь есть, говорят, и такие собаки: того, кто сыщикам нужен, за версту чуют – найдут, выследят, поймают! Что тогда? Ну, Пашке, ясное дело, каторга! А мамке и бате? Они же не виноваты! Виноват в их беде окажется он!

Но все обошлось. Только раз, дня через три после той ночи, Пашке пришлось пережить неприятную минуту. Шёл мимо ресторации Полякова и увидел на ступеньках Зеркалова. Художник сидел, ссутулясь, без шапки, упервшись локтями в колени и сунув в ладони взлохмаченную голову. Тоскливо жаловался кому-то:

– Ну а я п-при чём?! Таскают в участок, д-допрашивают! А я при чём? Соседи д-донесли, их и спрашивайте, может, они и видели. – Зеркалов вскинул на Пашку растерянный взгляд. – Ты кто?

– Я кузнец! – гордо сказал Пашка.

– Нет, ты мальчик! – возразил Зеркалов. – Вот скажи, мой юный друг: сможет ли художник поднять руку на собственное творение, а? Молчишь? То-то вот и оно!

19. «В ПИТЕРЕ НИКОЛАШКУ СПИХНУЛИ!»

Кончилась зима так, как и ожидали многие: грязнула революция!

В тот февральский день Пашка привычно шуровал клещами в горне, переворачивая раскалённые до солнечного блеска поковки, а когда они «поспевали», присев на корточки и откинувшись для равновесия назад, перекидывал железо на наковальню. Раз за разом падал отцовский молот,

разлетались кривые спопики искр, железо под ударами плющилось. А в горне ждали своей очереди новые куски металла.

Стопудово грохотали в соседнем цехе паровые молоты, звенели цепи кранов, лязгали колеса вагонеток. Людских голосов за голосами железа и стали совсем не слышно. Да и лица ни одного не признать: все чёрные, словно черти в аду.

Но по правде говоря, Пашка полюбил своё дело. Теперь, при накопленной сноровке, работа вовсе не мешала ему думать. Руки легкоправлялись с привычным делом, глаза без напряжения следили за взлётами молота, поковка под ударами поворачивалась, будто сама собой.

Пашка в это время думал про своё, далёкое от того, что делал. Иногда и сам удивлялся – словно в нём жили отдельной жизнью два человека. Один орудовал лопатой и клещами, заигрывал с пляшущим в горне огнём, отшвыривал в вагонетку откованную деталь. Другой в те же минуты вспоминал строчки стихов и книг, вслушивался в слова их героев, и – прямо чудо какое-то! – сами собой складывались песенные куплеты. Да, да! Поначалу он и сам не верил в это, но оказалось, что никакого чуда и нет! Под музыку молотов и цепей в Пашкиной голове одна за другой вспыхивали, рождались никогда раньше не читанные строки. Свои, собственные!

Он смотрел на искры, брызгающие из-под отцовского молота, и, словно пчелы в улье, – помнишь, на пасеке, в деревушке тётки Вари? – в уме жужжали, складывались в песню слова: «Я – железный кузнец! И кузнец мой отец. Мы шуруем вдвоём, мы железо куем! Силу нашу, свою, мы ему отдаём. Чтоб Андрюха в бою, за Отчизну свою...»

А вот дальше получалось не то. Выходило, будто этими железяками, откованными Пашкой и его батей, Андрюха должен кого-то на фронте убивать?.. Но ведь Пашка не то хотел! Ему хотелось написать так, чтобы в стихе слова припаивались одно к другому, как в листовках! Прожигали бы до самого сердца!.. Придется, Арбуз, подумать, повернуть слова и так и эдак, как железо в горне поворачиваешь... Может, тогда и получится то, что из души на волю просится...

Пашкины мысли в тот день оборвал крик. Нет, конечно, то был крик не одного человека – разве услышишь одинокий голос в чудовищном, не смолкающем грохоте железного ада?! Нет, это кричал не один человек, а десятки, может – еще больше. Вон, гляди, Пашка, кто-то рывками, словно весенняя кошка, карабкается по железной лестнице к ползущему под потолком крану.

И ещё – видишь? – внизу, в пролёте, двое размахивают ключками горящей пакли, нацепленной на железные прутья.

– Что, батя?! – закричал Пашка. – Снова бастуем, что ль?! Обедать-то вроде рано?

– Погоди, Павел!

Андреич опустил к ноге молот, сдернул очки. Пашка не услышал, а угадал по движению губ:

– Нет, сын! Видать, большое стряслось! Слыши – гудок рваный какой...

Чисто набат!

Переставали бухать молоты в паровом цехе, застывали на рельсах вагонетки, остановились повисшие над пролётом краны. Гудок смолк. В наступившей тишине, когда Пашка услышал даже змеиный шип пламени в горне, из кабины подвесного крана раздался победный, торжествующий крик:

– Братцы! Товарищи! Кончилась вечная каторга! В Питере Николашку спихнули! Революция! Конец проклятой войне! Бросай работу! На улицы, товарищи! На улицы!

– Пошли, Павел! – позвал Андреич.

Отняв у вахтёров ключи, шедшие впереди отомкнули замки, распахнули ворота. Кузнецы в прожённых, промасленных стёганках, работницы, заменившие угнанных на фронт мужей, подростки-подручные – больше трёх тысяч человек в неурочный час покинули цеха. Растирались и солдаты у ворот – у них силой отобрали винтовки.

Улица бурлила, как могучая река в половодье.

Пашка шагал между отцом и Сашей Киреевым. И странно: выходили не вразброд, как обычно разбегались после смены, а, словно подчиняясь неслышимой команде, выстраивались в ряды.

Погода выдалась по-весеннему яркая. Стеклянно пели-звенели первые в году вешние капели. Белые кружева разорванных облаков паутинились в мраморно-голубом небе.

Паша смотрел то в небо, то в восторженно-возбуждённые лица шагавших рядом. И обычно приглушенные голоса звучали сегодня непривычно громко.

– Так что же, братцы? Может, теперь и Михельсона, и Бромлея, и Гейтера по шапке? Коленкой под нижнее место? Или как?

– Ну! – весело возражал другой. – Запросто шкуродёров не вытравить! Кругом, куда ни глянь, по всей России их собственность! Так? И что же? Отбирать у них станешь? Да по какому же праву? Не у каждого из нас к чужому добру рука протянемся! Чужое оно чужое и есть!

– Чужое-то оно чужое, да ведь неправильно это, не по совести. Я, скажем, Михельсону добра на трешницу накую, а он мне за это двадцать копеек платит. Это как? Выходит, из моего труда он кус огромный себе хапает? Чу-ужое!

– А с германцем чего будет? – перебил спорящих кто-то. – Замирение аль по-прежнему кровавить да могилить друг дружку? И так бессчётные тысячи закопаны!

– А что, ребята? Накопить бы нам деньжат, сложиться и выкупить у Михельсона заводище, а? Сами – хозяева, что потребно народу, на что спрос на базарах есть, отковали или отлили и продаем. И вся прибыль наша!

– Ты выкупишь! – горько захотел кто-то. – Тут на наш заработок только и думаешь, как бы до получки дотянуть!

Несколько шагов прошли молча. Потом заговорил Андреич:

– Получается, нет для нас выхода? Ну, забастовали мы. А михельсоны да бромлеи закрыли заводы и на дачи в Крым поехали. У них, рассказывают, у всех дачи роскошнейшие в Крымах да Кавказах имеются – тепло там круглый год. Мы же здесь сидим без работы, да? Как жить? Кубышек-то у нас с вами

нету, в кармане вошь на аркане да блоха на цепи. Нет, другой выход искать нужно! Чтобы власть заставила михельсонов платить нам, сколько следует, больше раза в два, а то и три. Чтобы жить на заработок по-человечески можно было бы.

— Власть! — засмеялся сзади Гордей Дунаев. — Они же сами и есть власть! Что хочу, то и ворочу.

— Значит, власть менять надо! Чтобы и от нас, рабочих, в ней люди были, чтобы всё по справедливости решать.

Пашка оглядывал взрослых сияющими глазами. О чём беспокоится! Революция, которую с такой надеждой ждали, пришла! Там, в Питере, неведомые витязи набрались храбрости и опрокинули трёхсотлетний трон Романовых! Шутка ли? Самое главное! А дальше всё само образуется, сладится! И война, должно быть, окончится — её же царь да его министры начали. Тогда, глядишь, и Андрюха вернётся! Не может быть, чтобы такого убили!

Жалко, флагов впереди нет! Ан и врёшь, Арбуз! Вон он и флаг: кто-то из парней рубаху красную не пожалел, на блестящий пруток стали-серебрянки нацепил! Ишь она радуется вместе со всеми, машет, ровно в пляске, руками-рукавами! А вон и другой флаг: кумачовая скатёрка на шест привязана!

Покрывая сотни голосов, взмывает над толпой грозный бас, с неспешной силой выговаривает слова «Дубинушки»:

Но настанет пора и проснётся народ...

Слышишь, Пашка, как ловко, прямо на ходу, кто-то переиначивает песню:
...на царей подберёт тяжелее и крепче дубину-у-у!

Но долго идти в чинном, пусть и бурлящем строю Пашке невмоготу. Думается: а дошло ли про революцию до Голутвинки, знает ли мамка?

— Батя! Я к мамке слетаю!

Андреич глянул из-под седеющих бровей, подтолкнул в плечо.

— Правильно, сын! Беги! Обрадуй нашу хозяюшку! Хотя, наверно, и там знают. Такую весть-молнию ни под какой замок не запрёшь!

По дороге на фабрику Пашка свернул в свой переулок: попутно ведь, мимо не пробежишь. Как и полагалось, ребята тоже орали и гомонили на улице во всю мочь. Новость, и правда, летит над Москвой невидимой жар-птицей!

Мальчишки окружили Пашку.

— Как там? Куда заводские двинули?

— В центр, куда же ещё? В думу городскую! Управу на Михельсонов искать, требовать... Рванули, братва, и мы туда! Только я к мамке на Голутвинку загляну. Вдруг не знают, не докатилось до них?!

Но не попал Пашка на мамкину фабрику. Возле приходской церкви Козликов толкнул Пашку локтем в бок:

— Глянь-ка наверх!

Из сводчатого проема колокольни высоко над землей высовывался чуть ли не по пояс звонарь, старик Исаич. Рыжие волосы трепал ветер. Он, Исаич, считался первым в Замоскворечье мастером колокольной музыки. Кто из купечества да чиновных любит праздничный перезвон, со всей Москвы

приезжают на пасху сюда слушать Исаича. А сейчас, отбарабанив положенное после утрени, он с изумлением глязает на улицы. Что стряслось? Куда народ кипящим валом катится?

Пашка озорно оглядел своих.

– А что, ребята... Не позвонить ли и нам в честь праздника революции?

Служба кончилась. Разбрелись из церкви и с паперти старушонки-богомолки. На нижней ступени церковного крыльца сидела и плакала побиушка-нищенка, приговаривала сквозь слёзы:

– Как же он от нас отказался, царь-батюшка? Да как же мы без отца родимого жить будем? Миленькие вы мои, сироты мы стали неприкаянные!

«Ишь и здесь знают», – подумал Пашка и, задержавшись на миг, похлопал старушонку по плечу.

– Не робей, бабуся! Проживём! Новый царь будет!

Нищенка вскинулась. Старческое лицо, выцветшие скорбные глазки, слёзы в морщинках щёк.

– Кто новый-то? – спросила с надеждой. – Царевич Лексей, что ли?

– Не, бабуся! Народ!

Бесцветные глаза сердито сверкнули. Отшатнувшись от Пашки, нищенка замахнулась клюкой:

– У, безбожник! Да разве без царя народу жить можно?! Вся благодать к нам через царёвы руки идёт!

– Много ли, бабуся, тебе царёвой благодати выпало? – спросил Пашка с неожиданной щемящей жалостью. – Хлебца-то ситного досыта часто ли ела, бабуся?

Искорка боли то ли почудилась Пашке, то ли на самом деле метнулась в глазах нищенки. Метнулась и погасла.

– По грехам моим... Кажному и милости божьей по грехам его! пробормотала старая и снова замахнулась на Пашку клюкой. – Сгинь, нечестивец! В аду раскалённые сковородки лизать станешь!

Пашка выпрямился, тряхнул вихрами.

– Кузнецы к огню привычные, бабуся! Нас и адовым пеклом не запугаешь!

Вход на колокольню мальчишки знали с малолетства. Да и как не знать? Их всех, ещё не отняв от груди, матери таскали в церковь, к отцу Серафиму, вымаливать им у господа бога кусочек счастливой доли. Позже, когда ребята подрастили, а полуглухой от звона Исаич иногда забывал запереть дверь на колокольню, они украдкой не раз взирались туда. Сначала так, из простого озорства, поглазеть с верхотуры на город, на сутолоку людышек, похожих на мух или муравьев. В последние, голодные годы – поохотиться на сизарей, выкрасть по весне из гнезд голубиные яйца. Хоть и малая, а всё еда! Правда, дочиста, до последнего яйца, гнезда никогда не обирали, оставляли одно-два матери-голубке. Та кружилась над колокольней с жалобными криками. И из рогаток матерей-голубок никогда не били, не поднималась рука...

Ага, дверь изнутри не заперта! Ну, ясно: кого звонарю в своём поднебесье, под самым крылом у боженьки, опасаться?

Пашка первым карабкался по крутой лестнице. Темень, как в подполе,

лишь высоко над головой маячит квадратик света. Виден край главного колокола, свешивается с языка веревка. Вспомнил слова, ободком выющиеся по наружному краю колокола: «Придите ко мне все нуждающиеся и обременённые, и аз упокою вы!» Не больно-то успокаивал он нуждающихся, мамкин всевышний!

Жадно смотревший вниз, в распирамую толпой улицу, звонарь оглянулся, когда Пашка тронул его за локоть. Рыженькая бородёнка и такие же рыжие, будто у кошки, глазки.

— Чего вам здесь надобно? Почто взгромоздились на свято место? Брысь сей же час! Отцу Серафиму доложу, достанется на орехи!

Пашка схватил верёвку большого колокола, сунул в ладонь Исаичу, показал на малые и вовсе крохотные колокольцы.

— Велено, Исаич, бить-играть пасхальный звон!

— Кем велено? Отец Серафим не может такого, до пасхи-то кирпичом не докинуть! Брёте, шпйни!

— Не отцом Серафимом, а рабочим народом велено бить-играть пасхальный перепляс! По случаю революции! А ежели ослушаешься, приказано тебя с колокольни скинуть! — приврал Пашка.

Исаич перебирал в ладони верёвку.

— По какому слушаю, говоришь, звон?

Он обвел мальчишеским взглядом: с ними, пожалуй, и не сладить.

— Царя в Питере скинули! — крикнул Витька.

— Не может быть! Снова брешете! — закричал звонарь. — За подобные слова — каторга! Не стану!

— Сами управимся! — засмеялся Пашка, подхватывая верёвку большого колокола. — Разбирай колокольные уздечки, ребята! Бей-звони во всю прыть!

— Проклянёт вас отец Серафим! — пригрозил Исаич. — И родителей ваших!

— А плевали мы на поповы проклятья! — отмахнулся Пашка. — Трезвоны во всю силу, дружина!

Никогда ещё ни с одной церковной звонницы Замоскворечье не слыхало такого дикого звона. Раз за разом все быстрее медно бил главный колокол. Захлебываясь, подзванивали маленькие. У них голоса нежные: при литье в медь добавляют для звона серебро — набросанные богомольцами монетки.

Исаич сунул было отнять у Пашки верёвку, но не зря же Пашка прокузничил осень и зиму: повёл плечом — и звонарь отшатнулся к перилам. С ужасом поглядел вниз, где, размахивая тростью, метался отец Серафим.

Исаич мотал рыжей головой, беспомощно разводил руками. Снизу-то отцу Серафиму и не видно, кто озорничает у колоколов.

Мальчишки звонили, пока не притомились. Да и времени жалко: надо успеть в центр, куда направились заводские.

— Конец! — скомандовал Пашка. — Двинули!

В последнюю минуту ему захотелось глянуть на город с высоты колокольни. И от того, что увидел, захватило дух.

К концу февраля солнце поднимается над землёй много выше, чем в декабрьские дни-коротышки, и сейчас щедро заливало светом улицы и

площади. Вон Большая и Малая Серпуховки, Ордынка, Мытная, Пятницкая, вон Серпуховская и Калужская площади! И всюду – люди, люди, люди! Земли, мостовых под ними и не разглядеть. Застыли брошенные где попало трамваи. Всюду переливаются на солнце красным цветом лепестки самодельных флагов. Слитный радостный гул доносится снизу.

Закопченный снег крыши, взметнувшиеся в синь колокольни церквей и монастырей. Мосты отсюда, как и улицы, кажутся живыми от движущихся по ним толп. Москва-река ещё томится под зимним льдом, а половодье людских рек неудержимо течёт по её мостам. Во весь размах мехов наяривают невидимые гармошки – саратовки да тальянки. Серебряно-медным родничком пробивается-звенит вдали музыка духового оркестра...

– Пошли, ребята! Самое главное не прозевать бы!

Отец Серафим, размахивая тростью, погнался было за ребятами, но они брызнули в разные стороны: попробуй-ка догони хоть одного!

Своих, михельсоновских, Пашкина ватага отыскала на Воскресенской площади, перед кирпичным зданием городской думы. Здесь толпились тысячи и тысячи. Но ни полицейских, ни городовых! У главных дверей на крыльце думы – взвод солдат с винтовками и красными повязками на руках.

Пашка опознал михельсоновских издали – по самодельному знамени: красная рубаха и тут вовсю размахивала рукавами.

– Вот хорошо-то, батя! – задыхаясь, крикнул Пашка, пробившись к отцу.

– А-а, Павел! Молчи! Давай послушаем, что лысый гусь гогочет!

На крыльце думы, поблёскивая очками и лысиной, тряся полами распахнутой шубы, аккуратный старичок старался перекричать толпу...

– Да, да! – доносилось сквозь гул голосов. – Час свободы пробил! Царское правительство низложено! Низ-ло-же-но! В эти ответственные грозные минуты, до созыва Учредительного собрания, тяжесть власти принимают на себя гласные городской думы, которых избирали вы сами! Спокойствие, господа-граждане! Гласные совещаются с представителями военно-промышленного комитета и земства! Не мешайте работе ваших избранников! С минуты на минуту мы обнародуем решение! Спокойствие, гра...

Толпа ответила гулом множества голосов, из общего гомона вырывались выкрики:

– Кто такие «мы»?! Самозванцы! Кто выбирал вашу думу?!

– Долой войну!

– Давай восьмичасовой!

– Хлеба досыта! Открывай лавки!

Пашка, Витька и Гдалька отбились от своих замоскворецких. Толкаясь и не обращая внимания на подзатыльники, добрались до кирпичной стены, вскарабкались на подоконные карнизы.

Вот откуда всё видно! Море, море голов! Застыли в толпе пустые трамваи, на их крышах полно людей, больше мальчишек. И на ветвях деревьев, и на фонарных столбах. Весь фонтан посреди Воскресенской площади облепили!

Сереют в толпе солдатские шинели и папахи. Может, и Андрюха уже где-то здесь, с ними? Вот бы!.. Вон, гляди, Павел, над высоченными белыми

колоннами летит, раскинув копыта, чётвёрка литых коней. Люсик объясняла как-то: Большой театр!.. Будто в ярмарочных балаганах, раскрашенные артисты представляют там и старинную и нынешнюю жизнь. Люсик обещала когда-нибудь взять Пашку с собой, на галёрку какую-то...

Над человечьим морем живут-качаются цветы флагов. Похожи на маки в полевой траве.

Вот бы песню такую сложить, про маки — цветы революции. Как раз пришлась бы к месту!

На крыльце думы уже не видно лысого толстяка, на его месте — другой, в чиновничьей шинели и каракулевой шапке, просит тишины, поднимая руки.

— Воевать с заклятыми врагами Руси до победы — наш долг! Отстоим священную славянскую землю!..

Дюжий матрос в бескозырке с разлетающимися георгиевскими лентами одной рукой спихивает чиновного с крыльца.

— Та не слухайте, братишки рабочие, брехню буржуйскую! Ишь — до победы! Тебя бы, пузатого, в окопы! Ишь боров! Граждане, слухайте сюда! В Питере из «Крестов» всех политиков высвободили! А у вас что? В Бутырках, да в Сокольниках, и в арбатском арестном наши братья за решёткой томятся! Так они же там за всех нас, братишки! Их тюремщики да жандармы в кровь полосуют, голодом да плётками до смерти доводят! Чего ждём? Пока эта буржуйская говорильня кончится? — И матрос машет бескозыркой на окна городской думы.

Толпа отвечает сотнями криков:

- Верно, братцы!
- В арбатовском-то арестном большаки с прошлого ноября!
- Даешь Бутырки!
- На Арбат!
- В Сокольники!
- К тюрьмам, товарищи! Освободим наших!

Поздно ночью, лёжа в постели, Пашка перебирает в памяти минуты незабываемого дня. Перебирает и сам не может понять, как он и его друзья сумели так много увидеть за один только день?

...Вот вся Москва видится с колокольни, будто с птичьего полёта. Сплетение бурлящих улиц. Языками пламени вьются на ветру самодельные флаги: рубахи и женские кофточки, цветастые полуушалки и скатерти. Поют и кричат люди, взбирающиеся на что попало. Захлёбываются на полный размах гармошки. Бьют барабаны, и медно лязгают тарелки оркестров. И кто-то в толпе пляшет вприсядку...

...Вот двухсаженные, желтоватогрязные стены Бутырской тюрьмы. Напором толпы железные ворота выворочены из стояков прямо с петлями. На дворе появляются арестанты. Пашка нетерпеливо ищет глазами Костю Островитянова. Но его что-то нет.

Худой, костлявый арестант в сером халате и кургузой тюремной шапочонке — его на руках выносят из подвала. Узкая бородка, провалившиеся щеки и такие же провалившиеся, но похожие на раскаленные гайки глаза, испачканые

кровью губы.

Он вскидывает худую, как щепка, руку и машет. Кому? Уж не Пашке ли? Ведь и правда, будто ему! Но где же Костя?

От пивной на углу парни с гиканьем катят пустую бочку. Худого арестанта поднимают на неё. Он говорит, изредка сплёвывая кровью в носовой платок. Он не размахивает руками, как иные, а, наоборот, прижимает стиснутые кулаки к груди.

Засыпая, Пашка опять слышит его глухой, но налитый силой голос:

– Товарищи! Друзья! Спасибо за досрочное освобождение! Мы знали, что оно неизбежно, как завтрашний день...

Радостный смех и крики приветствуют арестанта. Чуть подождав, он вскидывает над головой стиснутые в замок руки. И вновь – тишина, такая чистая и прозрачная, что Пашке слышен звон капели и чириканье воробьев.

– Товарищи! – покашляв, с усилием говорит худой. – Не обольщайтесь первой победой! Пусть она не ослепит вас! Она – только начало! Будем бдительны, как никогда! Царя нет, но сидят на своих сундуках фабриканты и заводчики! Они легко не отдадут награбленного! Попытаются перехватить, отнять у нас только что обретённую власть!

Пашка смотрит кругом с недоумением: зачем этот чахоточный говорит так? Ведь революция!

Но толпа встречает слова арестанта криками:

– Дело! Верно! Справедливо!

– Даешь нашу, рабочую революцию!

– Царя-то нет, а Рябушинские, да Михельсоны, да прочие миллионщики остались! Не враз от награбленного отрекутся!

Кто-то невидимый спрашивает за спиной Пашки:

– Арестант – он кто?

– Фамилию не упомнил, – отвечает другой. – Из поляков, вроде. По тюрьмам да каторгам годы мотается.

– И впрямь будто из могилы его, сердечного, вытащили! На платке кровь, видишь? И сам-то как есть скелет!

Пашка хочет оглянуться на голоса, но рядом с бочкой замечает Островитянова! Да, да, того самого Костя, которому носил передачи. Пробирается к нему.

– Костя!

Островитянов узнает Пашку сразу, смеётся, протягивает навстречу руки.

– А-а, Павлик! – Обняв, крепко прижимает к себе Пашку. – Ну, как житуха? Хотя... Давай помолчим. Феликсу трудно говорить!

Когда арестант перестает говорить и его осторожно снимают с бочки, Пашка спрашивает:

– Ему как фамилия?

– Каторжнику этому? – с невыразимой нежностью улыбается Костя. Дзержинский ему фамилия! – И наклоняется к уху Пашки: – А из наших, институтских, есть здесь?

– Не знаю, – признается Пашка. – Как-то не разглядел, не приметил.

Народу-то сколько!

— Ох, до чего же по ребятам соскучился! По воле, по солнышку, по свежему ветру!

...Потом в Пашкиной памяти возникает багровое и растерянное лицо Обмойкина — заводские отнимают у него револьвер и «селедку», срывают шнур со свистком и полицейскую бляху... Торопливо, трясущимися руками запирает ставни Ершинов. С жестяным дребезгом рушатся на тротуар вывески с царским гербом и гордыми позолоченными буквами «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Кто-то с веселой лихостью пляшет на такой вывеске, и чьи-то каблуки выколачивают дробь-чечётку на царском портрете, выброшенном из окна полицейского участка.

И сам Пашка, возвращаясь вечером в Замоскворечье, не удерживается, со всего маху ступает расшлётанным башмаком на царский портрет... Вот тебе, вот! За мамку, за Андрюху, за калечных солдат, побирающихся по улицам. За всех нас!.. Это ты виноват, ты!

И опять — горящие раскалённым железом глаза в тёмных провалах и строгий голос: «Будем бдительны!» И хоровой крик, взлетающий над толпой:

— Даё-ось! Даё-о-ось нашу революцию!

20. ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ...

Заводские гудки на следующее утро молчали, но Пашка всё равно проснулся чуть свет. Да и вряд ли он спал по-настоящему. Вчерашний день удивительно перемешался в его сознании с событиями из прочитанных книг, с рассказами Люсик о героях прошлого.

Лежал, слушал.

Похрапывал в дальнем углу отец, тикали ходики на стене, за печкой пиликал свою музыку сверчок.

Сна не было. А ведь как тяжело и неохотно просыпался по рёву гудка раньше, как хотелось ещё повалиться под одеялом. Сейчас всё по-другому. Еще с вечера знал, что утром можно не торопиться: заводские решили не работать больше на проклятую войну. Забастовка продолжается! Но вот проснулся, и будто тянет и тянет куда-то.

Тихонько оделся, нащупал ногой ботинки. Вышел во двор. Лопух, ещё не посаженный на цепь, бросился навстречу, лизнул руку, упёрся лапами в грудь.

Пашка долго смотрел в небо... За рваным дымом облаков мигают редкие звезды. На карнизе крыши светятся весенние льдышки-сосульки. А улица пока спит...

В окнах Ершиновых темно... Здорово они вчера засутились-запрыгали. Как же! Самого главного заступника потеряли. С какой перекошенной мордой бежал Обмойкин от своей будки, где стоглазым истуканом проторчал столько лет! Будка-то для «селёдочника» тоже чем-то вроде трона, поди-ка, была?

На глазах у Пашки одна за другой гасли звёздочки, рассвет высвечивал тёмные углы двора.

И тут он увидел новое, чего вчера не было. Другую стенку Ершинов к сараю пристроил, что ли?

Пашка подошёл вплотную, пощупал. Нет, на доски не похоже! Ах, вон оно

как! То, что он посчитал за новую стену сарая, оказалось холстом, обратной стороной царского портрета.

Покосившись на второй этаж, Пашка повернул портрет. Само собой, всё в целости-сохранности! Не поднялась у торгаша рука! Так же блестят позолотой пуговицы, погоны и аксельбанты. С той же умильной, хотя и строгой лаской смотрят глаза.

— Теперь тут кукуешь? — подмигнул Пашка. — Ишь куда они тебя присобачили! Побоялись в лавке оставить, народа перепугались? Ну и стой здесь, на пару с Лопухом. Поцарствовал, хватит!

Снова Пашка покосился на окна: послушай, «принцесса», как Пашка с царём разговаривает! Но даже плюнуть на царский портрет ему сейчас не хотелось: по уличному-то закону лежачих не бьют! В драках с реалишками да гимназистами Пашка ни одного лежачего не пнул, пальцем не тронул!

Вернулся в дом. Шумел примус, лизал синими языками донце сковородки. Мамка возилась у печки.

— Ты, сынонька? — удивилась мать. — Спал бы да спал, раз можно! Такой случай в редкость.

— Да что-то, мам, сон от меня бегом сбежал! — засмеялся Пашка. — Ты помнишь ли Андрюхину любимую: «Крутится, вертится шар голубой»?

— Как не помнить, радость ты моя, Пашенька?! Я каждую жилочку в нём и днём и ночью вижу!

— Может, он, шар-то, со вчерашнего дня по-другому закрутится? Как, мам?

— Дай-то бог, Пашенька! — Не глядя, мать показала кухонным ножом в потолок. — А их-то куда денешь? Манифести да указы за бывшего царя не такие ли станут дальше подписывать?

— Не, мам! — убежденно возразил Пашка. — Вчера решено по заводам и фабрикам Советы выбирать!

— Так Ершиновы и послушали ваши советы! — Мать покачала головой. Мал ты ещё, Пашенька, породу людей разгадывать. На миллион добрых душ обязательно одна собака същется!

— Ты, мам, собак не обижай! Лопух, он вон какой хороший! Побегу, мам!

— Поел бы. Подожди чуток.

— Потом, мам!

Улица кажется и знакомой и незнакомой. Дома и заборы на привычных местах, как помнится с малолетства, а всё же что-то переменилось... Ага! Вон на углу поваленная обмойкинская будка! А вон флаг с пожарной каланчи красной ладошкой помахивает! Не иначе — кто-нибудь из заводских привязал! Ещё, наверно, пригрозил дежурному: «Попробуй сорви!»

Рассветает, а улица спит! И непонятно, почему Пашке расхотелось будить ребят, как собирался, выходя из дома. Потянуло побывать одному, походить, поглядеть. Или, может, шевельнулась в голове новая строчка стиха? Вот, слушай, звенит: «Флаг наш красный в синем небе вьётся...» А дальше как? Ну, придумается — день впереди!

Сначала медленно, потом торопливо шагал по давно знакомой дорожке к студенческой столовке. Толкнула туда неясная догадка.

Было бы просто неправильно, ежели бы «красная» сейчас пустовала! Вспомни, как Шиповник и её студентки-подружки горевали о судьбе Кости. Никак не могут они не собраться вместе в такое время! А где же и собираться, как не в «красной»?

Шёл быстро, почти бежал.

Предчувствие не обмануло. В двух окошках «красной» помигивал зеленоватый свет. Колыхались за окнами тени.

Интересно: что у них там?

По привычке сначала заглянуть в окно. Ух ты, сколько народищу, прямо толпа! Из форточки столбом валит табачный дым. За галдежом не разобрать слов, кто-то раскатисто хохочет, кто-то хлопает в ладоши. Блеснули меж головами стрекозинные крыльшки. Где же Люсе теперь и быть??!

С крыльца, приоткрыв дверь, выглянула тётя Даша.

– Пашуня, что ль? Только тебя и не хватало! Мне Люсенька наказывала поглядывать, кабы кто чужой не подкрадся. Хотя все чужие забились по своим закутам. Ошалели от страха.

– А не заругают, тётя Даш?

– Да из ваших кружковских тут уж и так трое, которые с Сытинской. Свертки какие-то из печатни приволокли... Люсенька и про тебя спрашивала...

Словно в ответ на слова тёти Даши, голос Люсик в глубине комнаты требовательно крикнул:

– Да распахните же окошки, господа курильщики! Дышать нечем! Дымите, словно десяток михельсоновских труб!

– Сию минуту, Шиповничек!

Задребезжали стекла законопаченных на зиму рам. Пахнуло холодком, сыростью, кто-то дурашливо запел:

– Весна! Выставляется первая рама, и в «красную» шум ворвался!..

Но певца перебили:

– Итак, друзья, половина дела сделана! Товарищи из Сытинской типографии хорошо поработали ночью. Напечатано более пятисот экземпляров...

Привстав на цыпочки, опираясь на плечо Яшки-газетчика, Пашка заглянул через головы. У стола, в накинутой на плечи студенческой шинели, Костя помахивал бумажным листком.

– Мне думается, товарищи, нужно ещё разок прочитать воззвание! Проверим: не вкрадась ли ошибка, опечатка! Могли ведь и чужие руки прикоснуться к нашему делу.

– Читай, Островитянов! Давай, Костя!

– Итак, читаю... Шапка: «Российская социал-демократическая рабочая партия». Дальше, после отбивки: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Внимание, читаю текст: «Товарищи! В Петрограде революция! Солдаты присоединились к рабочим. На сторону народа перешли Преображенский, Волынский, Павловский и Семёновский полки. После недолгих колебаний к ним присоединился Кексгольмский полк. Восстание победоносно растёт. Восставшие захватили арсенал, артиллерийское управление и тюрьму

«Кресты», из которой выпустили политических заключенных». Что произошло и в Москве, товарищи! «После двухчасовой осады восставшими взята Петропавловская крепость. По последним известиям, взорвана охранка, восставшие приближаются к департаменту полиции...» Следующие строки, товарищи, набраны жирным шрифтом... Продолжаю...

В «красной» стояла тишина. Кроме голоса Кости, Пашка услышал за спиной вздох тёти Даши:

– Ну и дела! Владычица богородица, матушка-заступница...

Точь-в-точь как мамка!

– «Российский пролетариат должен поддержать петроградское восстание! Иначе потоки пролитой там крови останутся бесплодными. Товарищи, бросайте работу! Солдаты! Присоединяйтесь к восставшим! Помните, сейчас решается судьба народа!..»

Бочком-бочком, а Пашка всё-таки протискивался в комнату. Очень уж хотелось оказаться поближе к Шиповнику, поймать на себе взгляд её блестящих тёмно-карих глаз, добрую улыбку!..

Занятый своими хитростями, Пашка не очень вслушивался в слова возвзвания. Да и что слушать?! И так ясно: война царям и всем буржуям!

Он добрался до Люсик как раз в тот момент, когда Островитянов кончил читать и стоял, помахивая листочком над головой, разгоняя дым.

– Как будто, товарищи, обошлось без огнешов!.. Естественно, за эти часы в Питере произошли новые важные события, о которых...

– Скоро узнаем! На телеграф и телефонную отправились наши!

– Добро! – кивнул Костя. – Теперь задача в том, чтобы побыстрее донести возвзвание до рабочих и в первую очередь до воинских казарм. Московский гарнизон сейчас насчитывает около ста тысяч штыков и сабель...

– Да ты-то, Костя, откуда знаешь? Ты же сам вчера из тюремного каземата вылез! – с дружеским смешком заметил Столяров.

Островитянов повернулся к Алёше.

– А тебе, дружище, тоже следовало бы посидеть в тюрьме. Тогда бы ты убедился, что там знают больше, нежели на воле. Пересылка-то забита солдатами-большевиками! И не мешай мне, пожалуйста, Алексей! Время не терпит! Да, гарнизон Москвы – сто тысяч штыков! Это огромная сила. Если она не поддержит восставших, а будет брошена на их разгон, кровь неминуема. И большая кровь! Значит, задача – побыстрее распространить листовки в казармах гарнизона. Но осторожность, друзья! Враги революции не сложили оружия! Хочу добавить, что командующий округом Мрозовский отдал приказ о стягивании в Москву воинских частей из ближних губерний.

– Он не арестован, этот мастер заплечных дел? – крикнул кто-то.

– Пока не знаю, – ответил Костя. – Да его арест мало что изменит, товарищи! Знаем, что преемником Мрозовского на посту командира округа станет полковник Грузинов. Сей молодчик тоже известен своей жестокостью!..

К сожалению, связи с центром и другими районами крайне затруднены. На телефонной станции мало наших людей, а меньшевики, эсеры и оборонцы всех мастей всемерно стараются помешать революции...

Люсик почувствовала прикосновение Пашкиной ладони и обернулась. Её глаза блеснули лаской:

— Павлик!

— Я!

— Вот славно!

А он-то боялся, что Шиповник заругается!

— Давай послушаем, Павлик, — шепнула Люсик, показывая глазами на Костю.

Тот продолжал:

— Нам следует торопиться, друзья, пока враги не оправились от вчерашнего шока. Сейчас распределим листовки. Учтём, что Сытинская типография — крупнейшая в Москве. В соседних с нами районах — Хамовниках, Рогожском, Симоновском — нет типографий, поэтому часть этих листовок отправим туда. Но повторяю: прежде всего в казармы — в Хамовнические, Александровские, Крутицкие и прочие. Сделать это нелегко! Здесь мы попросим помочь наших женщин: матерей, сестёр и невест тех, на ком сейчас серые шинели. В казармы отдадим половину листовок. Пусть это возьмут на свои плечи милые товарищи в юбках: Лисинова, Карманова, Солуянова и другие.

Островитянов повернулся к Люсик, наклонился, положил на плечо руку:

— Готовы, Люся?

— Сдаем!

— Часть листовок расклеим на улицах, в самых людных местах: на базарах, у лавок, на площадях. Тут нам, наверно, помогут такие, как Гаврош нашей революции, с которым меня познакомила Шиповник. Вот этот самый Павел Андреев!

Это была одна из самых счастливых минут Пашкиной жизни.

Большую часть врученных ему листовок он отдал Гдальке, Витьке и Васятке. А у самого нашлось другое дело. Через полчаса он и Люсик сидели в ершиновском полуподвале, а напротив них за столом — старики Андреевы. Люсик читала им только что отпечатанную листовку. Кузнец дымил махоркой, отдувая дым от девушки, а его жена слушала, испуганно глядя на Люсик синевато-серыми, до сих пор красивыми глазами.

— Всё в точку! — одобрил Андреич, кивнул на лежавший перед Люсик листок. — Складно. Варит у вас голова, Люсенька! Но мы-то с моей хозяйкой как тебе поможем, черноглазая?

— Очень просто, Андреевич! Вот, смотрите! У майрик в руке веник, подметала она пол.

— Ну и что?

Люсик взяла из рук хозяйки веник.

— А вот что, Андреевич. Каждый прутик по отдельности сломать легко, а веник даже ваши могучие руки не переломят!

— Н-да! — покрутил головой Андреич. — Тебя не переспоришь, Люсенька. Зело умна, как наш поп Серафим выражается. Так в чём же к нам-то твой вопрос, доченька?

— Не к вам лично, Андреевич, а к майрик.

Люсик погладила жилистую руку женщины.

– Чего же я?.. – смутилась та. – Чего могу?

– Вы, майрик, пойдёте со мной в Хамовнические казармы. Солдаты – они кто? Бывшие рабочие да крестьяне. У каждого остались дома мать, жена. У каждого сердце за родных изболелось. Им домой хочется. Так кого же им слушать, как не такую, как вы? Вы только представьте себе, майрик, что в толпе, которая будет вас слушать, находится ваш Андрюша. И это вы ему говорите!..

Мать вопросительно посмотрела на мужа. Он загасил о каблук самокрутку.

– Всё верно, Люсенька, придумано, – согласился он. – Такая речь до самых печёнок прожечь может... Пусть так... Но как в казармы пройти, милая? Там же часовые...

– Это уж моя забота! Майрик скажет, что её сын Андрей – тут, в казармах. И она ему хлеба да махорки принесла. Сразу, конечно, не пустят, но если заплачет, да пачку махорки часовому сунет... О царе-то и часовым и всем казармам известно. И у них думки те же, что и у рабочего люда... Лишь бы на начальство не наткнуться... Ну, да они сейчас по домам прячутся, за свою шкуру трясутся!

– Ты сама с ней пойдёшь, Люсенька? – спросил Андреич.

– Ну да! У меня удостоверение и сумка Красного Креста. – Люсик расстегнула и распахнула плащ. – Видите? С этим меня обязательно пропустят! Больных в казармах полным-полно.

Андреич с уважением поглядел на брезентовую сумочку с красным крестом.

– Ишь ты! Ловко вы все обмозговали! А махорка для часовогого?

– Тут же, Андреевич! Я и для солдатиков, с кем майрик разговаривать будет, купила.

Мать снова, как бы спрашивая разрешения, посмотрела на мужа. Он не торопился с ответом, его волнение выдавалось тем, что он принял слишком старательно скручивать новую папироску. Потом грузно поднялся.

– Иди, мать! Святое дело сделаешь...

Вместе с Люсик и мамкой прошёл в казармы и Пашка. На их счастье, часовой у ворот и сам был из московских рабочих, а начальство, напуганное слухами об аресте Мрозовского и прочих военных, второй день в казармах не показывалось.

И вот – тот самый красностенный кирпичный барак, через порог которого когда-то переступил Андрей. Двухъярусные нары, сотни наголо остриженных голов, горящие любопытством глаза. Речь мамки, запавшая Пашке в сердце, как огненные слова тех листовок, что читались на проводах Андрея. Мать говорила и, сама того не замечая, плакала.

– Сыночки вы мои миленькие! Андрюшеньки! Где он, моя кровинка ненаглядная, не знаю, не ведаю! Но неизбывной болью болит мое сердце по тебе, Андрюшенька! Всю бы свою кровь каплю за капелькой отдала без единого стона, лишь бы ты живой и невредимый вернулся. Анютка твоя светлокосая вовсе извелась, измаялась, ожидаючи. Сыноньки вы мои милые! У

каждого из вас и матери, и сёстры, и любушки где-то есть, ждут они вас не дождутся, по одиннадцать да двенадцать часов на фабриках маются. А кто в деревне, те на себе вместо лошадей пашут... Генералы да офицеры мордуют вас тут, к расстрелам и каторгам за сопротивление приговаривают, казнят лютыми казнями, на горе солдаткам да матерям, детишкам вашим, у кого есть... Вчера какой день был! Я вот про себя скажу. Я шинельки вам да гимнастерки на Голутвинской мануфактуре изо дня в день шью. И на каждой шинельке моя слеза отпечатанная, моя печаль и боль в каждом шве, в каждой складочке. Измаялись мы, изголодались до края... Ужели же вы, сыночки мои милые, нынче иль завтра по приказу начальников выйдете супротив народа с ружьями и станете убивцами жён и матерей ваших?!

Пашка слушал мать и сглатывал подступавшие к горлу слёзы. Потом шнырял между нарами по казарме и рассовывал под серые одеяла и набитые соломой подушки отданые ему Люсик листовки...

Начальство встретилось им уже на выходе, у ворот. Полковник в посеребренных погонах, усатый и злой, сопровождаемый двумя чинами поменьше, остановил Люсик и её спутников грозным окриком:

– Кто такие? По какому праву?!

Ответила Люсик:

– Это мать одного из ваших солдат, господин полковник, и её сынишка. Приносили передачу, продукты и махорку. На казенных харчах не разжиреешь, ваше благородие!

Полковник с ног до головы осмотрел всех троих, а особенно пристально Люсик.

– А вы здесь при чём, сударыня? Вы по какому праву?

– Я из Красного Креста, ваше высокоблагородие! До нас дошли слухи о повальных заболеваниях в подчиненных вам казармах, и мне поручено проверить...

– Документы!

– Пожалуйста!

Покусывая ус, полковник читал удостоверение, напечатанное в подпольной мастерской, поглядывал поверх листка на Люсик.

– Сами кто таковы?

– Студентка Коммерческого института, ваше высокоблагородие! Дворянка. Армянка. Из Тифлиса. Что ещё вас интересует, ваше вы-со-ко-благородие?

– Что вами обнаружено в казармах? – возвращая удостоверение, тихо спросил полковник.

– Мириады клопов и вшей, ваше вы-со-ко-благородие! И тысячи голодных, измученных муштрай солдат! Обнаружены заболевания цингой и дизентерией. Учите, за вспышку эпидемических заболеваний отвечать придется вам, ваше вы-со-ко-благородие господин полковник.

– Ступайте!

Дома Пашка был удивлён необыкновенной разговорчивостью всегда скрупульного на слова отца.

– Ну вот, Павел! – сказал Андреич с каким-то даже торжеством. – Ты по

малолетству ещё не можешь встать в общий наш рабочий ряд. А меня кузнецы да молотобойцы посылают завтра на собрание Советов в здание городской думы. Может, нам и удастся вытребовать кое-что у михельсонов, гейтеров да бромлеев! Эх, свалить бы их с наших плеч совсем долой. А фабрики да заводы – рабочим!

– Андреич, дорогой мой, что говоришь?! – вмешалась мать. – Да ведь это их имение, имущество! Мы же с тобой чужой копейки никогда не ухватили, не зажибли!

– А сколько моей и Андрюхиной крови в михельсоновские заводы из наших ран да царапин вылито? Можешь счастье, мать?!

– Так всё равно чужое, Андреич! Несправедливо же!

– Эх, мать! – отмахнулся кузнец. – Справедливо – несправедливо! Ты сравни! На них, – он ткнул кулаком в потолок, – самая дорогая одёжа, а на нашем Пашуньке заплаток не перечесть. Эдак-то справедливо?

Засыпая, Пашка вновь видел, будто наяву, как солдаты обнимают его мамку в Хамовнических казармах и кричат десятками голосов: «Спасибо тебе, мать, спасибо!»

21. «ДЫРКА ОТ БУБЛИКА»

Так закрутилась по Москве небывалая праздничная карусель. С темна до темна на улицах и площадях толпился народ. Рабочие пели запрещённые песни, обнимались и целовались, размахивали красными флагами.

Гадали о будущем, прикидывали и так и этак: а что же дальше? Куда она повернёт, жизнь? Без работы да без торговли, без денег, без лавок и магазинов не проживешь!

Ни городовых, ни приставов не видно, попрятались по тёплым углам. Тоже, видно, в завтрашний день заглядывают. Да им что?! У них по кладовкам да подвалам на годы всего запасено. Случится нужда, с чёрного хода к любому лавочнику сунутся, тот выручит. Ворон ворону глаз не выклюет!

Ещё одно возмущало Пашку. Дни революции он считал своим, рабочим праздником, а к нему нахально примазываются и прочие, вроде Ершиновых. Некоторые из них, разодевшись, словно на рождество или пасху, тоже разгуливают по улицам: купеческие, приказчики и чиновничьи семейки. «Ну им-то какая радость?! – недоумевал Пашка. – Царь для них был главной опорой, не зря называли «надёжа-государь»! Ишь вырядились: народ посмотреть и себя показать. У самих, наверно, поджилки трясутся: как бы неправедно нажитое не отобрали!»

Но эти мысли не омрачали Пашкиного торжества. Разгуливал он в эти дни всё в той же старой Андрюхиной брезентовке, хотя по настоянию матери надел под неё новую сатиновую рубаху. «У всех, сынонька, праздник, сказала она, – а мы хуже других, что ли?»

На второй день он забежал в столовку, заглянул в «красную»: а вдруг что-нибудь нужно помочь Шиповнику?

К его радости, Люсик оказалась в столовой, писала письма о событиях в Москве на далёкую свою родину. Она тоже обрадовалась Пашке.

– Как же получается, Шиповник? – с недоумением спросил он,

подсаживаясь к столику. – Царя прогнали, кричат: «Республика!», а всё как было, так и осталось. Почему это?

– Да, многое осталось по-старому, Павлик, – согласилась Люсик. – Но это временно. Потому что республика пока не рабочая, а буржуазная. Костя Островитянов горько шутит: «Буржуям – бублики, а рабочим – дырки от бубликов! Вот что такое буржуазная республика!»

– А когда же наша?

– Скоро, Павлик! Очень скоро!

– А что значит рес-пуб-лика? – спросил ещё Пашка. – Какое-то слово нерусское, непонятное...

Люсик пристально всмотрелась в Пашкино лицо.

– Вспомни, Павлик, как называются люди, которые собираются в театре, в синематографе, в балаганах на ярмарке?

– Ну, как... зрители, толпа... публика.

– Молодец! Именно публика! А «республика» – это два латинских слова: «рес» – значит «дело», а «публика» – «народ». А в целом что?

– Выходит – дело народа?

– Да, Павлик! – кивнула Люсик. – Республика – дело народа!

– Но разве народ это они, буржуи? А мы? Мы не народ? Почему сейчас их республика?

– Конечно, рабочие – самая главная часть народа, Павлик! Но богатые отнимают у рабочих не только время, силы и плоды их труда! Вот даже святое слово украли! Но это не надолго, Павлик!

Пашке давно хотелось прочитать Люсик своё стихотворение про кузнецов, да всё не выдавалось случая. Сейчас они одни, никто не мешает. И он осмелился.

– У меня, Люсик-джан, почему-то в голове сами собой стихи складываются... Про жизнь, про работу, про всё...

– Ну, прочитай мне, Павлик!..

Пашка смущился.

– Знаете, Шиповник, не всё получается, как надо. Вот, к примеру, про нашу с батей работу, про кузнечную... Никак не выходит дальше...

– А вдруг я помогу?

– Не знаю... – замялся Пашка. – Ну, ладно... слушайте, как я сочинил...

Я – железный кузнец, и кузнец мой отец.

Мы шуруем вдвоём, мы железо куём,

Нашу силу свою мы ему отдаём,

Чтоб Андрюха в бою...

И замолчал, теребя на коленях шапочонку.

– Вот пока и все. А дальше как? Чтобы Андрюха в бою этим железом убивал немецких солдат? И может, Люсик-джан, тот немецкий солдат – тоже кузнец, а? Ведь это неправильно!

Люсик обняла Пашку за плечи.

– Ах, Павлик, Павлик! Дорогой ты мой железный кузнец! Как тебе необходимо учиться!

Пашка насупился, отстранился.

– Ты рассердился, Павлик? – удивилась Люсик. – За что?

– Не называйте меня кузнецом, Шиповник! Так ершиновская Танька в насмешку обзывает! Я не кузнец, я кузнец!

Снова Люсик засмеялась:

– Ну, прости, Павлик! Больше не буду!.. А стихи запиши и принеси мне, вместе подумаем. Хорошо?

– Ладно! – обрадовался Пашка и вздохнул с облегчением. – Мне ведь, Люсик-джан, и про многое другое писать хочется... Пролетят голуби, прокатится в небе гром...

– Ну и пиши... Приноси мне. Может, Павлик мой дорогой, из тебя когда-нибудь новый Пушкин вырастет! – засмеялась Люсик.

– Ну, Пу-у-ушкин! – задумчиво протянул Пашка. – У него слова будто птицы поют, у меня вовсе простые.

Люсик встала, положила письмо в сумочку.

– Теперь, Павлик, мне пора. Наталка и Катя ждут.

Весь день Пашка слонялся по улицам, а вечером снова встретил Люсик на Большой Серпуховке. Девушки шли, взявшись под руки, с красными бантиками на пальто и жакетах.

И как же горд был Пашка, когда Люсик окликнула и подозвала его.

– Павлик! Павлик! – приветливо махала она перчаткой с противоположного тротуара.

Пашка перешёл улицу.

– Вот, девочки, это мой самый способный ученик! – сказала Люсик подругам. – Рабочий класс, первоклассный подручный кузнеца! Он сочиняет стихи, и к тому же, девочки, у него великолепная память. Помнит наизусть все прочитанное. Ну-ка, Павлик, прочти что-нибудь из Пушкина, а?!

Пашка смущённо разглядывал девушек. Он, конечно, и прежде не раз встречал в столовке и серьёзную Наталку Солуянову, и смешливую Катю Карманову. Но читать им стихи посреди улицы, на глазах у всех?

– Ну, Павлик, не скромничай! – настаивала Люсик.

Краснея от её похвал, Пашка принял отнекиваться, но Люсик так ласково просила, что он сдался, принял читать «Вещего Олега». Когда дошёл до строчек:

Из тёмного леса навстречу ему

Идёт здоровенный кудесник...

Люсик и её подружки расхохотались так громко, что гулявшие даже по той стороне улицы оглянулись.

Как назло, Серпуховка была полным-полна, и не одна знатная семейка Замоскворечья с осуждением глазела на смеющихся студенток.

Сбитый на полуслове, Пашка исподлобья смотрел на Люсик.

– Чего смешного? – спросил с обидой.

Страяясь сдержать смех, девушка наклонилась, крепко обняла Пашку:

– Да не обижайся, Павлик! Ну-ка повтори последние строчки!

Помедлив, Пашка неторопливо, вслушиваясь в слова, повторил:

...Идёт здоровенный кудесник...

И опять девушки рассмеялись от всей души, как может смеяться молодёжь. Растревавшийся Пашка переводил взгляд с одного лица на другое. Ну что смешного?!

— Да почему же «здоровенный», Павлик, миленький? — спросила Люсик. Разве у Пушкина так написано?

— А как? — удивился Пашка. — Само собой: если кудесник, он и должен быть здоровенный, он всё может. Вон как любой кузнец в цехе, как, например, батя или Андрюха... Я так понимаю!

— Да, да, Павлик! Рассуждаешь ты правильно, но по-своему. У Пушкина написано: вдохновенный...

— Вдохновенный?.. Да, вроде бы и так, но я не знаю... не понимаю...

Не договорив, вскинув взгляд, Пашка увидел на другой стороне улицы семейку Ершиновых. «Принцесса» стояла между отцом и матерью и смотрела на студенток и Пашку с нескрываемой злостью.

Ближе к ночи квартира Андреевых была похожа на растревоженный улей. Набились не только свои, михельсоновские да с мамкиной Голутвинки, явились и соседи. Все в округе знали, что Андреич уже два раза побывал в городском рабочем Совете. От кого же и услыхать новости, если не от него!

На столе шумел самовар. Хоть и заваренный на жёных сухарях чай, а всё — угощение, не за пустым столом!

— Ты, однако, вот чего объясни, как ты есть рабочий депутат! — с хитринкой усмехался Гордей Дунаев, крановщик из их же кузнечного. — Нынче в чьих руках власть в Москве? В ваших, которые депутаты бесштанные, или у думских, кто сами себя туда ещё при царе выбрали? Ась? Может, и третье: у золотопогонников гарнизонных под началом господина Грузинова?

— Будет наша власть, Гордей. Потому что нас несчётные тысячи, — ответил Андреич, — промеж которых и ты, насмешник! И не хихиканье от тебя требуется, а помощь во всю твою рабочую силушку! Ты поглядел бы на нас сегодня в Совете. Нас же там со всех заводов целая уйма сошлась! И за спиной у каждого пятьсот выборщиков, таких же рабочих, как он сам! Смекаешь? У всех в душе та же заноза, что у тебя, торчит!.. Ты ещё и то вспомни, старина: Москва-то не сразу строилась, а по брёвнышку, по кирпичику. Так и наше дело. Ощупью бредём.

Пашка с удивлением присматривался к отцу. Что-то здорово переменилось в Андреиче за последние дни. Будто невидимая пружина расправилась внутри, и в глазах заиграл дерзкий, как у Андрюхи, пронзительный блеск...

— Как насчёт хлеба Совет решил, Андреич? — спросила Никитична, соседка-солдатка. — Откроют лавки аль нет? Голодные детишки сидят!

— Заставим, Никитична! Откроют! — заверил кузнец. — Посланы отряды по мучным складам, мельницам да пекарням. Мукомолам да искарям забастовку кончать надо, иначе рабочая Москва без хлебушка задохнется... И во всякую бакалею верные люди направлены — открыть обязательно.

— Безоружные посланы? — ядовито подковырнул Гордей Дунаев. — Ась?

— Зачем безоружные, Гордей? — повернулся к нему Андреич. — Мы же не

вовсе дураки, чтоб от торгаши милостей ждать. Плевать они хотели на наши просьбы и слёзы! Солдатики из казарм в поддержку Совету пошли. Завтра с утра всё в полном порядке будет, Никитична! И ты не сомневайся, язвитель!

Вот тут-то Пашка, сидевший возле распахнутой двери во двор, и услышал поскуливанье Лопуха. За заботами да тревогами Ершиновы, видно, начисто позабыли о несчастной собаке. Пашка подошёл к порогу, всмотрелся в ночную темь. На верхней ступеньке лестницы помахивал из стороны в сторону собачий хвост.

— Сейчас, Лопушок, сейчас.

Нашупал у подпечка собачью миску и пошёл вокруг стола, подбирав где косточку, где огрызочек хлеба. И мамка увидела, взяла миску, плеснула в неё остатки похлебки.

— На, вынеси своему дружку!

Пашка вышел во двор.

Ночь ясная. Луница светит во всю силу. Похожа на золотой рубль. Кругом звёзды рассыпаны, тоже по-праздничному большие. На этаже у Ершиновых темь. Но только Пашка вышел, окно в Танькиной горенке звякнуло. Видно, вторые рамы уже выставили, и, не зажигая лампу, «принцесса» приоткрыла окно.

Пашка всмотрелся. Так и есть! Ишь локоточки выставила, вся будто в серебро одетая, лунным светом светится. И Пашке даже с ней захотелось поделиться радостью.

— Татьянка?

Девчонка не ответила. Пашка наклонился, потрепал собаку по загривку.

— Ты ешь, Лопушок, ешь!

И тут приглушённый Танькин голос, полный мстительного торжества, прошептал над навесом, прикрывающим вход в подвал:

— Покорми, покорми дружка блохастого последний раз, студенткин любимчик! Ужо папаня велели приказчику отвести дармоеда на хомутовскую живодёрку! Нам другого приведут, волкодава! Как только его доставят, Серёга-приказчик после торговли и отведёт Лопуха. Тогда и заказывай по хвостатому панихиду! Допрыгался со студенточками, кузнецник щербатый!

Окно со звоном захлопнулось. У Пашки даже сердце остановилось: загубила она Лопуха, загубила!

Вернулся в дом. Но разговоры взрослых слушал без интереса. Всё спрашивал себя: выходит, подлюга-девчонка и впрямь упросила отца извести собаку и жизнь Лопуха закончится на живодёрке? Нельзя же такого допустить. А как спасти? С кем посоветоваться? Может, утром к Шиповнику сбегать — авось что придумает?

Всю ночь проворочался без сна. Утром, вскочив раньше всех, выбежал на улицу.

Как и сказал вчера Андреич, лавки и магазины утром открыли. Но ещё раньше, чем загремели засовы дверей и болты ставней, какие-то юркие людешки пробежали по городу, расклейивая по стенам и заборам белые листки. Возле них сразу стали собираться люди: «Что такое! Какой приказ?»

– Кто грамотный? – шумели в толпе. – Давай читай! Про чего написано? Не мир ли с германцем?

Пашка протискался к забору, пробежал глазами распоряжение нового командующего Московским военным округом подполковника Грузинова. В городе вводится «второе положение охраны» и приказывается всем вернуться на рабочие места по фабрикам и заводам. Саботажники будут немедленно преданы военно-полевому суду как изменники родины...

– Да читай для всех, оголец! – кричали сзади. – Про чего там?

Пашка прочитал вслух грозные слова и с тоскливым вопросом посматривал на толпившихся возле. Его заставили прочитать приказ не меньше пяти раз, прежде чем его оттеснил от забора плечистый парняга.

– Передохни малость, хлопец! Ишь аж охрип!

Пашка постоял ещё с минуту, послушал. Тронул за костыль стоявшего впереди инвалида:

– Дяденька солдат! Что такое: второе положение охраны?

Солдат повернулся к Пашке давно не бритым лицом. Из-под рыжеватых бровей остро глянули прищуренные глаза.

– Как понимать?! А так просто и понимай: военное или, скажем, осадное положение! Слов-то они разных напридумашь могут, а суть одна: зажать народ в железный кулак!

Пашка помчался домой.

Андреич и мать слушали сначала с недоверием, потом отец угрюмо заворчал:

– Стало быть, снова все на их сторону поворачивает? Не зря вчера на собрании один из большевиков упреждал: Временное правительство в Питере почти всё из богатеньких! Во главе князь по фамилии Львов.

– Из школ прaporов, из Александровских казарм, – добавил Пашка, юнкера с ружьями по Серпуховке топают!

– Недолго мы праздновали! – вздохнул отец. – Неужели они снова наберут силу? Неужели как была кабала, так и останется?

Сквозь воркотню отца Пашка прислушался к тому, что делается во дворе: будто бы там скрипнула ступенька.

Он бросился к двери, приоткрыл. Ага! Это из ершиновских покоев, в накинутой на плечи куртке, спускается сынок Ершина Стёпка. Сладко позёвывая, щурится в небо, где кружатся вороны стаи.

Пашка тоже смотрит на них. В его голове проносится неожиданная мысль: а почему вороны не улетают вместе с другими птицами зимовать в тёплые края? Надо у Люсик спросить, она всё знает!.. Но случайная мысль тут же и забывается. Пашка с ненавистью смотрит в узкоплечую спину Стёпки, в коротко остриженный затылок.

Легонько пиная, Стёпка подгоняет Лопуха к конуре и пристёгивает к ошейнику цепь. Это утренняя обязанность Стёпки, если «папаня» не выходит в ранний час во двор.

– Ну что?! Долодырничался, вислоухий? – В голосе Стёпки, однако, даже как будто звучит сочувствие. – Н-да, псина! Вот какие пироги! Отведут тебя,

ушастый, на хомутовскую живодерню, и каюк тебе. Шкуру сдерут, пойдёт на выделку, а мясо продадут на «козье» или «баранье» жаркое. На том для тебя всё, концы! Может, подыхая, и поймёшь, с кем след, а с кем не след дружбу водить. Разумеешь? Д-да! Ну, чего скулишь? Жрать просишь? А вот кормить тебя, дурачину, нынче папаня не велел. И согласись сам: ни к чему! Так и так подыхать!

В дверную щель Пашка слушал Стёпкины рассуждения и скрипел от бессильной ярости зубами. Вот ведь уродится такая гадина!

Стёпка ушёл в дом. Глядя на тоскливо повизгивающего Лопуха, Пашка ругал себя последними словами: не вынес утром собаке поесть. Он-то хорошо знал, что такое голод: все мысли вокруг жратвы крутятся. Но теперь вынести Лопуху можно лишь тогда, когда Степка и Танька уберутся в свои училища-гимназии, а сам Ершинов отправится в лавку или на склад. Потерпи, Лопушок, потерпи! Я тебя не забыл!

Пашка опрометью помчался на Большую Дворянскую – надо застать Люсик, пока в институт не ушла.

Она оказалась дома и, конечно, выслушала Пашку с тревогой, прикидывая вместе с ним, как спасти Пашкиного хвостатого друга. Она и сама любила зверей, рассказала, что в Тифлисе у неё под кроватью жили черепашка Снуля и ёж Ух.

– Да, Павлик, – вздохнула она. – Много на свете недобрых, жестоких людей. Ты умница, что пришёл ко мне, я вчера получила от папы денежный перевод. Мы выкупим Лопуха. У таких торгашей нет ничего, что не продавалось бы.

Пашка глянул с испугом и недоверием.

– Вы, Люсик-джан, хотите сами... к Ершинову? Да он скорее удавится, чем продаст. Особенно вам!

– А приказчик?

– Этот побоится! Вдруг Ершинов узнает – выгонит! Нет, Шиповник, не продадут они Лопуха...

Девушка с минуту молчала.

– Ты, Павлик, вывести Лопуха со двора можешь?

– Когда все уйдут – смогу! Я уж думал об этом, Шиповник-джан. Но ведь что получится? Выведу я Лопуха, он набегается всласть и опять к Ершиновым вернется. Какой-никакой, а дом, конура его там. Да и ко мне он привык. Обязательно вернётся...

Люсик снова на минутку задумалась. А потом засмеялась – легко и беспечно.

– Знаешь что, Павлик? Ты только сумей его вывести! Мы его спрячем знаешь где?

– Ну? – с надеждой спросил Пашка.

– Во дворе студенческой нашей столовки. Будет караулить запасы тёти Даши. А то она боится: обкрадут её погреб. Ведь там и крупа, и мука, и капуста, на студенческие гроши куплены.

Пашка тоже от души рассмеялся:

— Здорово вы придумали, Шиповник! Там Ершиновым Лопуха никак не сыскать.

— Вот и договорились!

Так Лопух и поселился в сараюшке возле студенческой столовки. Тёте Даше Пашка сказал:

— Лопушок мой дорогой будет верный сторож твой!

И уже знавшая всю «собачью» историю тетя Даша привычно шлепнула Пашку по затылку:

— Ишь ты, сочинитель какой!

— Это не я, тёть Даш! Это Александр Сергеевич Пушкин!

— Скажешь! Лександр-то Сергеич когда жил?

— Ну, он про золотого петушка писал, а я на Лопуха переделал. Всё равно сторож!

Лопух рыскал и носился по всему просторному двору без всякой привязи, всласть грелся на солнышке, улегшись у крыльца кухни. На улицу его не выпускали, но он не обижался на новую неволю — по сравнению с прежней она была сущим раем. И кормили тут сытнее, и цепь не душила горла, не рвала шею.

А Танька...

Она притворилась, будто и не было того злобного ночного шёпота. Столкнувшись на улице с Пашкой, смотрела на него такими невинно-доверчивыми глазами, что мальчишка диву давался. До чего же ловко некоторые умеют притворяться!

— Ты всё злишься на меня, кузнецик? — спросила девчонка с улыбкой, в которой не было и тени раскаяния. — Думаешь, я виноватая?

Пашка оглядел «принцессу», спросил:

— А наядничал кто?

— Кому? Про кого наядничал?! — Танька так искренне таращила глаза, что Пашка засомневался: а не правду ли говорит девчонка?

— Папане твоему! Про Лопуха, вот про кого! Что кормлю его! Донесла, да?! Куда вы его дели? На живодерку отвели, а?!

— Сам сбежал. И не виновата я ни перед тобой, ни перед твоим Лопухом! Зря зверем на меня глядишь! Да и разве сказать правду — ябеда? Врать-то, кому ни соври, грех великий, всегда и всем правду говорить надо! Об том и батюшка Серафим на уроках закона божия...

— У вас, у пузатых, одна правда, у нас — другая! — буркнул Пашка и зашагал прочь.

22. ВОЗВРАЩЕНИЕ АНДРЕЯ

А жизнь, хотя она и без колёс, по выражению Андреича, катилась и катилась дальше.

Введенное Грузиновым «положение второй охраны» начало действовать. Для его поддержания начальнику военного округа пришлось стянуть в Москву воинские части из соседних губерний. Но, как Пашка не раз слышал в «красной», самой надёжной опорой Временного правительства во второй столице России были юнкерские училища. Их в Москве насчитывалось

порядком, и в каждом – несколько сот юнкеров. Сейчас из них ускоренно выпускались юные офицеры, которым предстояло сложить голову в боях «за веру и Отечество» – царя больше не упоминали. Пополнялись училища из военных и зажиточных семей, на них временные правители могли положиться. «Нет, траурные странички «Нивы» не будут пустовать!» – однажды горько пошутила Люсик.

Да, царя не стало. Но проходили день за днём, и всё возвращалось в прежнюю, наезженную колею. Ничто не изменилось – те же богатые заправили заседали в городской думе, в земстве, в военно-промышленном комитете.

Так же ревели по утрам гудки Бромлея и Михельсона, Гужона и Листа, так же маялись у горнов кузнецы и подручные. Непрерывным потоком вывозились с заводов пулемёты и мортиры и те орудия, которые Николай Обмойкин называл «гаубийцами». И газеты снова трубили о войне за святую Русь, за веру православную до победного конца.

После занятий кружка Пашка любил провожать Люсик до дома, но так получалось нечасто: то подружки торопили её куда-нибудь, то провожали девушек ребята-студенты. Но сегодня Люсик задержалась в столовой, пошла домой одна – Пашка увязался с ней. И снова спросил её о «нашой республике». Люсик ответила не сразу.

– Обязательно будет, Павлик! Уж если народ царя скинул, то с десятью министрами-капиталистами как-нибудь справится!

Несколько шагов прошли молча. Тихая апрельская ночь висела над уснувшим городом. Несмотря на то что солнце давно скрылось, с сосулек на карнизах крыш со звоном падали капли.

– Сейчас, Павлик, я открою тебе маленький секрет, – сказала Люсик у подъезда дома на Большой Дворянской. – Завтра я уезжаю.

– Совсем? Навсегда?! – испугался Пашка.

– Нет-нет, Павлик! В Петроград на неделю. Товарищи посылают меня на партийную конференцию! Я ведь в партии с шестнадцатого года. В Питере я, наверно, увижу и услышу Ленина. Он вернулся недавно в Россию...

– Когда приедете, расскажете о Ленине? – спросил Пашка.

– Конечно! Но смотри, Павлик, никому пока не говори... Хорошо?

– Слово! Разве я подводил вас когда-нибудь, Люсик-джан?

– Нет-нет!.. Вернусь – мы такие дела завершим, увидишь! Хотя Костя Островитянов и шутит про «дырку от бублика», нам всё же кое-чего удалось добиться. Вернусь, и мы вместо кружка организуем на вашем заводе молодёжную ячейку в помощь партии...

Люсик не было в Москве целую неделю. Вернулась такая весёлая и бодрая, какой Пашка никогда её не видел. Дел у неё стало, как она выражалась, «выше головы». Без устали бегала по фабрикам и заводам, по институтам и рабочим общежитиям, рассказывая об «апрельских тезисах» Ленина: «Война войне!», «Мир без аннексий и контрибуций!», «Вся власть Советам!»; рассказывала о жизни Владимира Ильича. О том, как царские судьи сослали его в далёкую сибирскую ссылку, как жил он в изгнании, за границей, как боролся всю жизнь за счастье простых, обездоленных людей.

— Это человек необыкновенный, — сказала Люсик Пашке при первом же разговоре. — Иногда кажется, что в нём какая-то молния спрятана, вот-вот вспыхнет и ударит! И в то же время удивительно простой, — добавила девушка.

— Глаза у него на редкость добрые и такие живые — вот уж и правда как молний...

Занятия молодёжного кружка Люсик с помощью Островитянова перенесла в завком михельсоновского завода, и назывался кружок теперь громко и звучно: «Молодёжная ячейка имени Коммунистического Интернационала», первая в Москве!

Пашка оставался верным помощником Люсик. Всё свободное время проводил в «красной», бегал с поручениями, относил рукописные листочки в типографию Сытина, где с марта печаталась большевистская газета «Социал-демократ». Редакция газеты и работала в то время в «красной». Редактор её, Иван Иванович Скворцов-Степанов, тоже привязался к Пашке, относился к нему, словно к родному сыну.

Была у Люсик ещё одна радость, о которой она не уставала рассказывать. На апрельской конференции в Петербурге она встретилась с любимой учительницей, Еленой Стасовой. Перед февральской революцией Елене Дмитриевне удалось добиться разрешения приехать в Петроград на свидание с родителями. Революция застала её здесь, и в ссылку Стасова не вернулась. С приездом Ленина стала одной из самых деятельных его помощниц.

— Для меня, Павлик, эта встреча, — как-то сказала Люсик, — была самым драгоценным подарком, какой я могла получить. Помнишь, я говорила тебе о книгах и людях-колоколах. Так вот Елена Дмитриевна и есть для меня один из таких колоколов!.. Ты представь: я думаю, что она томится в минусинской ссылке, а вхожу во дворец Кшесинской — и навстречу мне... Кто? Она... Елена Дмитриевна! Когда я была совсем девчушкой, она учила меня справедливости и добру, учила бороться за торжество правды на земле. И поверь, Павлик, эта старая большевичка, прошедшая тюрьмы и ссылки, заплакала, когда здоровалась со мной! Да-да! И добавила: «Я ведь всегда верила, Люся, что мы обязательно встретимся!»

А через три месяца из Петербурга пришел страшный слух о расстреле третьего июля на Невском рабочей демонстрации и о намерении временных правителей предать суду Ленина!.. Ленина, который всю жизнь боролся за освобождение рабочих от кабалы, за справедливость на земле!

В начале осени — самое радостное в Пашкиной жизни событие: возвращение брата.

Вернулся Андрей не так, как его с трепетом ожидала семья: не с пустым шинельным рукавом, не на деревянной ноге-култышке, а живой и невредимый, хотя и ужасно похудевший. «Ну, чисто скелет!» — сказала о нём соседка Никитична.

Произошло это так.

Андреевы уже поужинали, мамка убирала со стола, батя крутил цигарку. Пашка принял чай читать вслух статью из «Социал-демократа». Теперь по утрам он вскакивал задолго до первого гудка и, схватив подготовленный матерью

завтрак, торопился в сытинскую типографию. Как и прочим добровольным газетчикам-мальчишкам, ему вручали пачку пахнувших краской листов, и он мчался с ними к проходной завода.

Газету во всех цехах ждали – ведь только из неё и можно было узнать, что творится на измаявшейся Руси. Один номер газеты Пашка всегда оставлял себе, чтобы перед сном прочитать самое главное своим старикам.

В тот вечер он успел прочитать лишь заголовок:

– «Жертвы Керенского – солдаты-двинцы объявили голодовку, выставив лозунг: «Свобода или смерть!»

В эту минуту с улицы постучали в дверь. Стук был незнакомый, чужой. Переглянувшись с отцом, отложив газету, Пашка пошёл открывать.

За порогом стоял солдат в замызганной шинели. Седоватая бородка, рука на перевязи.

– Мне бы Андреевых повидать, – сказал он.

– Мы и есть Андреевы, – ответил Пашка. И сердце заколотилось во всю силу: от брата! Поспешно отступил в сторону, давая гостю дорогу. Проходите, дяденька солдат!

– Бывший, однако, солдат, – поправил седоватый, перешагивая порог и снимая армейскую фуражку. – Списали по чистой, милый, за непригодностью. Четыре пальчика, ровно ножом, осколком срезало... Письмишко у меня к вам...

– От Андрюши? – Задохнувшись радостью, мать выронила жестяную миску. Та со звоном покатилась по кирпичам пола. – Живой он? Живой?

Андреич встал, поддержал жену.

– Сядь, а то свалишься, – с грубоватой лаской проворчал он. Проходите, служивый! Павел! Подогрей самоваришко! Мать, ишь, вовсе не в силах. Да успокойся ты, милая! Весь-то какая счастливая: не отлита ещё на нашего Андрейку пуля!.. Садись, служивый, сейчас мы с тобой покурим, чайку попьём со встречей! Шинелку-то скидывай. Павел, пособи раненому!

Пашка помог солдату снять шинель, повесил её и вернулся к самовару. А сердце радостно стучало в груди: жив Андрей, жив!

Мать нетерпеливо всматривалась в солдата. Тот аккуратно оправил гимнастерку, пригладил ладонью бородку и лишь тогда сел к столу.

– Воюет наш-то? – не выдержал Андреич.

– Отвоевался! – коротко бросил солдат.

– То есть как отвоевался?! – вскинулся Андреич. – В госпитале, что ли? Иль, может...

И оглянулся на побледневшую жену.

– Да нет! Цел он, цел ваш Андрей! – замахал гость здоровой рукой. Ну, однако, в Бутырках заперты.

– В Бутырках?! За что же он там?! – удивился Андреич. – В чём вина? Поди-ка, надерзил что начальству? Или что похуже?

– Да вы успокойтесь! – улыбнулся солдат. – Их, дерзких-то, в Бутырки из города Двинска почитай тысячу под конвоем привезли. Вот и сидят там, голодовку держат.

Ловко орудуя пальцами одной руки, гость оторвал квадратик газеты,

свернул самокрутку, наклонился к цигарке Андреича – прикурить. Глубоко затянулся, с удовольствием выдохнул к потолку дым.

– За что же их? – шёпотом спросила мать.

– А не бунтуй против начальства! Против войны не смей возражать!.. За это самое!.. В Двинске таких молодцов, как ваш Андрей, до двадцати тысяч по тюрьмам да губвахтам напихано, суда ждут. Ну, а кто подерзей, поопаснее, сюда, в Москву, привезли... У меня женин брат в тюрьме Бутырской в надзирателях от войны затаился. Им тюремную службу за действительную засчитывают... Андрей и попросил передать записочку. Ну, а почему не передать, если по-человечески рассудить? Ведь и надзиратели-тюремщики не все же подлецы отпетые. Вот она – записочка вам.

Отложив на край стола цигарку, солдат достал из кармана гимнастёрки сложенный вчетверо клочок бумаги.

– Ты Павел, что ли? – повернулся к гремевшему самоварной трубой Пашке. – Брат сказал – грамотный, вот и читай! Я до ранения с ним в одном полку служил.

Сначала мать, потом Андреич бережно подержали в ладонях записку, а уж потом она попала к Пашке.

«Мамка, батя, Пашка! Я живой и здоровый. Сидим в Бутырках, но считаю – днями буду дома. Ма! Еды никакой не носи, но купи табачку-самосаду побольше и позлее, чтобы за душу рвал. Тут у нас курева ни пылинки! До скорого! Целую всех!»

Больше на бумажке ничего и не уместилось.

– Чего голодуют-то? – спросил Андреич. – Не кормят, что ль?

– Не! Своей волей-охотовой решили. Начальство изо всех сил просит: «Хлебай баланду, солдатики!» А они – ни в какую, из протesta, значит. И воевать более не желаем, и из тюрьмы выпускай! Зубастые все, ровно щуки! Без всякого уныния голод держат, даже песни поют. Ваш Андрей – самый дерзкий, самый зубастый! Ну и справедливый, плохого не скажу.

Пашка с радостью глянул на мать; она плакала, не вытирая слез, с силой прижимала к груди клочок бумаги. И шептала:

– Сынонька... Сыночек мой родненький!

На другой день Пашка на завод не пошёл, отправился с мамкой на базар и в тюрьму. Андреич не возражал.

– Ну и не ходи, шут с ними! Скажу – хворый!

Не послушав наказа Андрея, мамка на базаре, кроме табака-самосада, накупила всяческой еды.

– Зачем, мам? – удивился Пашка. – Братка же не велел.

– Ну и что – не велел, Пашенька? Как я к нему на свидание с пустыми руками проситься стану? Зачем, скажут, пришла? А у меня ответ: дитя моё кровное тут у вас с голodu погибает, душа материнская до смерти изболелась. Разрешите, дескать, передачку. И пусть Андрюша и крохи не возьмёт, а у начальства-то мысль: вдруг мать уговорит смутьяна не бунтовать против них, не голодать? Им же самим, начальникам, как служивый рассказывал, голодовка эта – кость поперёк горла.

— А что, мам?! — от души расхохотался Пашка. — Ну и хитрая ты у нас стала!

— Нужда научит, — ответила мать, укладывая покупки в кошёлку.

И ещё одного старого знакомца увидел Пашка на базаре. Возле большого ларя, привалившись к нему спиной, сидел на разостланном коврике Зеркалов. К стене ларя прислонены и прямо на земле разложены яркие, сразу бросающиеся в глаза картинки, недаром возле художника останавливался почти каждый. Любовались, восхищённо покачивали головами — «Ну и мастак, паря!» — приценивались. И кое-кто, не устояв перед искушением, раскошелевился, покупал что-нибудь.

Пашка долго не мог отвести взгляда от картин Зеркалова. Чего-чего только тут не было! Могучие дубы и березки среди поля, тихая лесная заводь, Москва-река с горбатыми мостами над ней, блестящие на солнце кремлёвские купола.

Зеркалов был весёлый, шутил, покрикивал. Пашка, может быть, и заговорил бы с художником — как-никак знакомы! — но мамка нетерпеливо тянула за рукав:

— Пойдём, сынка, пойдём! Как бы не опоздать!

К полудню — где пешком, где с пересадками с трамвая на трамвай добрались до Бутырок. И удивились: народу перед тюрьмой полным-полно, будто и тут базар-толкучка.

Всегда тихая и робкая, мать с поразившей Пашку настойчивостью пробилась сквозь толпу к дверям, приговаривая на ходу:

— Сынок тут у меня голодом помирает, православные! Имейте совесть, дайте пройти.

Она и караульного у двери уговорила — дескать, дело неотложное у неё к главному тюремному начальству: «Пусти, батюшка, ради Христа! И вот самосаду крепенького возьми, поотведай».

Дежурный по тюрьме — а может, это и был главный из них, злой, издёрганный, — поначалу и слушать не хотел. Усатый, с рваным белёсым шрамом через щеку и лоб, видно, тоже из бывших вояк, он сердито кричал на мамку:

— Он злодей России, бунтовщик, вот кто твой сын, бабонька! Никакого сладу с такими нет! — Он махал руками сквозь папиросный дым. — Подобных молодчиков до февраля на фронте перед строем пачками в расход пускали, розгами до смерти потчевали! А эти шестой день пайку хлебную за дверь вышвыривают и кадушки с баландой на пол опрокидывают, негодяи! Мне из-за их бунта каждый день нагоняи и по телефонам и в письменной форме! Это как, бабонька? Ты...

Но тут внезапная мысль осенила тюремного начальника. Замолчал на полуслове и, наклонившись, приподнял край полотенца, которым была прикрыта корзинка с едой. Кончиками пальцев взял кусок свиного сала, пошевелил усами.

— Х-м-м... — С прищуром глянул на толпившихся кругом помощников. — А что, вдруг польстятся, а?! — И снова повернулся к матери, за спиной которой

прятался Пашка. – Ну, добро, мать, пущу тебя к сыну! Но уговор такой: убеди ты своего болвана прекратить голодовку! Ведь они не первый месяц по тюрьмам маются, отошли вконец! Подыхать начали! – Впился прицеливающимися глазами в лицо матери: – Ну! Уговоришь?! Ведь и им пользы ни на грош, а шум по всей Москве! Мне от господ Руднева да Рябцева житья нет! Выгонят, куда я тогда? Мне же до выслуги пенсии воробышний шаг остался! – Круто повернувшись на каблуках, отошёл к застланному зелёным сукном столу. Оттуда, закуривая новую папиросу, спросил через плечо: Уговоришь?! Тогда пущу!

Мать сдержанно поклонилась.

– Все сделаю, как велишь, господин начальник! Лишь бы на сынка глянуть...

Ещё подумав, начальник затолкал только что закуренную папиросу в пепельницу, крикнул дежурившему в дверях тюремному чину:

– Сударев! Из общей шестой камеры приведи в комнату свиданий Андреева Андрея. Потом вот её сведешь к нему. Понял? Я сам при свидании у них буду. Понял?

– Так точно, господин комендант!

– Марш!

Мамка чуть не плакала от радости, а Пашка, молчавший всё время, высунулся из-за её спины.

– А я, господин тюремный генерал?

– Ты-то чего здесь, шкет?! – удивился усатый, впервые заметив Пашку. – Ты откуда взялся?!

– Андреева Андрея брат, господин тюремный генерал! Я тоже могу...

– Чего можешь?!

– Насчет уговора, чтобы голодать перестали. Про Анютку ему скажу, про невесту. Дескать, истомилась, извелась вся...

Секунд пять тюремщик с пристальным вниманием разглядывал Пашку, но ответить не успел: на столе задребезжал телефон. Сморшившись, словно от зубной боли, начальник повернулся, снял трубку.

– Да. Комендант тюрьмы Галкин у телефона. – И сразу вытянулся перед столом. – Я, господин полковник! Слушаю-с!.. Так... так... Всех? Ага! В Озерковский госпиталь в Замоскворечье – триста шестьдесят? Остальных в Савёловский? Да, много слабых, лежат в лёжку... Четверо уже того... отголодались. Точно-с. Так... так... Санитарные повозки? Вечером?.. Всё будет готово к назначенному часу, господин начальник военного округа!

Осторожно положив телефонную трубку, размашисто перекрестился и с повесевшим лицом повернулся к подчинённым:

– Слава богу! Приказ полковника Рябцева: двинцев развезти по госпиталям. Вечером, чтобы без шума. Ух ты, гора с плеч!

Снова, но уже другими глазами посмотрел на Пашку и его мамку, ожидающих у двери.

– Никаких вам свиданий! Слышали? Забирают смутьянов из-под моей власти! Они мне даже уголовных на голодовку подбили, негодяи! Вон!

Воо-о-он! Сударев! Выдворить немедленно, чтобы духу их здесь не было!

Через минуту мать и Пашка, бесцеремонно вытолканные, оказались на улице, где по-прежнему шумела и волновалась толпа. Андреевых сразу окружили, закидали вопросами.

– Ну, чего там, миленькая?

– Не взяли передачку, ироды?

– Ведь, сказывают, помирают которые!

У матери едва хватило сил выговорить сквозь слёзы:

– По больницам их, бабоньки, по госпиталям всех. Выходит, лечить велено...

Да, тем же вечером голодавших двинцев увезли из Бутырок в госпитали – многие действительно были на пороге смерти. По счастливой случайности Андрея и его однополчан переправили в Озерковский госпиталь, в Замоскворечье.

Это был самый незабываемый для Пашки день. Радовало счастье мамки, её светящееся лицо, сияющие глаза. Она без конца улыбалась, оглядываясь на сынишку.

– Вот и дожили до праздника, золотце моё!

Дверь после ужина не запирали. Мать поверила, что Андрей нынче же заявится домой, и заранее готовила праздничный стол. Напекла любимых Андреем пирожков с капустой, собрала на стол то, что носила днём в тюрьму, и всё, что нашлось в доме. То и дело доливала и подогревала выкипавший самовар, прислушивалась к любому шуму на улице, к шелесту шагов за высокими окошками.

Сохраняя внешнее спокойствие, Андреич сидел у стола, и лишь быстро опустевший кисет выдавал волнение старого кузнеца. А Пашка, тот и не старался ничего скрывать, вскакивал и бросался к двери, когда дребезжали на улице колёса, звучали голоса.

Заглядывали соседи: весть о перевозке двинцев из Бутырок Пашкина дружины за час разнесла по всему Замоскворечью. Забежал Пашка и в «красную», поэтому и Люсик с Алешей сидели вечером за нетронутым праздничным столом в андреевском жилье. Они пришли, когда стемнело, остановились на пороге.

– Не помешаем вашей радости, майрик? – спросила Люсик.

– Да что ты, Люсенька, миленькая?! Кому и прибавить радости к такой встрече, если не тебе?!

Разговаривали мало. Сидели. Ждали.

Только Пашка каждые пять минут выпрыгивал на улицу, топтался под фонарем, вглядываясь в тьму хмурого сентябрьского вечера. И Анютка, работавшая в дневную смену и помогавшая мамке готовить стол, тоже выскакивала следом за Пашкой, бросалась навстречу каждой замаячившей вдали тени.

Пришел Егор Козликов, сменившийся с поста у вокзальных путей, явился Гордей Дунаев. Сидели и дымили вперегонки с Андреичем.

– А вдруг их и там, в госпиталях, стеречь, как арестантов, станут? Их же

дезертирами считают! – сказал Козликов, поглядывая на стрелки ходиков.

– Да что вы, Егор Савельич! – горячо возразила мать. – Сердце-то у меня чует, его не обманешь!

Но всё же на Серпуховской каланче часы пробили десять, прежде чем с улицы донёсся счастливый вопль Пашки и задыхающийся голос Анютки:

– Андрюшенька-а-а!

Сидевшие за столом встали, будто по команде, повернулись к двери. Андреич поддерживал под локоть свою «хозяйку», ласково приговаривая:

– Да уйми ты сердце, милая! Ишь словно молотком бьёт!

Сильно ударив скобой о стену, распахнулась дверь, в ней с трудом протиснулся Андрей. С трудом потому, что с одной стороны, обхватив его за шею руками, висела Анютка, а с другого бока к брату прижался Пашка. И мать не удержалась на ногах, бессильно опустилась на подставленную Андреичем табуретку.

– Сынонька... первенецкий мой!

Мягко, но решительно отстранив Анютку и Пашку, Андрей подошел к столу, обнял мать.

– Вот и я, мам! Говорил, обязательно вернусь! А ты сомневалась.

За год Андрей стал как бы выше ростом, шире в плечах и похудел так, что на лице прежде всего привлекали внимание ярко-синие глаза да литые, выпяченные вперёд скулы. Он поцеловал сначала худенькую руку матери, потом губы, щёки, а она так и припала всем телом к сыну – никакой силе не оторвать. Ситцевый платочек сился с седеющих волос, и Андрей ласково гладил прижавшуюся к его груди голову.

– Ну, мам! Успокойся! Дай мне с батей поздороваться! Ишь обижается, усами шевелит!

Пришел Андрей не один. Впереди столпившихся у двери соседей Пашка разглядел незнакомого солдата в шинели без погон, в фуражке со следами сорванной кокарды.

Обнимая отца и мать, Андрей оглянулся на дверь.

– Вот, мамаша и батя, прошу любить и жаловать моего фронтового побратима Женю Сапунова. Если полностью: член полкового партийного комитета, бывший унтер 303-го Сененского полка Евгений Николаич Сапунов! Прошу приветить, как родного сына, потому что нет у него в Москве, кроме меня, другой родни. Жена и детишки тоскуют по нем где-то в Калужской губернии. Проходи, дружище, тут все свои!

Снимая на ходу фуражку, стройный и такой же худющий, как Андрей, Сапунов прошел на середину комнаты и поклонился сначала старикам Андреевым, потом остальным. Андрей тем временем ласково и бережно жал тоненькие руки Люсик, обнимал Столярова, хлопал по плечам Козликова, Дунаева и других.

– Стало быть, все живы! – приговаривал он, стараясь подчеркнутой весёлостью скрыть волнение встречи, о которой столько мечталось в окопах, в топи пинских болот, в лесной чащобе на Буковине...

Через десять минут жилье Андреевых оказалось битком набито. Кому не

досталось места за столом, расселись за раздвинутой занавеской, на корточках вдоль стен, стояли у двери. «Народу-то собралось, сынонька, словно на праздник самый великий!» – скажет утром на другой день Пашкина мамка.

Андрея и Сапунова усадили во главу стола, между стариками. Пашка, пристроившийся напротив, рядом с Люсик, не сводил с брата взгляда, лишь изредка мельком посматривая на других: все ли рады, как он?

Говорили прежде всего о войне.

Больше рассказывал Андрей, в его голосе звучала какая-то новая, незнакомая раньше Пашке сила.

Он слушал, разинув рот, и удивлялся: как не замечал прежде, что глаза у брата такие красивые! Но Аньотка-то, должно, углядела с первой встречи – вон как льнёт! Пристроилась позади, ухватила за плечо, будто кричит неслышно: «Мой! Никому не отдам!» Мамка, та просто светится-сияет. И батя дымит махвой без конца, довольно оглаживает шрамистой рукой бороду: всё ладно, всё добрым чередом!

– Одно то, – убежденно говорил Андрей, – что нас, почти тысячу так называемых «политиков», временные выпустили из Бутырок без суда, показывает их слабость, бессилие! В «Окопной правде» не раз писано, что русский солдат голосует за мир ногами. То есть втыкает винтовку штыком в землю и бежит с фронта, из окопов, где иные мерзли, голодали и кормили вшей целых три года. Не из трусости бежит, нет! В чём, в чём, а в трусости русского не попрекнёшь! Просто краешек правды ему просветился впереди... Царя нет, Советы...

Отставив пустую чашку, вступил в разговор Андреич:

– Тут, видишь, сынок, в чём сложность! Оттуда, с фронта, вам не всё видно, как оно тут идёт на самом-то деле. Ну, правильно, выбрали мы от всей трудовой Москвы свой рабочий Совет. От каждого пятисот кузнецов и прочих там кочегаров одного в этот Совет послали. Сидим мы там, шумим, а толку что? Чуешь, сын?

– Слушаю, батя!

– Я к чему веду? – продолжал Андреич. – Ну, собираемся мы в Московском Совете. А временные, гласные думские на все наши жалобы да требования плюют, как и до того плевали. Власть вся в их руках осталась. Даже восьмичасовой день никак выбить не можем! Как при Николашке Кровавом на богачей да на проклятую войну батрачили, так и теперь батрачим! Это дело? А ведь рабочему человеку без трудовой копейки не прожить, детей не прокормить. Да? Хочешь не хочешь, а заревёт утром гудок, так и топочи к горну. Выхода простому человеку из тупика и не видно. Вот какая думка у нас сердце грызёт, Андрей!

Поднял тёмную, заскорузлую руку и Гордей Дунаев.

– Верные слова, Андреич! Будто бы и есть видимость власти, и районные и Московский Советы выбраны, и завкомы, и профсоюзы. А как держали нас хозяева за глотку железной рукой, так и держат, дохнуть не дают... Слышино, будто и Ленина велено схватить и без суда на месте расстрелять! На это что ответишь?

Сидевшие за столом и стоявшие по сторонам согласно загудели:

- В самую сердцевину, Гордей!
- Как жили в тисках, так и живем...
- Просвету нет!

Тронув лежащую на столе руку Андрея, поднялся над столом Сапунов. Был он высок и строен, чёрные острые усики подрагивали на чисто выбритом худом лице. «Ишь успели все же в госпитале побриться», – подметил Пашка.

– Позвольте мне! – попросил Сапунов. – Хоть и новый я среди вас человек, а сказать слово и мне хочется...

- Давай, Николаич!

И все кругом притихли.

– Для начала о себе скажу, чтобы вы знали. Из крестьян я, из Калужской губернии. Ни земли у меня, ни лошади, всю жизнь на богатеев хребет гнул. Детишек четверо, мал мала меньше. Батька в годах, ворочать на всю семью ему не по силам... – Зорким, быстрым взглядом карих глаз Сапунов окинул слушателей. – Это я к тому говорю, чтобы доверие у вас к моим словам было... Ну, дальше. Отец Андрея насчет нашего безвластия верно выразился. Но и то вспомнить надо: такой бесчеловечный порядок на Руси веками укреплялся, и хозяева- заводчики да помещики за него всеми руками-клешнями держатся. Как такую глыбину сразу повалить? Мы же до сих пор порознь жили, каждый в своем углу от беды прятались, за свой нищий ломоть хлеба держались. Так ли, граждане-товарищи?

- В точку!

– Хоть и клянём мы войну на все лады, – с живостью продолжал Сапунов, – а многим она впервые глаза на жизнь пошире открыла! Народ-то она со всей России в одну кучу сгребла, в окопах одним огнём крестила, одной кровью мазала. А тут тебе и «Окопная правда», и «Солдатская» уму-разуму учат. Невольная думка в мозги лезет: ну, кому из нас война нужна, что она нам, кроме ран да смерти, несёт?! Вон сколько их, колченогих воинов, по Москве ковыляет!

- Правду-матку служивый режет! – подал кто-то голос от двери.

Сапунов помолчал, внимательно поглядывая кругом.

– Так что же? – выпрямившись, возвысил он голос. – Вот Андреич насчёт безвластия Совета рабочих депутатов жаловался. А ведь неправильно это, дорогие! Потому что как раз Московский Совет и вызволил нас из бутырской каталажки. Перед городским головой Рудневым и перед начальником военного округа Рябцевым, не теряя минуты, за нас боролись. В камеру к нам комиссия от Совета с товарищем Смидовичем являлась, и наши депутаты в Совете побывали. Комендант Бутырок Галкин, на что, рассказывают, лютый мужик, а и тот слёзно упрашивал: «Прекратите, будьте добренъкие, голодовку!» Ну, а мы на своем. И ежели бы не ваш Совет рабочих депутатов, Андреич, многим из нас пришлось бы помереть в Бутырках, не видя света и воли. Так что о бессилии вы зря, отец. Сила наша – в сознании правоты нашей, вот что скажу.

Слушали Сапунова, словно заворожённые и словами его, и звонким и в то же время суровым голосом. С торжеством оглядев собравшихся, Сапунов

расстегнул кармашек унтерской гимнастёрки, достал оттуда бумажный листок.

— Если желательно послушать, я прочту, что мы из Бутырок писали, когда решили на голодовку встать. Как вы?..

— Читай, читай, служивый!

— Ну вот... Написали мы так: «Требуем немедленного освобождения. Если в течение двух дней не последует освобождение, то мы решили умереть, но виновными себя не признаем, так как сам наш арест есть не что иное, как контрреволюционный удар по демократии. Посему для нас свобода или смерть — один выход!» Вот, значит, москвичи-товарищи, какое было наше твёрдое решение. Поняли теперь? Если бы не Совет...

Не договорив, устало махнув рукой, Сапунов опустился на своё место рядом с Андреем. Пашка смотрел на бывшего унтер-офицера восторженными глазами. Вот, значит, какие они там собрались, все вроде Андрюхи!

Мамка протягивала Сапунову дымящуюся чашку чая.

— Испей, миленький! Сил-то у тебя после голода, видно, чуть-чуть осталось. Аж побелел весь. Пирожка моего откушай, с любовью пекла.

Сапунов принял чашку чая и, испытующе поглядывая кругом, закончил:

— Последнее моё слово к вам будет такое. Вот чуток оправятся ребята в госпиталях, и считайте, Андреич, что все, как один, придут на помощь Совету!

— С пустыми-то руками? — поинтересовался Дунаев. — У Рябцева... у него под началом, сказывают, до ста тысяч штыков да сабель. А у вас что? Иль, может, рогатки у Пашкиной ребятни взаймы попросите? Ась?

— Все с подковырками, дядя Гордей? — усмехнулся Андрей. — Ох и ехиды!

— А ведь как загорится, первый вместе с нами в огонь бросишься! Угадал, а?! — Он чуть помолчал и уже серьёзно продолжал: — Нет, с голыми руками нам никак их не одолеть. Но ведь в Кремлёвском арсенале оружейного запаса-припаса не на одну — на две-три революции хватит. И стоит в Кремле полк, в котором много нашего брата, большевиков. Во главе полка тоже большевик Берзин. В Бутырках-то и из того полка сидят, от них знаем!

— У нас, на Михельсоне, ребята болтают, — вмешался в разговор Саша Киреев, — ещё с февральской поры по разным закутам немало и винтовок и карабинов попрятано.

— Слыши, дядя Гордей? — засмеялся Андрей.

Вмешался в разговор и Егор Козликов:

— А если пошарить на вокзалах по запасным путям, там не один десяток груженных оружием вагонов сыщешь, зелёного семафора на фронт ждут.

— Вот оно и оружие, дядя Гордей! — подхватил Андрей.

Не думая об опасностях, которые принесут людям будущие сражения, Пашка с восторженной радостью поглядывал на всех. Взгляд его скользнул по лицу Люсик, и мальчишку поразило выражение застывшей на нём задумчивости и печали.

— Вы что невесёлая, Шиповник? — шёпотом спросил он. — Ведь как всё здорово оборачивается!

Люсик наклонилась, шепнула Пашке в самое ухо:

— Так ведь кровь прольется, Павлик. И ещё я все про Владимира Ильича да

про Елену Дмитриевну думаю, как им сейчас в Питере тяжело. Временные хотят убить Ленина, целыми отрядами его разыскивают. Значит, и всем старым большевикам там трудно. Вот что беспокоит, милый...

– Да разве наши дадут таких людей в обиду?! – удивился Павлик.

– На это и надежда...

Разговор у Андреевых затянулся за полночь, и уж после того, как стрелки ходиков переползли за двенадцать, гости стали один за другим расходиться. Уходили незаметно, не прощаясь, чтобы не мешать беседе.

Ещё в начале вечера Пашка по приказу отца распахнул дверь во двор дышать от табачного дыма нечем. Теперь, когда в полуподвале стало просторнее, со двора потянуло холодной дождевой сыростью, и Пашка прикрыл дверь. Выглянул на лохматое низкое небо, послушал лай волкодава – за гомоном голосов его раньше и слышно не было. Пожалел Пашка, что нет Лопуха: косточек бы ему сегодня набралось порядочно. А с волкодавом заводить дружбу он и не пытался, вышло бы вроде предательства.

Самыми последними уходили Люсик с Алёшой, а за ними Сапунов. Перед прощаньем Люсик не вытерпела, похвалилась:

– Знаете, Андрюша, как здорово пошло у нас дело с заводским кружком. Ребята изо всех цехов тянутся. Только вот беда: михельсоновский управляющий после питерского расстрела снова себя в силе почувствовал. Пытается выжить кружок из завкома.

– Ну, вот вам моя рука, Люсенька! Прижмём этих гусей, поможем! Мы и на завод, и в завком своих парней подбросим. Мы им завернём гайки, кровососам!

– Вот и славно, – улыбнулась Люсик. – Заранее благодарю за ребятишек. Вы знаете, Андрюша, такие есть способные, не хуже вашего Павлика...

Сапунов посидел ещё минут десять, разговорился с Пашиной мамкой.

– Мы ведь вроде по родной земле соседи с вами, Николаич, – сказала она.

– Что Брянщина, что Калуга рядышком.

– Да, соседи – вроде родня! – согласился Сапунов, всматриваясь в лицо матери. – Как-то мои там? Три года не видел. Как призвали в четырнадцатом, так и всё. Отпуск по уставу полагался бы, да не в почёте я у начальства. То на губу посадят, то по тюрьмам мытали!

– Ну, теперь-то поедете, свидитесь, – попыталась утешить мать.

Худое лицо Сапунова напряглось, туже стиснулись под чёрными усиками тонкие губы.

– Навряд ли скоро. – Он озабоченно покачал головой. – Дел тут – гора высокая! Вот-вот революцию поднимать, как мне в такую пору фронтовых друзей-побратимов бросать, мамаша?

– Неужто не поедете? – воскликнула мать.

– Кто знает... – Сапунов пожал плечами. Он снова расстегнул кармашек гимнастёрки, достал сложенный треугольником листок. Улыбнулся печально и смущённо. – Вот, – будто признаваясь в чём-то тайном, сказал он. – Ещё в Двинской тюрьме написано. Если не суждено повидать родных... Всякое ведь может случиться...

Рука, державшая развернутый исписанный листок, чуть заметно дрогнула.

– Письмо им, что ли? – спросила мать.

– Ну да... Вдруг не доведётся свидеться. Ишь как истёрлось. Вот что я им написал: «Всё может быть, дорогие мои родные, но что делать. Если погибну, то помните, дети, что отец ваш весь свой век боролся за поруганные права человека и погиб, добывая свободу, землю и волю...»

Пашка, мамка и даже Андреич всматривались в лицо Сапунова с жалостью и страхом, а он аккуратно сложил письмо и спрятал.

– Убьют, а какая-нибудь добрая душа найдет и пошлёт семье. Пусть и с того света, а всё родная весточка. – Он резко провел ладонью по лицу и встал. – Однако загостился я у вас, дорогие. Пора. Ты, Андрей, проводил бы меня, а? Не москвич я, плутать стану... Вам, мамаша, за ласку и за угощение спасибо сердечное!

Пашка пошёл с Андреем провожать Сапунова. Троє они долго брели по пустым, тёмным улицам к Озерковскому госпиталю. Бывшие солдаты обсуждали, что делать завтра и послезавтра, а Пашка шагал молча и думал о них, примерял к ним давно полюбившееся пушкинское слово: «Вот они какие, витязи!»

23. НАКАНУНЕ

В эту ночь, впервые за долгий-долгий год, Пашка снова ночевал в своём закуте не один. Напротив посверкивал в темноте красный светлячок самокрутки.

Братья переговаривались шепотом, чтобы не тревожить отца и мать. Пашка приставал к брату с расспросами о войне, о летающих, словно диковинные птицы, аэропланах, об одетых стальными листами машинах, которые гусеницами ползут по земле, по окопам, давят солдат, как червяков. А Андрей интересовался заводскими делами, кого из ребят забрали в армию или за непокорство и дерзость упрятали в полицейскую клоповку.

Мать тихонько звенела посудой, убирая со стола. Разва три подходила к спальному уголку сыновей, отводила в сторону занавеску и спрашивала ласковым шёпотом:

– Всё не спите, ненаглядки мои? Да ведь утро скоро.

Андрей вставал, обнимал мать, отводил к кровати, где уже либо спал, либо притворялся спящим, похрапывая, отец.

– Да ложись ты, маменька, – уговаривал Андрей. – Устала же...

– Мне бы, сынонька, на веки вечные такую сладкую усталость! счастливым смехом смеялась в ответ мать.

Наконец, когда на Серпуховской каланче пробило три, угомонилась и мамка. Гася о край койки окурок цигарки, Андрей широко зевнул.

– Ах, Арбузик, Арбузик, до чего же хорошо поспать не на тюремных нарах! Нас с Сапуновым еще в Двинске полгода по гауптвахтам да тюремным камерам мытирили. Давай кончай болтать. Завтра дел – не знаешь, с чего и начинать...

– Ладно, братка! – согласился Пашка. – Только ещё последний вопрос. Можно?

– Если последний, валяй, Арбузик!

– Как, братка, считаешь, где наша революция скорее начнётся? У нас в Москве, в Питере, а может, прямо на фронте? Там же у каждого солдата в руках ружье. А?

Андрей ответил негромко, но твердо:

– Я считаю – в Питере, Паша. Хотя время везде взрывное – динамитное, можно сказать. Но именно в Питере главные временные окопались. Гадюку нужно не за хвост, за голову хватать. К тому же питерский рабочий народ подружнее, поухватистей. Да и Ленин к ним поближе, пусть и скрытый где-то. Большая у всех тревога за его жизнь, Арбузик! Начальник-то Петроградского округа Половцев особые отряды по городу и губернии разослал: где Ильича схватят, там ему и смерть. Без суда и следствия. Чуешь, Павел? Конечно, Ленина любой рабочий грудью заслонит, в своей конуре спрячет, но и без осторожности никак нельзя... Теперь спи! Будем из Питера вестей ждать. Народу всему враз подниматься надо, иначе нам шеи поодиночке свернут...

Утром братья проснулись рано. Мамка на работу уже неделю не ходила: в ответ на требования ткачей установить минимум заработка Голутвины уволили всех, кроме мастеров да сторожей. А объявление повесили: закрывается фабрика из-за нехватки угля.

Михельсоновский завод продолжал работать, но Андреич решил пропустить день. Тиски «положения второй охраны» к осени отпустили свою железную хватку, и рабочие многих заводов и мастерских то и дело бастовали.

Не пошёл на завод и Пашка, побежал в типографию за «Социал-демократом». Андрей и старики сели пить чай.

– Солдату в окопах, ясное дело, невмоготу, сын, – говорил Андреич, но ведь и нашему брату не мёд с маком. Цены на всё растут, будто на бешеных дрожжах, а хозяева как нам платили, так и платят. Мы им про рабочий контроль, про восьмичасовой рабочий день, а они в ответ фигу. Иначе, грозят, завод прикроем, а вас – вон! К слову сказать, с августа на забастовку встали кожевники по Москве. Обувные, шорно-седельные, прочие, побольше ста тысяч. Бастуют второй месяц! С других заводов им помочь оказываются по силе-возможности. Потому и держатся. Не глядя на тяготы, сынок, народ посознательнее стал...

– Чего же кожевники требуют?

– Да то, что и всё! Отменить штрафы, мастеров самых лютых – прочь, заработок повысить. Ну и конечно, восьмичасовой... Боюсь только, задушат их хозяева. Уж больно жизнь трудна стала!

Вернулся Пашка с пачкой газет. Андрей тут же развернул газетный лист, пробежал взглядом по заголовкам. Глаза сразу потемнели, брови связались на переносице тугим узлом.

– Чего, сын? – встревожился Андреич.

– Очередное зверство! Ну, да другого и ожидать нечего...

– Читай-ка!

Андрей прочитал вслух:

– «Калужский Совет разгромлен. Многие его члены убиты. Гражданская

война объявлена! Правительство, помещики сомкнутым строем идут против крестьян, солдат и рабочих. Необходим немедленный отпор!..»

Пашка, неотрывно смотревший на брата, поразился выражению его лица никогда не видел у Андрюхи таких напряжённых, недобрых глаз.

– Да, сын! – вздохнул Андреич, вставая вслед за Андреем из-за стола. – Не жалеют они нашей кровушки!

Ответил Андрей от двери, надевая шинель:

– Ничего, батя. Мы с них за каждую каплю крови, за каждую материнскую слезу взыщем! Ух, до чего я это вороньё ненавижу!

– Андрюшенька, милый! – окликнула мать. – Ты что же? Совсем уходишь?

– К вечеру приду, мам! Теперь в госпиталь, за Сапуновым. Вместе в Московский рабочий Совет подадимся! Есть там верные люди: Оля Варенцова, Емельян Ярославский, другие. С ними совет держать будем... Военному делу народ надо учить, к бою готовить. Ишь Калуга-то что показала! Много наших они там побили! – Надевая фуражку, Андрей невесело усмехнулся: – А ты куда нацелился, Арбузище?

– С тобой, братка!

– Ну, айда, подручный! – Уже с порога Андрей обернулся к отцу. – Как он, батя? Шуровать у горна подучился?

– Вовсю шурует! Добрый кузнец растёт!

Пашка шагал по знакомым улицам рядом с Андреем, с гордостью поглядывая на встречных. Дождик перестал, и кое-где сквозь белёсую рвань осенних облаков просвечивало синеватое, выцветшее небо. Мёрзли очереди у хлебных и бакалейных лавок.

На Малой Серпуховской, неподалеку от Коммерческого, братьев остановил радостный крик:

– Андрюша! Павлик!

Это торопились в институт Люсик и её подружки – всегда весёлая, остроглазая Катя Карманова и тихая, молчаливая Наталка Солуянова. Люсик крепко пожала братьям руки.

– Куда, Андрюша?

– Да к ребятам, к двинцам, в Озерковский.

– Вечером в завком зайдете, Андрей?

– Обязательно!

В госпитале Андрея ждали. Привезённых из тюрьмы двинцев начальство госпиталя побаивалось, и потому они пользовались относительной свободой. У кого хватало сил, бродили из палаты в палату, гуляли во дворике.

Сапунов и еще один незнакомый Пашке солдат встретили Андрея у ворот.

– Тут мы, Андрей, такую штуку обмозговали, – сразу приступил к делу Сапунов. – На долгий покой нам в госпитале рассчитывать не приходится. Чуть на поправку – и начнут они нас поодиночке распихивать по разным полкам, лишь бы от Москвы подальше. Слушок идёт, в Витебск собираются везти.

– Другого нам и не ждать, – сказал Андрей. – Вместе мы – сила, вот они нас и разгоняют.

– Так, – кивнул Сапунов. – Давайте-ка отойдем в сторонку, чтобы без

лишних ушей. Братишка не из болтливых?

– Ну! – улыбнулся Андрей. – Понимает, что к чему! Член молодёжной ячейки в помощь партии.

– Дело! Ну, пошли!

За кустиками сирени в окружении старых лип зеленела облупившейся краской беседка.

– Ты, Паша, покарауль возле, – приказал Андрей. – Понятно? И не морщись. Тут обидного для тебя нет.

– Ладно! – буркнул Пашка. – Не глупенький...

Присел на низенькие ступеньки, огляделся. Под госпиталь приспособили пустующий особняк – видно, хозяева после февральской сбежали туда, где безопасней. Вдоль стен валялись оторванные от ставней доски, садик заброшен, в беседке выбиты цветные стёклышки в окнах.

Пашка прислушался к разговору в беседке. Высокий и резкий, чуть приглушенный голос Сапунова был хорошо слышен.

– Вот мы составили письмо к рабочим депутатам Москвы. Давай, Андрей, послушаем да исправим, если что нескладно сказано. Пишем мы так... «Солдаты разных частей Двинского фронта 5-й армии, освобождённые из Бутырской тюрьмы, приветствуют Совет рабочих и солдатских депутатов. Сегодня узнали мы, будто хотят нас направить в распоряжение этапного коменданта города Витебска по общему списку, а там, быть может, нас опять посадят в тюрьму или раскассируют по разным частям, где офицеръё задушит нашу революционную силу. А потому, ввиду полного истощения наших сил вследствие голодовки и долгого пребывания в тюрьме, просим московских товарищей депутатов хлопотать перед военным округом об оставлении нас при Московском гарнизоне на два-три месяца». Вот такую бумагу, Андрей, мы думаем передать Совету. Как твое мнение на этот счёт?

Привстав, Пашка заглянул в беседку. Напряжённые в раздумье, худые лица, подрагивающие губы Сапунова, суровые глаза брата под козырьком фуражки.

– Нести такую бумагу, – продолжал Сапунов, – в насквозь буржуйскую городскую думу нет смысла. А вот в рабочий Совет...

– Не связаться ли нам поначалу с Савёловским госпиталем? – перебил Андрей. – Им, должно быть, тоже грозит, подпишутся и они. Тогда наша просьба к Совету поувесистее станет! Там их четыре сотни. Сила!

– Верно, Андреев! – похвалил незнакомый Пашке солдат. – Сначала в Савёловский, а уж оттуда в Совет. Оно посерёзнее будет! Пошли!

Следом за братом и его спутниками Пашка добрёл до Озерковской набережной и там постоял, глядя уходящим вслед. Дымилась паром холодная река, блестел позолоченный купол церкви на том берегу, чернел горб моста. Ветер тащил по мостовой ржавые листья.

Возвращаясь домой, Пашка в начале своего переулка столкнулся с ершиновской «принцессой». Танька шла навстречу, помахивая в такт шагам вышитой бисером сумочкой. Пашка хотел пройти мимо, но Танька сама окликнула его:

— Пашка!

— Ну?

— Я вчера Лопуха видела. У студентов, во дворе их столовой. Он меня узнал. Я к забору подошла, позвала, он и подбежал. Конфетину леденцовую у меня взял. И руку мне лизнул.

— Врёшь! — вскинулся Пашка. — Да за что он тебе руку лизать станет?! За то, что на живодёрку норовили отправить? Да?

Танька долго не отвечала, с непонятным укором глядя в глаза Пашке. Вздохнула, пошла дальше, но тут же остановилась и сказала негромко и грустно:

— Я думала, ты умный. А ты дурачок безмозглый. Я же не на Лопуха, а на тебя злая тогда была. Потому всё и вышло... Эх, ты!

И ушла.

Пашка постоял, почесал в затылке. Вот и пойми их, девчонок! Сама во всём виновата, а свалить норовит на других!

24. «ДАЕШЬ НАШУ РЕВОЛЮЦИЮ!»

С возвращением Андрея жизнь Пашки как будто потекла по другому руслу, хотя внешне в ней переменилось немного. Совсем бросить работу на заводе Пашке невозможно: мамку уволили, Андрею давным-давно, со дня ареста, перестали выплачивать его жалкие солдатские копейки. Не платят и теперь, только что кормят госпитальной баландой. Устраиваться на завод Андрей не может: числится на военной службе. «Рядовой Андрей Андреев находится на излечении в Озерковском госпитале г. Москвы, приписан к Московскому гарнизону» — такую выдали ему справку. И Пашкин заработка в семейном кotle необходим.

Да и на заводе к осени семнадцатого года стало полегче. Мастера, самые злые хозяйские псы, перестали придиরаться, штрафовать за каждую малость, даже заигрывали с рабочими, опасаясь расправы. Наиболее зловредного из кузнечного цеха, Кузьму Кудаева, в дни февральской революции на мусорной тачке вывезли за ворота и вывалили головой вниз в канаву, в смешанный с грязью снег. Другого, из формовки, не дававшего прохода ни одной красивой девчонке, накинув на голову мешок, заводские парни так отдубасили ночью у Калужской заставы, что, еле отлежавшись, он три недели ходил в синяках. И хотя виновных не нашли — ищи ветра в поле! — девчонок из формовочного обходит стороной.

Андрей ночевал дома, и в темноте перед сном братья подолгу беседовали. Сколько интересного узнал Пашка за те ночи!

И всё же самую большую радость ему доставляла не близость к Андрею, а здоровье, самочувствие мамки. Она словно помолодела на десяток лет, выпрямилась, перестала сутулиться, всё чаще в андреевском жилье звенел её смех.

Однажды, вернувшись с завода спозаранку, Пашка услышал, как, возясь у печки, мамка тихонько напевает деревенскую частушку. Неслышно прикрыв за собой дверь, Пашка стоял у порога и слушал.

Мамка пела:

Ягодиничка на льдиничке,
а я – на берегу,
Кинь, Андрюша, хворостиночку,
я к тебе перебегу...

От мамкиной песенки повеяло на Пашку теплом тех далёких яркозакатных вечеров на Брянщине, где он побывал однажды. Но непонятное чувство помешало окликнуть мамку, обнаружить себя. Осторожно приоткрыв дверь, помедлив, громко хлопнул ею, и мамкина песня оборвалась на полуслове.

– Ты, Пашуня? – спросила.

– Ага, ма!

По утрам он так же бегал в Сытинскую за газетами, потом на завод, после смены, два раза в неделю на кружок Люсик.

Андрей сдержал слово и вечером, как обещал, пришёл в заводской комитет, который с февраля занимал две комнаты в михельсоновской конторе. Одну из них и отдали под занятия ячейки рабочей молодёжи, первой в Москве.

Нужно сказать, что к этой ячейке сразу потянулись ребята из всех цехов – и ровесники Пашкины, и многие постарше. Потому что Люсик теперь говорила своим ученикам больше не о прошлом, не о французских революциях и российских декабристах, а о том, что нынче занозой торчало в любой обездоленной душе. О хозяйствском произволе, о необходимости борьбы с ним, о Советах, о том, кем затеяна война, уносящая тысячи жизней. Читала Люсик и статьи из газет: «Социал-демократа», «Правды», «Окопной» и «Солдатской», иногда – листовки.

Для шпиков и доносчиков тут, конечно, было немало поживы. Хозяйским надзирателем, остававшимся по вечерам в конторе, чаще всего оказывался старший сын Ершинова, выбившийся к этому времени в помощники управляющего. Именно на него и натолкнулся Андрей при первом посещении завкома. Пашке никогда не забыть испуганного и в то же время раскаленного ненавистью взгляда, каким встретил ершиновский наследник Андрея, вошедшего вслед за Люсик.

– Эге! Вот кто здесь не щадя сил трудится! – насмешливо воскликнул Андрей. – Стало быть, здесь вы от фронта упрытались, Георгий Семёнович? То-то в Москве разговоры идут, что по военным заводам да складам тысячи буржуйских сынков от призыва скрываются. Нет чтобы на поле брани защищать временных, веру и отчество, вы костяшками на счётах щёлкаете. А на фронтах косточки деревенских и городских бедняков в сырую землю закапывают... Н-да-с! Что ж, сообщим о данном позорном факте куда положено!

Сына Ершинова будто невидимым ветром вынесло, больше он после смены не появлялся.

– Ловко вы его, Андрюша, отбили! – посмеялась Люсик.

У Андрея от злости закаменели вылезшие от голодухи скулы и глаза стали холодными, злыми.

– Знали бы, Люсенъка, как я всю их породу ненавижу и презираю! бросил Андрей сквозь зубы. – Они на нашем пути и крови не только здесь наживаются,

они и на войне нашего брата взамен себя под пули подставляют... Ну да недолго им пировать осталось. Нависли грозные тучи над Россией, Люсенька, набухли молниями и громами! Ждать, думаю, недолго! Будет на многострадальной Руси новый светлый порядок!

Это ожидание, пожалуй, было самым главным чувством, которым люди жили в те дни. Большевистские газеты читались не только по цехам. Каждое утро их расклеивали у заводских проходных, и возле них всегда стояли толпы. И не вестей из армии прежде всего ждали. Многие и сами не могли объяснить, чего ждут, но даже неграмотные, никогда не интересовавшиеся печатным словом, останавливались, прислушиваясь к тому, что грамотеи читают из газет.

Квартира Андреевых вечерами превращалась в гудящий голосами клуб. Сходились заводские, соседи, однополчане Андрея из госпиталя. Прибегала принаряженная Анютка, приводила подруг из формовки, смотрела на Андрея влюбленными глазами. Однажды Пашка нечаянно подслушал, как она шептала в уголке:

— Да сколько же можно ждать, Андрюшенька, миленький мой? У меня, глянь, морщинки на лбу от долгих жданок прорезались.

Андрей ласково, но твердо ответил:

— Не пришло время, Нюша, о свадьбах думать! Ты слышала ли, что я нынче в газете читал?

— Слышала, родненький.

— Вот и думай!

А читал в тот вечер Андрей статью из «Социал-демократа», слова врезались Пашке в память, будто выкованные из брызгущего искрами металла: «Время слов миновало, нужно революционное дело, и наша партия обязана незамедлительно вести революционные массы к неотложной цели – завоеванию власти!»

Часто приходил Сапунов. Мамка привязалась к нему, как к родному, уж больно жалко ей было, что не может он вырваться на побывку к семье, в деревеньку Буланцево.

— Вовсе недалеко от Москвы, если на чугунке ехать, — вздыхала она. И называла Евгения по-деревенски Еней, и говорила ему «ты». — Ах, Енечка, ах, милый! Как жалко мне тебя – слов нет!

Любил ещё Пашка после работы бегать на митинги и лекции, которые проводили присланные из Московского комитета агитаторы. Люсик, по поручению комитета, тоже читала лекции, и Пашке никогда не забыть одной из них – тогда Шиповник рассказала о статье большевика Ольминского. Пашка хорошо запомнил поразившие его строчки.

«Казнь любимого старшего брата Александра не могла пройти бесследно для младших братьев и сестёр, – говорилось в той статье о семье Ульяновых. – И мне всегда, глядя на Ленина, думается: вот человек, крещённый для революции кровью любимого брата...»

Со страхом повторяя эти слова, Пашка как бы примеривал их к себе: а смог бы он сказать так, если бы враги убили Андрея? И с холодеющим сердцем, стискивая до белизны губы, отвечал себе: да, смог!

Митинги запоминались Пашке и яростными, чуть не до драк, спорами с меньшевиками-оборонцами, кричавшими, что святая Русь не может с позором выйти из войны, ей нужна победа. Еще кричали, что-де Ленину, большевистскому вождю, не подобает скрываться от суда временных, если, дескать, он и в самом деле не немецкий шпион. Пусть явится на суд Керенского, Корнилова и прочих, докажет свою невиновность!

Кто-нибудь из местных партийных или из двинцев, тоже бывавших на митингах, отвечал:

— Да временные подлюги Ильича без всякого суда сожрут.

Как-то в конце октября Андрей не явился на ночь домой. Вся семья, а особенно мамка, беспокоилась о нём: что стряслось? Утром, так и не дождавшись брата, Пашка помчался в Сытинскую за «Социал-демократом».

Печатный цех типографии немного напоминал ему завод: так же пахло нагретым металлом и машинным маслом. Только нет удушающего жара горна, змеиных языков пламени, буханья молотов.

Получив пачку газет, Пашка обычно пристраивался под лампочкой у двери, бегло просматривал заголовки. И когда являлся на завод, знал все новости. Каждый день ждал, что именно с этих влажных, пахнущих краской и керосином листков ударит то, чего с таким нетерпением ждут все.

В тот день Пашка оказался в типографии первым из газетчиков-мальчишек и, получив газеты, прижавшись в уголке, нетерпеливо развернул номер.

Вот оно! Телеграмма из Петера! Чёрные, крупно набранные строки.

«Сегодня ночью Военно-революционный комитет занял вокзалы, Государственный банк, телеграф, почту. Теперь занимает Зимний дворец. Временное правительство будет низложено. Сегодня в пять часов открывается съезд Советов. Переворот прошёл совершенно спокойно, ни единой капли крови не пролито. Все войска на стороне Военно-революционного комитета». Чуть пониже подпись: «В. Ногин».

Пашка нёсся домой как на крыльях, словно зная, что за эти тридцать сорок минут вернулся брат.

Но уже на повороте с Серпуховской в Арсеньевский переулок Пашку остановил глухой, размеренный топот, будто где-то неподалеку вышагивало по мостовой огромное многопудовое чудище. Остановился, всмотрелся в промозглую предрассветную темь.

По середине мостовой стройными рядами, однако без барабанов и песен, шли одна за другой военные шеренги. Смутно поблескивала сталь ружейных стволов. Впереди, у знамени, гордо запрокинув голову, отбивали шаг офицеры.

Ага! Это же юнкера из Александровских прапорских школ, там их целых три. Ишь вышагивают, словно на параде! С тысячу, пожалуй, наберется.

Молча, без команд, прошли юнкера мимо. В промежутках между ротами офицеры. За последней шеренгой каждой роты пулемётчики катили гремевшие колесами пулемёты—«максимы». Потом проехали зеленые снарядные двухколки и походные кухни. Похрапывали лошади, валил из ноздрей пар...

«Тоже, видно, узнали про Петер», — смекнул Пашка.

И рванулся, побежал к дому.

Предчувствие не обмануло: Андрей вернулся.

На столе шумел самовар, перед батей и Андреем стояли чашки, но ни тот ни другой не прикасались к чаю. Лицо Андрея горело возбуждением, красное, потное, будто он только что вышел из парной бани. Глаза блестели радостным нетерпением. Шинель и фуражка лежали на лавке рядом с ним.

– Ну вот потому и не мог прийти, пойми, мам! Как получили телеграмму, тут же и выборы Московского Военно-революционного комитета. Такие же немедля созданы и по всем районам Москвы, и у нас, в Замоскворечье. А двинцы для любого пролетарского Совета самая надежная опора. Вот и бросились мы с Сапуновым распределять ребят, кого куда и кого в командиры выбирать. Об оружии тоже позаботиться нужно. Чует сердце: хоть в Питере, как сообщает Ногин, обошлось без крови, у нас её не миновать!

Мамка плакала, размазывая по щекам слёзы.

– Стало быть, сынонька, снова на жизнь-смерть драться кинешься?

– А как же, мам? – засмеялся Андрей. – Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Пришёл и наш час! Наконец-то установим в России светлый справедливый мир. Тут не плакать, а радоваться надо самой высокой радостью!

Андрей оглянулся на Пашку.

– Давай, давай газетки, братишка. Ты всё спрашивал: когда да когда? Дождались!

Пашка рассказал о прошагавших по Малой Серпуховке юнкерах. Шли-де походным строем: в полной амуниции и с пулемётами, со снарядными ящиками на двухколках.

Лицо Андрея посуворело.

– Не иначе – к главному штабу на Пречистенке стягивают. Значит, не собираются сдать власть без боя, без крови. Придется драться. Ну, я пошёл!

– И я с тобой! – попросил Пашка, когда брат надевал у порога шинель.

Андрей оглядел братишку.

– Маловат ты, Арбузик, для боя! Беги лучше к Шиповнику. Может, там понадобишься для каких побегушек.

Андрей ушёл. Мать сидела у стола, бессильно сложив на коленях руки.

Вбежал запыхавшийся, растрёпанный Витька Козликов.

– Пошли, Пашка! – крикнул он, не закрывая двери. – На завод машину винтовок с вокзала привезли, раздают всем. Батя и его напарники нашли в тупике десяток вагонов под пломбами. В них навалом винтовки и патроны! Айда, а то опоздаем!

Андреич надел промасленный ватный пиджак, нахлобучил шапку.

Мамка поднялась из-за стола.

– И ты, отец, туда?

– Где же мне быть? За чужую спину, мать, не привык прятаться!

– А я? – спросила она. – В сторонке? Да, отец?

Андреич подошёл к жене, снял шапку, поцеловал в щёку.

– Я спрошу так, милая: носила ты в тюрьму передачку арестантам? В солдатские казармы с призывом ходила?.. Ну и думай, где в грозовую пору тебе быть. Когда бои начнутся, дела для женских рук, мать, везде хватит. Словом,

слушай, куда тебя сердце зовёт!

Андреич пригладил седые волосы жены, оглядел Пашку и Витьку.

— Вы, малолетки, лучше бежали бы к Люсеньке, как велел Андрей. Вдруг и пособите чем.

Но мальчишки не послушались, побежали к заводу.

Возле конторы Михельсона шумела толпа. В одной очереди на вынесенном из конторы столике записывали в Красную гвардию. Тут же сивоусый слесарь Уварыч выдавал гвардейцам оружие, новенькие трехлинейные винтовки. Но как Пашка ни просил, его не записали в гвардейцы, не дали винтовку. Весь в морщинах, с сердитыми седыми усами Уварыч, когда Пашка протискался в очередь, досадливо отмахнулся:

— Ах, Арбуз, Арбуз! Неужто не видишь, что и взрослым не всем хватит? У тебя в руках винтовка без пользы окажется. Патроны станешь разносить по баррикадам — вот твоё дело!

Не дали винтовку и Витьке Козликову, хотя он кричал, что это его отец, стрелочник на путях, помог найти загнанные в тупик вагоны и сообщил о них в Военно-революционный комитет...

Обиженные мальчишки потоптались возле, поглядели, как вскидывают к плечу винтовки кузнецы да литейщики, послушали, как щелкают затворами. Тут же из разбитых снарядных ящиков раздавали патроны — по две обоймы на брата.

Пашка бросился к Саше Кирееву, который и так и этак вертел в руках только что полученную винтовку.

— Сань, дай подержать!

— Ну, подержи, Арбузик. Только она, друг, потяжелее кузнечных клещей!

Оставив друзей, Пашка помчался в студенческую столовку. Но Люсик там не оказалось. Тетя Даша рассказала Пашке:

— Всю ночь тут шумели, как про эту питерскую телеграмму узнали. Утром на Калужскую подались, решено ресторацию поляковскую под какой-то комитет занять. Там Люсю и ищи, милый!

Лопух всячески ластился к Пашке, прыгал кругом, лизал руки и норовил вскинуть лапы другу на плечи. Пашка лишь потрепал пса по загривку и понесся на Калужскую.

На площади толпилась тьма рабочего народа. Сбежались сюда и двинцы, и только что вооружённые михельсоновцы. Кое-кто явился с охотничим ружьем, а то с берданкой или даже просто с топором. У крыльца ресторана кто-то прибивал к жердине красное полотнище с неровными белыми буквами: «Вся власть Советам!»

На второй этаж, в ресторан Полякова, где собрался созданный ночью Военно-революционный комитет Замоскворечья, Пашку не пустили. У дверей караулил вооружённый солдат в шинели с сорванными погонами.

— Посторонним не велено! — сказал он Пашке, стоя на пороге.

Толпа на площади росла, подходили и женщины, и старики, шмыгали вездесущие мальчишки. Пашка отыскал Гдалку и Витьку, они бесцельно толкались между людьми.

– Шиповника не видели? – спросил Пашка. – Она сказала бы, что делать.

– Поди-ка, там! – Гдалька кивнул на окна ресторана.

Гудели громкие, возбужденные голоса. Кто-то кричал, что юнкера окружили Кремль и никого не пускают ни туда, ни оттуда, в Манеже их собралось больше тысячи.

Покрывая шум и усиливаясь, затарахтел в стороне моста мотор самоката-мотоцикла. Притихнув, толпа расступилась, давая дорогу.

Самокатчик в облезлой кожаной куртке и такой же фуражке подкатил к крыльцу поляковского заведения, соскочил и, козырнув часовому, вбежал по ступеням. Притихнув, толпа ждала. Тут и там слышалось:

– Не иначе, новости.

– Должно, приказ из Совета!

Ждать пришлось недолго. На втором этаже со звоном распахнулось окно, на подоконник вскочил чернобородый человек, размахивая бумажным листком.

– Товарищи! – Помолчал, пока не наступила тишина. – Товарищи! Я говорю от имени созданного ночью Военно-революционного комитета Замоскворечья! Временное правительство в Питере свергнуто! Министры-капиталисты, которые продолжали начатую царизмом войну, отправлены в Петропавловскую крепость!

Площадь отзывалась тысячеголосым «Ура-а-а!».

– Да, товарищи! – Человек в окне требовательно вскинул над головой руку.

– Но это не значит, что победа над врагами революции одержана полностью. Вы, вероятно, слышали про разгром Калужского Совета. Там убито много наших товарищей! И здесь, в Москве, враг не сложил оружия!

Площадь отвечала и гневными, и тревожными, и радостными криками.

– Революция в опасности! – продолжал стоявший на подоконнике. Сейчас получен приказ из Военно-революционного комитета Москвы. Необходимо возводить баррикады! И в первую очередь вокруг осиного гнезда на Пречистенке! Вокруг их главного штаба, где засели рябцевы и грузиновы, куда сгоняются со всей Москвы юнкерские и казачьи силы! Дорогие, родные товарищи! Все, кто в силах взять в руки лопату, топор, лом, идём возводить крепости, которыми всегда защищала себя революция! На баррикады, товарищи!

Площадь колыхнулась, как одно большое, могучее тело.

– Веди!

– Куда идти??!

В этот момент Пашка и увидел выбежавшую на крыльце Люсик. Чёрные волосы выбились из-под шляпки, глаза блестели. Пашка бросился к крыльцу.

– Шиповник!

Она услышала.

– Павлик! Миленький! И ты здесь??

– Где же мне?! – засмеялся он. – Вы куда, Люсик-джан?

– Идем готовить санитарные пункты для раненых. Сейчас займем кафе «Франция». Попросим женщин принести кто что может! Подушки, простыни, полотенца...

Площадь пришла в движение. Люди в шинелях и матросских бушлатах формировали из добровольцев отряды, уводили их в сторону мостов через Москву-реку.

Мальчишки всегда мальчишки. Кого в детстве не тянуло к морю, если даже он видел море лишь на картинках, если о бурях и штормах знал только по страничкам книг? Наверно, поэтому-то Пашка и его друзья оказались возле моряка, на бескозырке которого блестели золотые буковки «Орёл». Матроса все кругом звали просто Орлом, никто не знал и не спрашивал его имени: «Орёл велел!», «Орёл приказал!».

Через пять минут матрос шагал впереди отряда и бесцеремонно стучал, а если не заперто, без стука, по-хозяйски входил во дворы, требовал лопаты, топоры, ломы. Подчинялись его командам беспрекословно, хотя иные и смотрели не очень-то добро.

По пути, уже на мосту, Пашка оглядел тех, кто шёл рядом. Да, Витька, Гдалка и Васятка здесь, и Яшка-газетчик из Сытинской, и другие знакомые ребята. Должно быть, и их потянуло к матросской бескозырке с развевающимися лентами.

Отряду Орла поручалось возвести баррикаду на Остоженке, помешать прорыву юнкерских и казачьих частей к Замоскворечью, к рабочим кварталам и заводам.

Работа кипела. Валили и вырывали из земли фонарные столбы, катили бочки, опрокидывали заборы. Из окон пустовавших буржуйских домов выбрасывали матрацы, шкафы, кресла. Из чьего-то двора выволокли и перевернули вверх колёсами ломовую телегу. Вдали, поближе к Пречистенке, у главного штаба гарнизона, мелькали и исчезали неразличимые тени.

Левым концом баррикада упиралась в дом, на котором красовалась вывеска: «Чайная Бахтина». У входа висели жестянки с нарисованными на них медными самоварами и белыми чайниками.

Когда принялись отдирать жестянки с самоваром, дверь чайной распахнулась. На крыльце вышел однорукий бородатый человек и, покачав головой, сказал Орлу:

— А ты, матросик, моё заведение не рушил бы! Глядишь, пока воюете, я вас чайком поить стану! Дождит здорово! И холодишко к ночи набирает силу.

Кто-то от баррикады крикнул:

— Да это же наш! Гришка Бахтин! С Михельсона!

Один из пожилых рабочих, рябоватый и тонкошней, подбежал к крыльцу.

— В торговлю подался, Григорий?

— Да куда же я, братцы, с одной-то клешней?

Орёл усмехнулся:

— Кому подарил вторую?

— А тому же Михельсону! Спасибо, адвокат зубастый попался, отвоевал пенсию! Ежели бы обе руки целы были, я бы с вами сейчас плечо к плечу стоял!

Орёл похлопал Бахтина по плечу.

— Ладно! Оставим ему, братишки, его баржу? Согласны?

— Свой брат! Бывший литейщик! Душа-то рабочая жива в нём!

Баррикаду возвели меньше чем за полчаса, а оказалась она повыше человеческого роста.

— Флаг бы сюда красный! — мечтательно сказал Орёл. — И тогда всё!

Пашка побежал, постучался в дверь ближайшего дома. Открыла сморщенная старушка. Студенистые глаза равнодушно оглядели Пашку.

— У меня взять нечего, воители! Сама милостыней с паперти живу.

— Нам, бабушка, платочек бы какой красненький или другое что. Только бы красного цвета!

— И детишек в войну запрягли, — вздохнула старуха и ушла в дом, но дверь не закрыла. Через минуту вынесла Пашке красную, заношенную до дыр кофтёнку.

— Вот, ежели сгодится на ваше дело...

Улыбнулась странно, будто смотрела на происходящее перед её домом из далёкого далека.

— Годен! — похвалил Орёл, когда Пашка показал ему прибитый к штакетине самодельный флаг. — Раз красный, значит, наш. Молодец, салага!

За баррикадой таилась тишина, ни одна тень не маячила там, где в сторону Пречистенки сворачивал переулок. Дождик усиливался. Многие с жадностью поглядывали на окна чайной Бахтина. Наконец Орёл распорядился:

— Ну вот что, братишки! Похоже, мокнуть здесь доведётся порядком. А харч нам боженька с неба кидать не станет, это уж точно! Мы не к его флотскому экипажу приписаны. Кто поближе живёт, дуйте, пока затишек, по домам, тащите, что поесть сыщется! Голодный и матрос не воин...

Через полчаса мамка обнимала Пашку. За столом в шинелях сидели Андрей и Сапунов, торопливо допивали чай.

Захлебываясь словами, Пашка рассказывал об Орле, о баррикаде. Мамка, ставив с него промокшую брезентовку, пыталась высушить её утюгом.

— Снова убежишь, горе ты моё? — вздохнула она.

— Ну как же, мам...

— А мне одной куковать! Хоть бы Люсенъка дело какое подобрала.

Пашка даже подпрыгнул от радости:

— Ты, ма, на Калужскую площадь иди. Там кафе такое, «Франция» называется. Шиповник в ней больницу для раненых устраивает. Знаешь, как она тебе обрадуется!

Мать с сомнением покачала головой.

— Да что я могу, сынка? Не доктор, не фершелица, не сестра милосердная.

— Хоть попить подашь, кто попросит!

Мать не ответила, и Пашка, огорчённый, присел рядом с братом.

В Озерковский госпиталь, оказывается, утром нарочный привез приказ: с наступлением темноты двум сотням двинцев прибыть на Скобелевскую площадь для охраны Совета. Стало известно, что, обманом разоружив полк, юнкера, охранявшие Кремлёвский арсенал, расстреляли из пулемётов около пятисот человек и теперь угрожают Московскому Совету.

Попивая с блюдечек горячий чай, Андрей и Сапунов то и дело

поглядывали в окно.

Наконец стемнело. Они поднялись. Пашка тоже вскочил, натянул брезентовку.

— А ты куда? — нахмурился Андрей.

— С вами, братка! У нас на баррикаде совсем тихо. Может, в юнкерском штабе и не осталось уж никого? Вдруг все на Совет двинули?

— Не твоего ума дело! — буркнул Андрей. — Иди, куда велено!

Но Пашка не послушался брата. Отставив корзинку, которую мамка доверху наложила варёной в мундире картошкой, он напялил шапочонку и бросился к двери.

— Я мигом, мам! За корзинкой забегу. Только гляну, как мимо юнкеров через Красную площадь пройдут!

Не слушая, что мамка кричит вдогонку, кинулся к Озерковскому госпиталю.

И успел. Отряд, ещё с утра вооружённый доставленными с вокзала винтовками, выходил из ворот особняка. Стараясь не попасть на глаза брату, Пашка крался следом.

Дождь лил всё сильнее, небо цеплялось лохмотьями туч за крыши, скрывало трубы заводов.

На мосту отряд остановил юнкерский патруль. Пашка не слышал, о чём говорили, но через две-три минуты двинцы зашагали дальше. На Пашку юнкера не обратили никакого внимания. Горбясь, он проковылял мимо: какой с него, с убогого, спрос?

На Красную площадь Пашка вышел в тот момент, когда возле Иверской часовенки юнкерский патруль снова задержал революционный отряд.

Пашка остановился, присматриваясь.

Вблизи Кремлёвской стены, у ворот и у памятника посреди площади пылали костры, отсветы пламени плясали по красному кирпичу стен. Возле ограды собора Василия Блаженного дымились походные кухни. У костров, посверкивая огоньками папирос, громко переговаривались и смеялись юнкера.

Пашка пробежал вдоль стеклянных витрин торговых рядов и издали увидел, что патрульные яростно спорят с Сапуновым. Офицер кричал и махал рукой, по жестам Пашка понял: не пропускают, велят назад. Слов разобрать не мог, но видел, как офицер выхватил из кобуры револьвер и выстрелил в Сапунова. Сапунов сделал шаг вперёд, покачнулся, выронил винтовку и повалился навзничь.

Пашке показалось, что он услышал, как стукнулась о камни голова. На выстрел от костров к месту схватки, щёлкая на ходу затворами винтовок, бросились юнкера.

«Где же Андрей? — с ужасом всматривался Пашка, отбросив капюшон брезентовки. — Не видно. Может, и брата, как Сапунова?...»

Дождь лил, струи стекали по шее на спину, но Пашка не чувствовал, не замечал их.

А! Вон Андрюха размахивает винтовкой! На её штыке краснеет ленточка — утром Анютка привязала её, выдернув из своей косы. Жив Андрей, жив!

Схватка у Иверской часовенки длилась недолго. Двинцам удалось прорваться к Тверской улице, тени их скрылись в темноте. Дрожа мелкой дрожью, Пашка долго стоял, привалившись спиной к мокрой ледяной стене. Юнкера снова хохотали и дымили папиросами вокруг костров, хлопали друг друга по плечам. Пашка, не различая лиц, смотрел на них с такой ненавистью, какой не чувствовал никогда.

Тела убитых неподвижно лежали на площади. Своих убитых юнкера снесли к подножию памятника. Через полчаса приехали две санитарные фургонки, убитых юнкеров погрузили в них, накрыли брезентом и увезли. А мёртвые двинцы – человек десять – остались лежать посреди площади под проливным дождём.

Пашка прокрался вдоль стены до Иверской часовенки. Дверь в неё была распахнута, внутри светлыми точечками теплились свечи, блестели серебряные и золотые оклады икон.

Тело Сапунова лежало совсем недалеко от Пашки, неподвижное и странно плоское, словно втоптанное в землю.

Пашка ни о чём не думал, его будто бы вела какая-то посторонняя, невидимая, но необоримая сила. Сначала опустился на колени, оперся ладонями о мокрые скользкие камни, потом лёг на живот и пополз к Сапунову. Он видел, что тот совершенно неподвижен, понимал, что Еня, как звала Сапунова мамка, убит насмерть, и всё-таки полз. Зачем? Так ведь в кармашке гимнастёрки у дяди Жени лежит неотосланное письмо домой, к отцу, жене и детям.

Если бы не дождь, Пашке вряд ли удалось бы сделать то, что подсказывало ему сердце. Патрули грелись у костров, укрывшись плащами, сидели возле огня на корточках, балагурили и хохотали.

Да, Сапунов был мёртв. Пашка не отличил холода мёртвой руки, к которой прикоснулся, от холода камней мостовой. Почти негнущимися от стужи пальцами всё же смог расстегнуть и шинель, и пуговку кармашка гимнастёрки. Нашупал листочки – их дождём ещё не промочило. Он вытащил их и со страхом подумал: а куда же спрятать, чтобы не промокли, чтобы можно было послать тем, кому написаны?

– Ты что, сволочонок, у мертвяков из карманов копейки выбираешь?! рявкнул кто-то прямо над ним.

Вскочив, Пашка увидел двух юнкеров с винтовками, с папиросами в зубах.

– Я думал... хлебушка кусочек... – пробормотал он.

– Ври, сопляк! А ну, чеши отсюда, аллюр три креста!

Мамка неподвижно сидела у стола, ждала, когда Пашка вернётся за корзинкой с едой. В полуподвале было странно тихо. Лишь сверчок за печкой пиликал свою привычную музыку. Не вытерев у порога налившую на ботинки грязь, не сняв шапчонки, Пашка молча прошёл к столу и положил перед мамкой письмо Сапунова.

И только когда мать в страхе отшатнулась от стола, Пашка увидел на бумаге кровь.

– Еню? – спросила она побелевшими губами.

Пашка кивнул и, не ожидая вопроса, который боялась задать мать, крикнул:

– Жив Андрей! Говорю: жив! Прорвались!

Он чувствовал, что за один час стал не просто взросле, а словно бы постарел на десяток лет. Совсем по-отцовски погладил мамкино плечо:

– Я пошёл, мам!

Подхватив корзинку, он шагнул к двери, но не вытерпел, оглянулся. И остановился. Накинув жакетку, мать торопливо повязывала головной платок.

– Ты куда, мам?

– Чего же я одна здесь маяться стану? – тихо спросила она. – Сам же в помощь Люсеньке звал. На Калужской, что ли?

– Там, ма! Я мимо побегу.

– Вот и проводи меня! Погоди чуть, я из бельишко кое-что захвачу, на бинты сгодится. Война-то ишь к самому дому подкатила.

Пашка довёл мамку до «Франции», где Люсик и Катя Карманова под присмотром ворчливого очкастого фельдшера готовились к приему раненых.

На сдвинутых столиках постланы простыни и одеяла, фыркал кипящий самовар.

Раненых ещё не было, и Люсик встретила Пашкину мамку радостным возгласом:

– Я ведь знала, майрик, что вы обязательно придёте!

Дальше, к Остоженке, Пашка летел как на крыльях. Там было по-прежнему тихо. Юнкера затаились, даже костров не разводили.

Заглянув в Пашкину корзинку, Орёл одобрительно похлопал мальчишку по плечу:

– Исправно служишь, салага! Так держать!

Окна чайной призывно светились сквозь блестящее ситечко дождя. Распахнулась дверь, и, встав на пороге, щурясь в темь, скрывавшую баррикаду, Бахтин крикнул:

– Эй, Орёл! Как твои братишки? Не прозябли? Пока беляки дремлют, не глотнуть ли вам по кружечке крутого кипяточку? Да и сухарей по штуке на душу хозяйка насcreблa! Слыши, Орёл?

– Идите, дядя Гордей, – предложил Пашка стоявшему рядом Дунаеву. Мы с Витькой, Васяткой и Г达尔кой станем перебегать от винтовки к винтовке, постреливать. Чтоб юнкера не думали, что мы отступили. Идите!

– Да ведь как Орёл велит, он командир.

– Вот тут мамка поесть собрала. Возьмите, дядя Гордей!

А матрос, стоя над баррикадой, пытливо всматривался в неподвижную, занавешенную дождём тьму. Потом махнул рукой:

– Поплыли, братва, в камбуз! А вы, салаги, тут не дремлите, чуть что – аврал, полундра!

– Глядим вовсю, дядя Орёл!

Взрослые ушли в чайную.

Так Пашке досталась на краткое время роль командира. Вскарабкавшись на гребень баррикады, как минуту назад Орёл, Пашка пристально вглядывался

в застланную дождем и туманом даль улицы, в темные окна домов, в стены, освещённые дрожащим заревом недалекого пожара. Потом спускался, приникал лицом к амбразуре, прижимал к плечу приклад винтовки. Перед глазами как бы застыла Красная площадь и расплаственные на камнях неподвижные тела. С какой ненавистью, с какой мстительной радостью, прижав к плечу железку приклада, он посыпал пули в мелькнувшую, а может, и померещившуюся вдали тень. Мы ещё повоюем, мы ещё покажем вам, гады!

И снова, вскарабкавшись на верх баррикады, всматривался до рези в глазах.

Да, тени за пеленой тумана шевелились, темнели гуще. Пашка спрыгнул, потянулся к винтовке дяди Гордея. Почему-то вспомнились слова Андрея: «А ведь как загорится, Гордей, вместе с нами в огонь бросишься».

Выстрел.

И как такое могло случиться?!

Что-то обрушилось с внешней стороны баррикады, и винтовка дяди Гордея, скользнув по мокрым доскам и вывескам, вывалилась из амбразуры на ту сторону.

Пашка не думал ни единой секунды. Карабкаясь, как кошка, по навалу баррикады, взобрался наверх, поскользнулся, свалился вниз.

Ага, вот она, винтовка дяди Гордея!

Но что-то раскалённым ножом блеснуло, резануло тысячами искр перед самыми глазами. В лицо ударила каменная крошка... Ах ты, чёрт! Не выпустить бы только винтовку... Но раскалённая волна снова и снова хлестнула по баррикаде.

Из чайной Бахтина, крича, выбегали гвардейцы, впереди, размахивая бескозыркой, Орёл.

– Полундра, братишки! Полундра!

Но Пашка уже ничего не видел и не слышал. Его обступили тишина и тьма...

25. ПАШКИНЫ КОЛОКОЛА

С трудом приоткрыв тяжёлые веки, Пашка долго смотрел вверх, ничего не понимая. Сквозь зыбкий красноватый туман, застилавший глаза, ему виделись белые ребятишки с крыльышками за спиной, с пухлыми щёчками и улыбающимися губами. Вокруг белых ребятишек, неподвижно висевших на потолке, сплетались в венок узорчатые листья, но не зелёные, как в садах и в лесу, а белые, будто выкрашенные мелом. И рядом с венком куда-то летела, трубя в длинную трубу, похожая на Таньку девчонка в развевающемся платье...

«Чудной какой сон, – подумал Пашка, зажмуриваясь. – Наслушался мамкиных сказок, ну и мерещится всяко. Вот закрыл глаза, а открою – и ничего нет».

Открыл. Но через узенькую щёлочку припухших век снова увидел тех же ребятишек – летали под самым потолком... Ага, вон что: они прилеплены там для красоты.

«Где я? – хотел спросить Пашка. – Что за потолок красивый? Никогда такого не видел...»

И вдруг, будто озарённая невидимым светом, встала в памяти картина... Вывороченные из мостовой булыжники, сбитая с магазина вывеска, поваленные фонарные столбы, опрокинутые вверх колёсами телеги и пустые пивные бочки. Баррикада?.. Ну да, она! И моросящий без конца октябрьский дождь – за его кисеей поблескивают вспышки выстрелов... Где это? Похоже, на Остоженке? Как будто там? Помнишь: винтовка дяди Гордея вывалилась из-под твоих рук за баррикаду!..

– Очнулся, Пашенька, радость ты моя горькая? – глухо, словно из погреба, донёсся голос мамки.

Хотел повернуть голову, но острые боли раскалённым гвоздём пробила всё тело от затылка до пяток... И снова обступила тьма...

Мать сидела у госпитальной койки Пашки третью сутки.

Когда в первую ночь боёв Витька Козликов распахнул двери бывшего кафе «Франция» и с порога крикнул мамке, что раненого Пашку увезли в госпиталь, она сорвалась с места и, не накинув кацовейки, не повязав платка, помчалась по улицам, чуть не падая, похожая на птицу-подранка. Витька едва поспевал за ней.

Пашкина мамка оглядывалась, кричала:

– Где? Где?

Витька махал рукой в сторону Остоженки. Так они и добежали до госпиталя, открытого с начала боя в пустовавшем с февраля буржуйском особняке.

Мать не села, а упала на стул возле Пашкиной койки. Мальчишка лежал без сознания, сквозь повязку на лбу и на шее проступила кровь.

– Сынонька! Сыночек! – позвала мать.

Пашка не ответил. Так она и сидела с тех самых пор.

Андреич забегал раза три на дню, присаживался в ногах сына. Вот ведь как поворачивается жизнь: боялись либо раны или гибели для старшего, а вражья пуля настигла мальчишку.

Старый кузнец приходил и уходил. Как ни давило горе, а он не мог оставить товарищей, бившихся с юнкером и казаками. Он и в госпитальную палату входил, не оставляя винтовки. Забегал, чтобы узнать, не вернулась ли к Пашуньке память, есть ли надежда. Совал в судорожно застывшие руки жены кусок хлеба, силой заставлял глотнуть воды, выводил в коридор. Но она будто не понимала ничего, сейчас же кидалась обратно, к койке Пашки, и сидела там, не сводя глаз с забинтованного, осунувшегося лица...

А Пашку то поглощала кромешная тьма, то за её разорванными тенетами проступали знакомые лица, дома, белели страницы книг, билось пламя в кирпичной пасти горна. И без конца звучали в памяти когда-то прочитанные строчки: «Ты не коршуна убил, чародея подстрелил...»

«Ага, слышишь, лязгают о камни подковы римской конницы, шелестят на ветру знамёна восставших. Интересно: а какого цвета были у Spartaka знамёна: красные, как наши, или другие? Надо спросить Люсик... И шесть тысяч крестов с распятыми спартаковцами выстраиваются, но не вдоль дороги в какую-то неведомую Капую, а по заросшим полынью обочинам Калужского тракта. Надо

узнать ещё: что они тогда писали на знамёнах?.. «Мира и хлеба»? «Свобода, равенство, братство!»? Или что другое?»

Голос Шиповника и голос того плевавшего кровью арестанта, освобождённого из Бутырской тюрьмы, били в уши Пашки, словно набатные колокола. Колокола... Это Люсик говорила про людей и колокола. А вот и ещё голос. Это на Воскресенской площади, у городской думы, оратор кричит с крыльца в граммофонную трубу: «Солдаты! Присоединяйтесь к рабочим! Помните: в эти часы решается судьба революции!»

Ой, если б не так болела голова! Будто железный клин вбит в неё и кто-то безжалостно ворочает и ворочает его без передыху, мешает думать...

А это что? Гроза гремит, что ли? Или снова стреляют, или паровые молоты бьют в соседнем цеху? Или снова звенят колокола? Нет, Арбуз, это просто кровь с болью стучит в голове, будто кто красными молотками колотит изнутри по вискам...

И снова – тьма... И голос Люсик-Шиповника пробивается сквозь туман... «Нет, Павлик, они хотели жить и очень любили жизнь, но не могли поступить иначе...» А почему всё такое красное? Даже дождь на Остоженке, за баррикадой, сыпется на землю красный. Чуть косенъкий от ветра и красный... Дядя Гордей ушёл с Орлом в чайную Бахтина пить чай... Ага, вот чего хочется: чайку...

– Пи-и-и-ить. Пить!

Кто-то прислоняет к пересохшим губам край кружки, зубы звякают по железу... Хорошо, вода холодная, как в том родничке, к которому водила в лесу Ксюта на маминой родине... А вот оно, гляди, Пашка, и озеро, и облака в нём, видишь? И ты летишь там, рядышком с облаками. И голые белые ребятишки, и длинноногая девчонка с трубой. Где ты её видел? Никак не припомнить...

Чьи-то осторожные пальцы щупают лоб, приподнимают голову.

Пашка приоткрывает веки и видит маленький красный крест и под ним два голубых озерца. Да нет, никакие не озерца, а девчачьи глаза, добрые, как у Люсик... Правда, у Люсик тёмные, а эти больше похожи на Анюткины, Андрюхиной невесты...

– Лежи, лежи, мальчик... Я сменю повязку... Тебе ведь стало получше, правда?

И глухой, будто из-под воды, голос мамки:

– Пашенька...

А она зачем здесь? Ей же на смену пора, в швейный, где крутятся и крутятся без остановки колеса «зингерок» и кучами навалены солдатские гимнастёрки... И злюка-надсмотрщица орёт на Пашку, чтобы не мешал мамке...

– Ну вот, голову перевязали, – доносится добрый голос. – Теперь шею и грудь... Ты потерпи, мальчик, потерпи...

Ласковые прохладные руки то тут, то там касаются тела, приподнимают. И опять острая, гасящая сознание боль. И – тьма, тьма. И голос. Нет, Арбуз, уж это не девичий голос, а ручеек звенит, прыгает по коричневым камушкам, звенит и щебечет, как птица... Ксюта и Митяй знали всех лесных птиц, умели находить спрятанные в кустах и в траве гнёзда из тоненьких прутиков и

стебельков, устланные пухом, — птичий колыбельки... Это там, в деревне, у тетки Вари, колыбель называется — зыбка... А что? Очень даже подходит... Колыбель колеблется, качается, а зыбка зыбится... Ведь у Пушкина написано «морская зыбь», значит, и зыбка зыбится — можно...

Что-то тяжёлое и холодное ложится на лоб. Пашка хочет поднять руку, пощупать, но рука не слушается, в ней тоже колотятся болью красные молотки.

— Несколько сквозных пулевых, — говорит в Пашкином сне грубоватый, но добрый голос. — Скажите спасибо, вот здесь на сотую вершка выше прошла... Потеряно много крови... Делаем всё возможное, но наберитесь мужества...

Кому это про мужество? Ему, Пашке?

Мужество!.. Да, все те, о ком рассказывала Шиповник, они мужественные, они — витязи... не боялись боли, не боялись смерти...

Вечер... Зелёная лампа... Стрекозиные крыльшки блестят над книжкой... Слышишь? Шиповник рассказывает, как вешали декабристов... Они тоже хотели сделать революцию, но не сумели. Тогдашний царь велел их повесить... Рассказывала про Питер, там много дворцов, где жили цари. Нева... «Невы державное течение, береговой её гранит...» А, это у Пушкина про Неву написано...

Опять из дальней дали пробивается глухой голос:

— Посмотрим, как пройдет ночь... Сестра Таня, обезболивающий укол!

А при чём здесь Танька—«принцесса», неужто и она раненая?..

Лесной комар ужалил руку пониже плеча... Боль в голове гаснет, красный туман, застилавший глаза, редеет, тает. Так бывало по вечерам, когда садится солнышко за избёнкой бабки Вари, помнишь? Багровое небо тускнеет, тускнеет, из оврагов за речкой Вилюйкой выползает туман...

Красные молотки перестают стучать в голове, Пашка открывает глаза. Голые белые ребятишки по-прежнему порхают над ним, а снизу на них откуда-то летит желтоватый свет...

— Мам... Ты тут, что ли?

— Да, Пашенька! Да, кровинка моя милая!

Пашка долго молчит, вспоминает: ведь о чём-то важном надо спросить мамку! Ага, вспомнил!

— Мам... А юнкеров прогнали с Остоженки, от баррикады?

— Прогнали, Пашенька, везде их, проклятых, прогнали! И с Остоженки, и со Скобелевской площади. И из Кремля выбили, сынонька...

Пашка улыбается сквозь сон:

— Значит, витязи победили?.. Как хорошо, мам, да?

— Хорошо, сынок.

И сны окружили Пашку, тихие, светлые. Колышется над озером зелёный камыш, едва слышно шепчутся о чем-то травы, поют, заливаются спрятавшиеся в ветвях птицы. И смеющийся голос Ксюты — это там, где жила покойная мамкина сестра, бабка Варя, — звенит над самым Пашкиным ухом: «Мы тебе перепёлкино гнёздышко покажем, там их целых шесть, цыплятушек махоньких...» Широкий, до самого леса, разлив белых ромашек с золотыми сердечками. И звон, звон в небе. И тоненький голос Ксюты: «А ты не смотри,

не пьялься зря. Ты городской, ты его и не увидишь, жаворонка-то. Он как взлетит, так в синем небе и растворится, только песни и слыхать...»

После долгой-долгой ночи Пашка открывает глаза...

Позднее утро. В окно косыми столбами ломится солнечный свет. В его лучах мельтешатся несчётные тысячи пылинок.

Пашка долго всматривается в ярмарочный пляс золотой пыли. Пытается поднять руку, коснуться жёлтого луча, но рука не поднимается, даже не шевелится. Давящая слабость одолевает всё тело, чуть слышно стучат в висках красные молоточки...

Повернуть голову не может. Но, скосив взгляд, видит измученное и потемневшее мамкино лицо, светлую синеву глаз, в которых такими же молоточками, как в теле боль, колются тревога и любовь... К нему, к Пашке?.. А то к кому же ещё!

Хочет улыбнуться мамке, но губы не слушаются, не улыбаются... «Будто я прикованный», – медленно прошла мысль.

И опять не то сон, не то прежний красноватый туман закутали его с головы до ног, снова одно за другим замелькали воспоминания.

«И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных». С них на зеленую береговую траву серебряными струйками стекает вода, блестит на песке, будто разбросаны по нему сотни гривенников или пятиалтынных... И смотри-ка, Арбуз, первым витязем на берег выходит брат Андрюха... Витязь и витязь... Только на голове ничего нет, она острижена наголо, как было там, в казарме. Ну конечно, Андрюха впереди всех!

И снова добрые доктора ощупывали Пашку прохладными пальцами и говорили глухими голосами: «Сквозные пулевые... пулемётная очередь... не теряйте надежды, наберитесь мужества...»

Когда Пашка последний раз открыл глаза, его уже не мучала боль. Видно, ушли со смены красные кузнецы, не стучат больше. И голова ясная. Склонённое строгое лицо в очках, седой клинышек бородки, красный крест над добрыми глазами. И – лицо мамки, она чуть не касается щекой его щеки. Одолевая слабость, сказал:

– Ты, мам, не серчай, если обижал когда... Ладно?

– Да что ты, Пашенька, горе моё сладкое!

Пашка не ответил, обводил взглядом столпившихся кругом.

Васята, Витяка, Голыш, Анютка!.. Отец чего-то набычился, наклонил голову, будто сердится, что ли? А кто там, за его плечом? А-а! Алёша Столяров. А Шиповник, её-то, самой главной после мамки, отца и Андрюхи, почему нет?

Губы послушались Пашку, шевельнулись. Спросил:

– А Шиповник, она где?

Алёша Столяров стиснул лицо ладонями, побежал куда-то. Что с ним? Куда?

– Она придет, сыночка, – тихо сказала мамка. Не могла же она сказать Пашке, что Люсик позавчера убило пулей, попавшей в грудь.

– А «принцесса» Танька зачем здесь? – шёпотом спросил он.

– Она тебе пряников вяземских принесла, сынка. Печатных...

– А плачет зачем?

– Не знаю, Пашенька, золотце ты моё ненаглядное!

И опять Пашку обступила тьма, на этот раз последняя, вечная.

Больше он не приходил в себя. Мать сидела у койки, сжав в ладонях его холодающую руку. Подошла сестра, осторожно высвободила из рук матери мальчишескую руку, исполосованную следами ожогов, – изредка кусало её пламя горна.

– Идите домой, мама!

– Нет... тут посижу... с ним...

Сестра сложила руки Пашки на груди, накрыла их простынкой и ушла, оставив мать наедине с её великим горем.

Мать сидела молча, не кричала, не плакала: разве криком или слезами можно выразить такое горе?..

26. ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО

Недолго прожили они рядом в Замоскворечье – студентка Коммерческого института Люсик Лисинян и подручный кузнеца Павлик Андреев. Но на многие века они остались в благодарной памяти Родины, потому и лежат плечом к плечу в братской могиле на Красной площади.

Их давно нет. Но, храня для потомков их дорогие имена, за крутой излучиной Москвы-реки пересекаются улицы Лисиновская и Павла Андреева. Горько думать о безвременной гибели таких юных, какими они тогда были. Если бы прожили дольше, много доброго сделали бы людям. Но ведь и то завидная доля – оставить на земле такой яркий, пусть и окрашенный кровью след!

Невольно вспоминаются слова траурной, но жизнеутверждающей песни, гремевшей на площадях тех лет: «Не плачьте над трупами павших борцов, отдайте им лучший почёт!»

Поблагодарим же и мы, юный читатель, героев этой небольшой книжки за их верность революции, за мужество и доброту. И, проходя по Красной площади, с благодарностью и нежностью поклонимся земле, навеки приютившей их, убранной в любое время года цветами бессмертия!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

О Великой Октябрьской революции написано множество романов, повестей, поэм, философских и исторических исследований. Но тема эта поистине неисчерпаема, и ещё далеко не все герои великой битвы, имеющей мировое значение в последующем развитии человеческого общества, отражены в произведениях художников нашего века.

И вот – новая небольшая повесть Арсения Рутько о юном герое октябрьских боёв, о московском Гавроше, бывшем подручном кузнеца с завода Михельсона (ныне – завод имени Владимира Ильича) в Замоскворечье, о Павлике Андрееве. Он погиб в первые дни революции на одной из остоженских баррикад в возрасте четырнадцати лет, на пороге, в преддверии жизни.

Именем Павла Андреева теперь названа одна из улиц Москвы, его имя в Книге почёта московской пионерской организации, его имя носит бригада

кузнецов завода имени Владимира Ильича, дом пионеров Севастопольского района столицы.

И таких, как он, юных бойцов революции было в нашей стране немало. Они, дети рабочих и крестьян, самоотверженные, рука об руку с отцами и старшими братьями боролись за Советскую власть. Вместе с профессиональными революционерами-ленинцами, подлинными вожаками масс, вместе с рабочими и крестьянами, многие из которых были одеты в солдатские шинели, в ходе революционной битвы мужали и юные бойцы революции, становились, как и герои книги, Гаврошами баррикад, неуловимыми разведчиками, искусными распространителями большевистских прокламаций и листовок, храбрыми красногвардейцами и командирами. Кто из нас не помнит героев Николая Островского, Аркадия Гайдара, Валентина Катаева, Павла Бляхина и многих, многих других, имеющих и не имеющих реальных прототипов, но отражавших тысячи судеб подлинных юных патриотов нашей Родины!

Следует заметить, что книга А. Рутько «Пашкины колокола» – это первое художественное произведение, посвящённое Павлику Андрееву, ранее о нём лишь упоминалось в исторических сборниках.

«Пашкины колокола» – произведение героико-романтическое и в то же время глубоко, трогательно-лирическое. Всё происходящее в нём читатель видит глазами героя, всё пропущено сквозь призму полудетского, подросткового восприятия, что сообщает страницам повести особенное звучание, затрагивающее не только сознание читающего, но и его сердце, касается глубинных душевных струн. Многие главы повести по-настоящему волнуют, заставляют проникнуться искренней симпатией, любовью к маленькому герою, к его друзьям и близким. Безвременная его гибель причиняет боль.

Писатель психологически точно строит повествование о жизни Пашки Андреева, о его друзьях-ровесниках, о его отношениях со старшими товарищами, интересно показывает взаимоотношения в семье. Всё, как мне представляется, нацелено на то, чтобы показать закономерность духовного, идеального и нравственного становления героя, которое в итоге и приводит его в ряды молодёжной ячейки, созданной Люсик Лисиновой на заводе Михельсона, первой в Москве ячейки, предвестнице, ласточке многомиллионного комсомола, верного помощника партии.

Перелистаем ещё раз страницы повести... Идёт третий год Первой мировой войны, в Москве стремительно нарастает ощущение приближающейся революционной грозы. И на глазах у читателя от события к событию взрослеет и мужает герой повести, сама жизнь приводит его к пониманию неизбежности и справедливости жестокой, смертельной схватки с царизмом и богачами. Сближение с революционно настроенными студентами Коммерческого института, и прежде всего с Люсик Лисиновой, возвращение с фронта старшего брата, большевика Андрея, вступление в молодёжную организацию, пусть ещё и не чётко оформленную, – вот основные вехи пути, по которому четырнадцатилетний рабочий парнишка приходит в дни Октября на баррикады

Остоженки и становится московским Гаврошем.

В книге широко и достоверно показана атмосфера жизни предреволюционной царской Москвы, быт, нравы, характерные особенности и детали того времени, чему помогает введение автором в повествование вымышленных персонажей: торговца Ершикова и членов его семьи, городового Обмойкина и его сына, священника Серафима и других.

Органично введены в повесть и важные, необходимые для молодого читателя экскурсы в российскую историю: воспоминания о революции 1905 года, о Кровавом воскресенье, о русско-японской войне. Эти ретроспективные короткие вставки не прерывают повествования, не разрывают его живую ткань, не мешают естественному течению событий жизни. Наоборот, они помогают яснее увидеть и глубже понять закономерность происходящих в повести событий. Её эпицентром, центром её тяжести неизменно остается предгрозовой накал, приближение революции 1917 года. Весь исторический фон, конкретные картины происходящего – трудности военной поры, забастовки, демонстрации – нарисованы писателем объективно и точно, они достаточно подробно и верно воссоздают суровую, напряжённую обстановку в Москве тех лет.

Нет нужды пересказывать содержание повести – она только что прочитана. Мне, как, вероятно, и читателю, хочется ещё раз с благодарностью поклониться светлой памяти людей, отдавших свою жизнь борьбе за торжество идей пролетарской, социалистической революции.

На страницах повести Арсения Рутько мы встретились не только с Гаврошем московских баррикад Павликом Андреевым. Перед нами прошли и другие подлинные герои революционного Замоскворечья: обаятельная Люсик Лисинова, Алёша Столяров, будущий советский академик Константин Островитянов, подруги Лисиновой – Катя Карманова и Наташка Солуянова, погибший на Красной площади командир двинцев Евгений Сапунов, именем которого названа одна из улиц в центре Москвы.

Люди Революции! Беззаветно и бескорыстно преданные высокой идее служения народу, они в своей героической борьбе с самодержавием поднимались на вершины мужества и бесстрашения, шли на каторгу, в тюрьмы и ссылки, на баррикады, отдавали борьбе все свои силы, а нередко и саму жизнь.

Память героев, борцов за Революцию для нас священна. Именно поэтому около пятисот из них, погибших в дни Октября, покоятся в братской могиле на Красной площади, главной площади столицы первой страны победившего социализма. И книги, возвращающие нашу память к их дорогим именам, нужны, необходимы, ибо они – верное, неподкупное оружие в борьбе за конечную победу Революции, за установление справедливого социального мира на всей планете.

Прекрасные, удивительные человеческие судьбы!

Кандидат исторических наук

И. ДОНКОВ

Публикуется по: Рутько. Пашкины колокола. – М., 1987. – 236 с.